

ЮНОСТЬ

7 '88





Из студеного ключа
возле села Волговерховье
в Калининской области
начинается великая река Волга.

Фото Л. Шимановича

ЮНОСТЬ

7 (398)

’88



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Письма государственного человека

Амир ХИСМАТУЛИН

ГДЕ ВЫ, КОМИССАРЫ?

Прошел год после публикации монолога инженера Чусовского металлургического завода Амира Хисматулина «Бег на месте?» («Юность» № 7, 1987 г.). Прошедший год был третьим годом перестройки. Уже третьим! Какие перемены внес он в жизнь небольшого городка в Пермской области? Об этом — очередное «Письмо государственного человека».



Вот и среди нас нашлись слабые. В одном из цехов завода молодой человек положил партийный билет на стол. Сказал: «Не хочу состоять в партии после всего, что стало известно». «Ты взносы не хочешь платить», — пытались укорить его и в этом найти основную причину. «Нет! — ответил он. — Готов хоть сейчас ежемесячно отчислять три процента заработка в Детский фонд».

Хочется скорее осудить его?

Слабым духом оказался коммунист — это верно, ну а мы всегда ли были сильными?

...Забили мы осенью тех телят, о которых я мельком упоминал в письме. Одного, в виде тушенки, уже доседам. Другого продали. Поехала жена в столицу. Пять дней пробыла там и навезла вещей видимо-невидимо: трико, плавки, рубашки, крем для бритья, шампуни, колготки, пуловеры, мандарины. Про обувь молчу — общая стоимость ее составила более 500 рублей. Смотрю: среди этого добра рулоны туалетной бумаги. «Ирина! — говорю. — Зачем ты бумагу аж из столицы тащила? Ну, ладно: обувь — Кунгурской фабрики такая и не снилась. Но в области ведь несколько бумажных комбинатов, не сегодня-завтра нас туалетной бумагой завалят...»

Я не стану писать, что ответила Ирина. Она хотя и горячая, но отходчивая. К тому же оказалась права.

А меня с тех пор еще больше тянет на раздумья. Сейчас, думаю, на что свалят отсутствие плавков, колготок, рубашек, туалетной бумаги и тьмы других простых, но необходимых вещей? Разоружение началось, договор по ракетам среднего и меньшего радиуса действий подписали...

Как-то сходил в элэктричке с Анатолием Жвакиным, давним знакомым, а ныне — работником обкома ВЛКСМ. Слово за слово — возникла дискуссия. Как он лихо разбил мои сомнения! До сих пор сидят во мне его слова: «Читай, Амир, политэкономия социализма!» Ладно бы, раз это сказал, а то ведь повторил многократно.

Завидую ребятам, для которых все ясно и открыто. Они любого убедят в том, что на критику надо иметь особое моральное право, что твои проблемы — пустяк, не стоят большого внимания. И будут эти башковитые ребята идти по служебной лестнице, меняя квартиры от Чусового до Москвы.

А у меня здесь два брата и теща, изба, рубленая отцом. Здесь на улице я слышу слово «Здравствуй!», а весной иду проводить могилы родителей. Ради чего уезжать из родного края? Даже квартира с окнами на Кремль не заменит того нужного душе уклада жизни, который свойственен лишь малым городам.

Так что все важное для меня происходит или не происходит здесь. Совсем не обязательно поддаваться публицистическому буму, рвать друг у друга газеты и журналы. Достаточно пройтись по магазинам, столовым и цехам, побывать на совете трудового коллектива, выдвинуть предложение и проследить за его реализацией, с месячишко отлежаться в больнице, узнать, как снимают с работы и потом восстанавливают на месте с игрой в демократию, чтобы судить о переменах.

Помню день, когда статью в «Юности» обсуждали на заводе. Состоялось расширенное заседание партийного комитета с приглашением руководителей цехов и представителей городских организаций. Волновался очень. Перестройка — дело партийное, как оценят статью коммунисты, так она будет воспринята всеми.

Для беспокойства были причины. Партком столь тщательно готовился к обсуждению, что в предварительных беседах упор делался не на духе размышлений, а на возможности опровергнуть отдельные факты и выражения. Даже магнитофонную пленку нашли с записью встречи руководителей города с трудящимися завода, чтобы доказать: не было слов «о моей политической близорукости в связи с вопросом о час».

А я ждал, что мне скажут: молодец, Амир, по-партийному правильно ставишь вопросы. Есть, конечно, в статье недостатки, но мы воспользуемся ею не для обсуждения тебя, а для мобилизации людей на ускорение перестройки.

Напрасно ждал. Если б ни директор завода И. Н. Губайдуллин, занявший принципиальную позицию, еще неизвестно, чем бы кончилось это заседание.

Одно утешало: поддержка рабочих, рядовых инженеров, особенно женщин. Вечно спешащие, обремененные грузом повседневных забот, они, зная, что собранию не быть коротким, отложили все и пришли в зал заседаний. Пришли сами,

по зову души. «Не переживай! — говорили многие. — В обиду не дадим! Сказать не сможем — ногами затопаем!»

Топать им не пришлось. Представители горкома просидели молча, не сказав ни «да», ни «нет». Однако статью из «Юности» местным газетам перепечатывать запретили. Хотя нет в статье ничего особенного, никаких «жареных» или пикантных фактов, за что кто-то мог пострадать.

То, что меня не «затравили», не «затаскали». — не забывается людьми. Это вселяет в них веру, что и с ними ничего не случится, подними они свой голос против беспорядков. Заводчане поверили в перестройку, демократию, гласность, поверили, что пришло время чести и порядочности, и не могли позволить дать в обиду товарища, молвившего слово.

Слух о собрании быстро разошелся по городу.

В декабре пришли ко мне домой работники завода железобетонных конструкций № 5... «— Помогите! — говорят. — Начальник нашего цеха Важенин чуть ли не ежегодно бывает в медвытрезвителе. Недавно вновь попал. Мы против такого руководителя».

Я понял, что затевают эти люди серьезную борьбу. Только не знают, как ее начать, не знают, что во главе этой борьбы должны стоять партийные комитеты завода и города. Но возникли и сомнения. А нет ли здесь попытки чужими руками добиться торжества каких-то своих, пусть не корыстных, но все же личных интересов? После выхода статьи появилось много желающих поделиться со мной наблюдениями в части «грехов» отцов города, но, когда я предлагал им самим написать об этом, они быстро утрачивали ко мне интерес. И говорили обо мне: «Не хочет — значит, пообещали квартиру».

Работникам завода ЖБК-5 я тоже предложил написать в местную газету. И то был первый случай, когда предложение приняли. Дня через два на заводе состоялось партсобрание. Присутствовал на нем и зав. орготделом горкома партии Р. Р. Мухаметзянов. Когда после собрания рабочие вновь пришли ко мне, я спросил: напомнил ли Мухаметзянов о решениях партии по кадровым вопросам, занял ли он принципиальную позицию? «Что ты! — ответил механик В. А. Борисов. — Представитель горкома сидел на собрании молча. Только тогда возмущился, когда коммунист Р. Сахаудинов сказал, что в цехе все пьют: и рабочие, и мастера. Даже управленцы. Сам два раза видел секретаря заводского парткома выпившим».

Вот здесь Мухаметзянов не утерпел. Потребовал, чтобы Сахаудинов извинился, иначе будет привлечен к ответственности. «Извините! — сказал тот секретарю парткома. — Только все равно я вас видел «под парами».

В общем, коли не удалось дать бой подтвердившемуся письму, поставили на место хотя бы одного коммуниста. А дискредитировавшего себя руководителя преслели в мастера: организовывать производство.

В. А. Борисова такое решение не устроило. Он взял отпуск и поехал в обком партии. Тут и меня пригласили на областное телевидение. Выступил 22 декабря, а 23-го И. Е. Важенина преслели в рабочие.

На днях я встретил его. Заметил еще издали. И растерялся: здороваться или нет? Вздв, по слухам, это я виноват в том, что сейчас он, бывший инструктор горкома партии, бывший секретарь парткома завода, бывший начальник цеха, стал рабочим. Скажу прямо: сделал вид, что смотрю в сторону. Мне стало неловко сказать «Здравствуй!» тому, кто когда-то давал мне рекомендацию в комсомол. Как же! Сам член комитета комсомола школы, организатор всех добрых дел, Ваня Важенин дал рекомендацию!

Эх, жизнь... На каком повороте, на каком изгибе ты так до неузнаваемости меняешь нас...

Кто как, но настоящими комиссарами я хочу видеть секретарей горкома, председателя исполкома да и всех других руководителей.

Мне хочется верить им и идти за ними, но это возможно только тогда, когда и во мне, и в тысяче других они увидят равного.

Всесоюзный журнал мое письмо расценил как раздумья государственного человека. А на месте?

Полное равнодушие в реакции на критику. Помните о лампочках? Не надо их много, чтобы весной и осенью люди, идущие к электричке из Нового города, не купались в грязи.

Не поставили. Зато разговоров было! Даже депутата на разбор статьи пригласили. Этот проулок, где нужны лампочки, как раз проходит мимо моего дома. Сам поставил бы, но не умею по столбам лазить, да и электричества, откровенно говоря, с детства боюсь.

Но как рьяно изучали статью! От подчеркиваний живого места на ней не было. А что искали? Что нашли?

Помню, в конце 70-х годов Л. И. Брежнев покритиковал на одном из Пленумов ЦК КПСС затянувшееся строительство цеха холодного проката на Лысьвенском металлургическом заводе. Что тут началось! Первый секретарь Пермского обкома партии Б. В. Коноплев лично курировал объект. Создали даже трест «Лысьвапромстрой», стянув в него ряд худосочных наших стройуправлений. В рвении быстрее отреагировать на критику построили у въезда в город несколько двухэтажных домов. Хотели поселить в них условно осужденных и с их помощью вести работы в ускоренном темпе. А когда поняли, что высокую производительность они не дадут, от идеи отказались и строительство домов забросили. До сих пор стоят они у въезда в город как памятник непродуманному, но зато быстрому реагированию на высочайшую критику. Миллионов народных денег не жаль, лишь бы доложить: меры приняты.

А если критика не от первого человека в государстве исходит, то что ж — можно не замечать?

Один заводской товарищ по поводу писем о мелких недостатках в вышестоящие органы сказал: «Только почту засоряют». Со своими лампочками и я, видать, попадаю в ряд засоряющих. Но что делать, если на местах те самые, в ком хотим видеть комиссаров, не шибко тяготеют к взаимности. Вот и привыкли люди: пока в Москву не напишешь, ни унитаз не заменят, ни дров инвалиду не подвезут.

У части взрослого поколения ныне возникло чувство определенной обиды, связанное с публикациями о не столь далеком прошлом. Смысл ее прост: дурили нас, а сами...

Я сейчас хочу позаботиться о том, чтобы через несколько десятилетий лет подобного чувства не возникло у меня. Чтобы скепсис не затмевал романтическую веру в то, что мои комиссары не посылают своих водителей вместо себя в магазин, что во всех учреждениях, имеющих окончание на «...ком», думают и заботятся обо мне.

Сразу после Нового года был по делам в высших органах области. Везде встретил поддержку, понимание, и, казалось бы, нет основания для брюзжания «снизу» об отсутствии перестройки «повыше». Но ложка дегтя осквернила бочку меда.

Первым был облсовпроф. И зачем его сотрудники, выдав строго учитываемый гостевой пропуск, взяли меня на обед в собственную столовую? Бифштексы, зеленый лук, петрушка, изумительные пирожки, лимоны в чае и гарнире, чудесные салаты, вкусные супы. Будучи человеком почти из деревни, иначе, как «Во живут!», я не мог выразить нахлынувшего восхищения. Про себя, естественно. И мысленно сравнил все это с нашими столовыми, с двумя «куриными» днями на неделю. Отчего ж такая разница? Неужели они так переутруждаются на ниве служения народу, что вместе с народом не хотят отвесть того, что бог послал?

В Японии, пишут, руководители цехов и фирм вместе с рабочими кушают, и ничего. Не гнушаются. У нас достоинство уронят, коли на государственной машине домой в обед не споняют. И что там есть-то особенного дома, когда в магазинах голо?

Основательно подпортили настроение и в обкоме партии. Ожидая, пока привезенные материалы будут рассмотрены, я провел несколько часов в небольшом холле перед лифтами восьмого этажа. Обратил внимание на работу газетно-книжного киоска. Такая обаятельная женщина им ведает. Со многими — по имени-отчеству, как, впрочем, и они с ней. Смотрю, то один представительный мужчина зайдет в закуток рядом с лифтами, то другой. И все книги перебирают да откладывают. «Непорядок! — подумал я. — Где их общество книголюбов?! У нас на заводе давно дефицитную книгу всем коллективом разыгрывают: кому попала — счастливцев, кому нет — не горюй, твое счастье впереди. А здесь все по-старому, как во времена застоя: через закуток».

И пришел на ум Смольный. Штаб революции. Интересно, если б и там заискивали перед буфетчицей или киоскершей, куда бы сейчас зашли?

Сейчас поймал себя на мысли: пишу и как бы все время доказываю — свой я, ребята, свой! Тоже коммунист, равный с вами по Уставу. Одно дело мы делаем, к одним целям стремимся. Но отчего ж порой результаты разные?

Потребовалось переместить облисполкомовские дачи из экологически вредного района Пермнефтеоргсинтеза на другое место. Так и место нашлось, и деньги выделены, и сроки их освоения сжаты. А мы, металлурги, не один год бьемся за садоводческий участок, и нет толку. Первый раз исполком

выделил земли на болоте в районе Лямина, да не нашлось охотников осушать его за собственный счет. Во второй раз — в лесу, в шести километрах от основной дороги. Учтявая, что край наш давно не сыльный и обжитой, медведей там, конечно, не встретишь. Но то, что за 10 лет с этого участка не снимешь и ягодки, точно. Лес надо вырубить, дорогу проложить, свет и воду провести, а потом, когда начнешь копать да сажать, убедишься, что действительно на глине ничего не растет.

Я не возражаю, чтобы работники управления области и их семьи могли отдыхать на природе, как все. Но отчего так легко решаются вопросы для них и с таким трудом — для нас? Разве земли у нас мало или Чусовому грозит статус миллионного города? Нет, конечно. И земли в достатке, и желания ковыряться в ней. Просто уже у многих в крови привычка трудности создать, чтобы только в их преодолении выковыривался характер замечательного советского человека.

Если и дальше так будет — ничего не добьемся.

Каждый с перестройкой связывает свои ожидания. Для одних больше рока на телевидении — предел мечтаний, для меня перестройка — решение простых, обыденных вопросов.

Быть может, помнит читатель начало «Бега...» Я стою посреди огорода с растерянно разведенными руками. Много прошло с тех пор времени, а растерянность не только осталась, но и усилилась. Винават в этом хозрасчет.

Минувшей осенью решили мы с Ириной продолжить «скотское дело»: вновь взяли телят. Прокормим, думаем, с год: одного себе на мясо, другого продадим. И тут пошел разговор о реформе цен. Больная, в общем, тема. Дай-ка, думаю, подсчитаю, во сколько нам килограмм телятины обходится. Да не на глазок, а по-научному. Достал с полки «Домашнее животноводство», взял из него нормы кормления, внес свои коррективы, учел, как заправский трудник, другие затраты и ахнул: вытянул у меня килограмм мяса аж на 5 рублей 67 копеек.

С тех пор все во мне перевернулось. Как увидел свою затратную экономику, разом интерес к продаже пропал. И понял наконец, отчего ни в одной публикации, в том числе в журнале «Приусадебное хозяйство», который давно выпиываю, ни разу не встретил добротную выкладку расходов с учетом финансовых и трудовых затрат. Видимо, никто не рискует показать, чем же он действительно кормит скотину, не желает сам себя подводить под Указ о нетрудовых доходах.

«Мудрый» человек писал его. Я всегда с восторгом думаю о таких. Это ж надо, при отсутствии в свободной продаже комбикормов создать «частнику» такие условия, чтобы он и мясо растил, и Указ не нарушил. Мне б в лицо этому человеку посмотреть да всего один вопрос задать: «Видел ли ты, дорогой человек, скотину, кроме как на Выставке достижений народного хозяйства?»

Вот и решили с женой: хватит! Последний год со скотом! Это в Омской области заботятся о людях, а в нашей — только штаты укрощают. Вот и в облисполкоме, говорят, есть единица, отвечающая за приусадебные хозяйства. Конечно, нельзя сказать, что совсем уж нет комбикормов. Есть. Заключай договор с райагготконторой о сдаче мяса и покупай. Но большинство-то держит скотину для себя. Ему как быть?

Шесть лет назад принята Продовольственная программа, миллиарды ухлопаны на Нечерноземье, а результатов нет. По бумажкам да отчетам они, может, и ярки, а в магазинах как было, так и осталось. Да и откуда этим сдвигам взяться? Их не будет до тех пор, пока сохраняются закрытые столовые и столы заказов, пока не будет создана общественная атмосфера нетерпимости к «блату» и «связям», пока эту борьбу лично не возглавят первые руководители, пока в магазинной очереди впереди или позади себя я не увижу секретарей горкома или обкома, председателей исполкомов. Но вот увижу ли — что-то сомневаюсь.

Перестройка связана с перестройкой сознания, а оно не у всех адекватно новому времени. В период круглогодичного дефицита слишком много соблазнов, чтобы устоять на революционно-бескомпромиссных позициях. Мы так многое научились себе прощать, что усомниться уже затрудняемся.

Перестройка любому предоставляет момент нравственного выбора. Не нужны ни тесты, ни опросы, ни мероприятия типа прошедшего в нашем городе смотра босвитности первичных парторганизаций (ну, прямо как у пионеров). Нравствен и соответствует перестройке тот выбор, при котором совесть не ищет оправдания.

С какой гордостью получали мы, металлурги, в прошлом году знамена в честь юбилея Октября! Их было четыре! В том числе и городское из рук первого секретаря ГК КПСС В. А. Фетисова. И с каким недоумением обнаружили, что оказались в числе победителей рядом с молокозаводом. И ему, и нам — Почетные грамоты ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Три месяца молокозавод не работал, три месяца город жил тем, что давала соседняя Лысьва. И все это время устранилось предписание областной санэпидстанции, закрывшей завод. Поднялась же чья-то рука представить отстающее предприятие на Почетную грамоту высших органов страны. Какой тут выбор?! Есть принцип: все, что решено руководителями, решено правильно!

Может, нагладу считать авансом? Но время авансов прошло. Вместо предупреждения продавца: «Сметана сегодня кислая и жидкая» — я хотя бы раз хочу услышать: «В сметане ложка вязнет. Будете ли брать столь густую?»

Не хочу, чтобы у читателя создалось мнение о нашем крас как сплошь болотном. Новизной мы, конечно, не блещем, не славимся. Однако новый мир и новые отношения рождаются буквально на глазах. Мыслимо ли было еще несколько лет назад на коллективных форумах обсуждать животрепещущие проблемы? А сейчас совет трудового коллектива завода рассматривает такие вопросы и принимает такие решения, что по привычке со времен застоя так и хочется назвать их историческими.

По генеральной схеме развития отрасли нашему заводу отводилась незавидная судьба. В предстоящие двадцать лет предполагалось свернуть доменное, сталеплавильное и прокатное производство, выставить за ворота 4—5 тысяч работников. Со столь чудовищной в рамках города концепцией разорения совет трудового коллектива не мог согласиться. Завод — сердце города. Что станет с Чусовым, если основное производство будет свернуто? И совет принял альтернативное решение: просить Министерство черной металлургии СССР не закрывать, а развивать производство.

К чести новых руководителей отрасли, они прислушались к мнению коллектива и приняли наши предложения.

Статья в «Юности» первой в центральной печати поставила вопрос о необходимости ликвидации объединения «Уралчермет», как лишнего звена в структуре управления черной металлургии СССР. Тогда мое предложение вызвало широкий резонанс не только в коллективе нашего завода, но и на других предприятиях Урала, а также, как и следовало ожидать, негативно-болезненную реакцию работников самого объединения. Идея сокращения целого управленческого аппарата многими воспринималась как «крамольная», более того — как бунт одиночки против всемогущих устоев. В успех тогда (как, впрочем, и сейчас) мало кто верил.

Основа сомнения базируется на том, что в борьбе участвуют одиночки, а не коллективы и возглавляют ее не непосредственные руководители предприятий. Но откуда же им появиться, если общественная атмосфера последних десятилетий не позволяла отстаивать свое мнение и государственные интересы как раз тем, кто наиболее остро, практически каждодневно, ощущал на себе алчность сложившейся структуры управления.

Казалось бы, кому, как не директору завода и его заместителям, стучаться во все двери с одним предложением: дайте самостоятельность. Но подобный «бунт», окончившись он крахом, имел бы для них печальные последствия. Как в личном плане, так и в вопросах обеспечения предприятия сырьем и материалами в условиях их постоянного дефицита. Таким образом, по хозяйственно-административной линии ничто, кроме объективно складывающейся экономической ситуации (предкризисное состояние к началу 80-х годов), не было способно дать толчок реформе управления.

Иное дело — партийная линия. Парткомы, не связанные, как хозяйственные руководители, с административным аппаратом вышестоящих органов, могли со всей остротой ставить вопрос о структурной реорганизации. Но, не неся ответственности за результаты хозяйственной деятельности, они не вмешивались и в вопросы управления. Хотя опыт многих стран, в первую очередь Японии, Западной Германии и США, наглядно свидетельствует, что именно в управлении заложена та архимедова точка, оперевшись на которую можно перевернуть мир.

Для всех, кто входит в состав объединения, статья в «Юности» стала своего рода сигналом к действию. Первыми строительством проявили работники Вспр-Исетского завода. В «Правде» появилось несколько материалов, в которых

в той или иной форме нашла отражение мысль о предоставлении заводу самостоятельности. В газете «Уральский рабочий» выступил инженер Нижнесергинского завода Г. Лесников, убедительно раскрывший необходимость ликвидации «Уралчермета». Общественная ситуация изменилась настолько, что требование о радикальных переменах стали выдвигать не только рядовые рабочие и инженеры, не опасавшиеся в случае чего за свою карьеру, но и крупные, признанные в масштабах государства руководители. В частности, директор Верх-Исетского завода Герой Социалистического Труда В. С. Ожиганов. В «Правде» за 16 января он открыто говорит, что обратился в Министерство черной металлургии СССР с просьбой о создании на базе Верх-Исетского завода научно-производственного объединения, исключаяющего всякую опеку «Уралчермета».

Я помню наш прошлогодний разговор с В. С. Ожигановым во время встречи с делегациями соревнующихся заводов в Свердловске. Тогда он сказал, что непременно обратится к руководителям отрасли с предложением о выходе из состава объединения. Но... при этом первоначально убедился, что среди нас нет ни одного сотрудника объединения. А сейчас читаю «Правду» и вижу: прошел страх у В. С. Ожиганова перед возможной карой за собственное мнение. Хотя кто знает, чем все это кончится. Уже поговаривают, что, если объединение останется, не сносить головы «бунтарям».

Так что это за явление такое «Уралчермет», о котором я лишь вскользь упомянул в июльском письме минувшего года?

Чтобы ответить на вопрос, необходимо прояснить само понятие «объединение».

Как правило, в своей основе оно имеет головное предприятие, связанное с остальными кооперативными поставками. Головное выпускает конечную продукцию, остальные — комплектующие изделия, сырье и так далее.

Ничего подобного нет в «Уралчермете». Объединения под своей «крышей» 10 уральских заводов, расположенных в Пермской, Свердловской, Кировской и Челябинской областях, оно, не имея головного предприятия, превратилось в не что иное, как обособленный аппарат управления. Этокое мини-министерство, главная задача которого — плодить бумаги, а также умело выполнять четыре арифметических действия.

Не выходит из памяти эпизод из заводской партийной конференции, состоявшейся в середине января, когда заместителю генерального директора объединения по экономике был напрямую задан вопрос о том, чем все-таки занимается «Уралчермет». Ответ никого не убедил, и это было заметно по реакции коммунистов. Лишь вежливость к гостю не позволила прямо сказать о полной несостоятельности объединения, особенно в условиях хозрасчета.

Фактически завод уже давно стал самостоятельным. Имеются свои замечательные кадры. Первыми в отрасли мы перешли на новые тарифные ставки и оклады, наш опыт бригадной организации труда изучается на предприятиях области, и лишь в одном вопросе происходит вопиющая несправедливость: не обладая статусом юридического лица, коллектив не может распоряжаться заработанными средствами.

В условиях перестройки это становится нетерпимым. Осознание несправильности ситуации уже приходит не к отдельным личностям, а к целым коллективам. Началась острая борьба старого и нового в явных и скрытых формах.

Как-то к нам поступил проект положения о металлургическом заводе — структурной единице производственного объединения «Уралчермет». Предстояло обсудить его на заседании совета трудового коллектива, и, как в прежние времена, от нас ожидали, говоря словами Г. Хазанова, «одобрямса». Не вышло.

За восемь лет работы на заводе я ни разу не испытал таких радостных минут, как на том заседании совета. Он полностью отверг проект как не соответствующий Закону о государственном предприятии, отказался делегировать своих работников в состав совета трудового коллектива объединения (кстати, не предусмотренного Законом). Видимо, в объединении раньше нас узнали, что решение совета будет являться обязательным к исполнению не только для нижестоящих, но и вышестоящих инстанций. Поэтому через него хотели «протащить» «законность» своего существования.

А через день мы узнали, что подобного же характера заседания советов прошли на Верх-Исетском, Лысьвенском и Ашинском заводах. Представляю, как жарко сейчас, в ус-

ловиях демократии, аппарату объединения. Ведь нет на заводах ни одного человека, кто выступил бы в защиту его дальнейшего существования.

На этой бодрой ноте можно бы и закончить повествование, но не рискуя это сделать. Слишком многое поставлено на карту. Особенно в том, что касается судьбы объединения. Вряд ли легко захотят его работники расстаться с высокими металлургическими окладами, удобными рабочими местами в центре Свердловска и полным отсутствием какой-либо ответственности за результаты своей деятельности перед трудовыми коллективами.

Впереди борьба. Какие приемы изберет объединение для доказательства своей жизнеспособности, пока нам знать не дано. Поэтому на совет трудового коллектива в столь сложное время ложится по-своему историческая ответственность за принципиальное, бескомпромиссное отстаивание интересов государства. Не менее важна поддержка усилий совета в этой ситуации со стороны горкомов и обкомов партии.

Быть битым, да еще первым, тоже в общем-то честь. Но когда ты сотый, многотысячный, новых идей не выдвигал, а лишь изложил полярные мнения — есть ли отрада в том, чтобы быть битым? Пришлось как-то выступить перед школьниками и учащимися ПТУ в так называемом университете будущего воина. Молодость, известное дело, остроту любит. Гладкими словами не отделаешься, особенно о такой отечественной боли, как Афганистан. Решил поступить, как в методиках советуют. Рассказал об официальной версии ввода войск в эту страну, потом рассказал о публикациях в печати, ставивших под сомнение правильность первоначальной политики по Афганистану. Привел, например, статью академика О. Богомолова в «Литературной газете». Хотелось вызвать ребят на дискуссию. Правда, подумал тогда: «Смотри, Амир, не напорись на неприятности — в зале воснуки сидят. Донесут, будешь потом доказывать, что ты не верблюд». И оказался прав.

Вызывают меня в горком партии ко второму секретарю М. В. Анисимову. Он в прошлом — признанный комсомольский вожак, два года работал в Афганистане. Сейчас руководитель, с именем которого горожане связывают лучшие надежды на будущее перестройки. Кроме меня, пригласили еще человек семь лекторов-международников. Как я потом понял, это для того, чтобы они сделали из случая со мной «правильные выводы». И был у нас долгий разговор. Закончился он указанием «отлучить» меня от лекторской работы и обещанием поставить вопрос о моей партийной принадлежности. Обидно стало за Михаила Венедиктовича. Когда шел к нему, думал: человек прошел такую школу, скажет мне сейчас несколько убедительных слов, и я пойму несправильность своей позиции и позиции академика О. Богомолова.

А мне говорят: надо так воспитывать ребят, что если им скажут «Идите в Никарагуа, Анголу, тот же Афганистан» — они как один выразят согласие. А ты, Амир, вносишь смуту в детские умы. Не та аудитория, перед которой можно философствовать.

Вот таких вот, значит, болванов хотят они видеть. И не замечают моих слов, что я-то хочу видеть в тех же самых ребятах состоявшихся граждан Отечества. И уж если им надо будет идти в бой, так с убеждением в его необходимости.

Самое печальное даже не в том, что побили меня за плюрализм, а в том, что не убедили. Ведь когда угрожают, значит, слов не могут найти.

Что толку отнекиваться: не мое это мнение. Ничего, говорят, и с Богомоловым там разберутся. Вот и хочу я спросить у академика: разобрались ли с ним?

Время бунтарей-одинок прошло. Силы, выступающие «за» перестройку, и силы, выступающие «против», резко обозначили свои позиции. И XIX партконференция началась, по сути дела, задолго до ее официального открытия — в наших спорах, в нашей ежедневной борьбе с отжившими свой век стереотипами мышления. В этом я вижу и ее продолжение.

г. Чусовой.

Публикацию подготовил Ю. Беликов.



Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК ДУШИ

Литургия лет

«Господь, помилуй меня,
Господь, помилуй меня,
восславим Господу славу и честь...»

Летят «афганцы» в гробах,
крадется СПИД в городах —
неужто страшная месть?
Тысячелетье Руси —
тысячелетье души.
Пришло ей время воскресь.

Страну помилуй, Господь.
народ, что пущен в расход...
Откуда ж певчие в душу вошли?
Раскол. Тиран пучеглаз.
Россия самосожглась.
Есть черный ящик души.

Душа несется, моля:
«Помилуй, Яков, меня...»
«Восславим Сталину славу и честь!»
Взрывают храмы. Салют.
Свидетелей ликвиднут.
Души черный ящик есть.

Есть в черном ящике том
«Христа-Спасителя» стон
духоизмещением в тысячи тонн.
И брошенное дитя
все спрашивает, глядя:
«Что в черном ящике том?»

Душа, помилуй меня,
зажги свечей имена,
за то, в чем косвенно все мы грешны,
за то, что душу забыл,
болит, кричит что есть сил:
«Я — черный ящик души».

Народы в креслах сидят,
народы в «ящик» глядят.
Восславим горстку, кто жил не во лжи!
Пусть будет Памятник Жертв —
не мрамор, бронза и жечь —
черный ящик души.

Первая любовь

Мы были влюблены.
Под бабкиным халатом
твой жмурился пупок среди такой страны!
И водка по ножу
стекала в сок томатный,
не смешиваясь с ним.
Мы были влюблены.

Мы были влюблены. Сожмись, комоч свободы!
А за окном луны, поднятый для собак,
невидимый людьми,
шел не Христос по водам —
по крови деспот шел в бесшумных сапогах.

Плевался кровью кран под кухонною кровлей.
И умывались мы, не ведая вины.
Спасала нас любовь, не смешиваясь с кровью.
Прости, что в век такой
мы были влюблены.

Шоссе на Внуково 19.1.88

I

Шапка лежит на шоссе, как истец,—
кровью запекшийся белый песец.

Дар браконьерский с таежной ТЭЦ,
спас меня другом убитый песец.

II

Трейлеру в прицеп
вмятое такси.
И лежит песец
посреди Руси.

Шел против движения
трейлер-дуролом
с нашим современником
за рулем.
Трасса с деревеньками
свернута в рулон.

(Ты лети, народ,
но, летя, учти
дурака, что прет
поперек пути!)

Что сказал ОРУД?
«Бабы кровь затрут...
Если б не песец —
списец!»

Отомстил песец
непонятных сил —
человека спас,
что его убил.

Что сказал таксист,
Сломав два ребра?
«Пассажир, очнись!
С тебя три рубля».

III

Реакцию пассажира не заливали.
Вы этого не поймете,
ей-ей!

.....
Хорошо, что трейлеры не летают.
И что мы были в такси, а не в самолете.
Оттуда
падать
больней.

Ты

Ты мне никогда не снишься.
Живу тобой наяву.
Снится все остальное.
И это дурные сны.

Спишь на подушке ситчика.
Ты загорела слишком.
Дышит, как чайное ситечко,
выбритая подмышка.

Набережная софитная!
Двери балконной скрип.
Медвяная метафизика
пахнущих тобой лип.

Миг

Тебе на локоть села стрекоза
и крыльями перебирает,—
как будто кожи близорукие глаза
спокойно стекла примеряют.

Поле брани

ир-ода

О поле брани,
на хуторе, в языческом бурьяне!
Грибы-порнухи шевелят губами.
Как в бане,
инстинкт народа здесь без плавок и салонов.
И бык азийский проникал в Европу.
Здесь люд — как Жданов.
Каждому в пути
укажет путь — кому куда идти.

Вальпургиева ночь на поле брани.

На душу населения силой духа
мы посрамили Запада порнуху.

Да здравствуй Ты, Речь Пушкина, Баяна!
Рек перебросчик окаянный
Объ, Твою мать, вспять обратить не вправе.
Ее помянут в ужасе аварий,
и вспомнят с ностальгией в Амстердаме,
на Брайтоне...
Вернемся к маме.

Поле брани
застроено многоэтажной дрянью.
Что вам покажут из оконной рамы?
Откусанные полбаранки?
Концерт для пипифакса и сопрано
и бритвы «Браун»?

О самобранка
писательских открытых партсобраний...

А я вставляю в уши группу «Браво».

Избранница моя!

По полю брани
Ты бродишь, собирая икебаны,
ты фору дашь всем пресловутым гейшам,
когда вздохнешь на русском,
на чистейшем...

О поле праны...

Романс

Поезд. Снежная дорога.
Обожгла ему лицо
женской страстью до ожога
раскаленное кольцо.

С той поры она на столик
кольца с вечера кладет.
Колечко вздрагивает только.
Будто поезд все идет.

Пост

«Пост, христиане! Ни рыбы, ни мяса,
с пивом неясно...»
Рост различаю в духовных пространствах
постхристианства.

Постхристиане стоят под мостами Третьего Рима.
Дергает рыба, как будто щекой Мастроянни.
Те рыбаки с пастухами Евангелье сотворили.
Где ваша Книга, постхристиане?

«Черные нивы листают страницы о Сталине.
А остальные?
Наша Мария — беременная от Берии.
Стал весь народ — как Христос коллективный.
Мы, некрещенные дети империи.
веру нащупываем от противного.

В танце зайдись, побледневшая бестия,
черная школьница!
Пальцы раздвинув, вскинешь двуперстие,
словно раскольница».

Так, опоздавши на тысячу лет,
в темных пространствах
мучая душу, тычется свет
постхристианства.

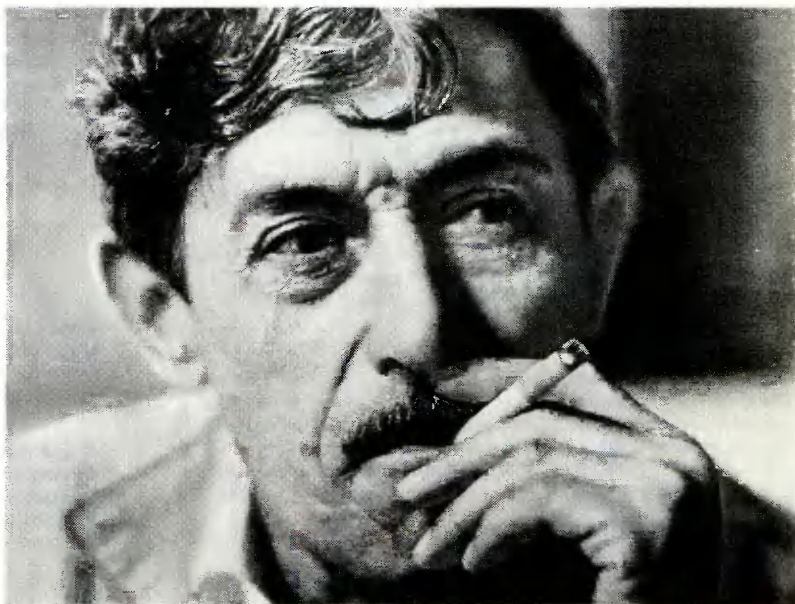
Возьмемся за руки перед разлукой!
Он этим к воскрешению готов,
глядит с креста, протягивая руки
разбойникам с соседних двух крестов.

Оглянись вперед

Мы летим вперед,
а глядим назад.
Какой раньше рай!
Какой раньше ад!

Мой родной народ.
оглянись вперед!

Виктор
НЕКРАСОВ



ГОРОДСКИЕ ПРОГУЛКИ

Дорогая "Юность"!
Не смотря на преклон-
ный возраст, мне особенно
книжно опасно настраи-
вать усурнала с таким заблуд-
ным названием. К тому
же, он издаётся в Москве,
которую вся моя жизнь, мно-
го и по кутурей окутано,
как и по многим моим
книгам.

В довершение грешно
всем своим глупым усур-
налом, чтоб не впасть ни
в какие войны и не знать,
что такое опасен.

Верю в это и счастливо
врутаю рукопись в руки
моего давнишнего и
любимого редактора
Анны Самойловны
Бербер.

С дружескими
книжками!

Виктор Некрасов

18/III 87

Это письмо
мы получили
от Виктора Некрасова
из Парижа.

Если ты, читатель, любитель крепко сколоченного сюжета, завлекательной интриги, интересных, со сложными характерами героев, если ты любишь длинные, подробные, сотканые из деталей романы или, наоборот, сжатые как пружина, новеллы — сразу предупреждаю: отложи эти страницы. Ничего подобного ты здесь не найдешь.

Но если ты, кроме чтения и других полезных или даже бесполезных занятий, непрочь просто так, без дела походить по улицам, руки в брюки, папиросу в зубы, задирая голову на верхние этажи домов, которые никто никогда не видит, так как смотрят только вперед (или направо, налево, витрины, киоски), присаживаясь у столика кафе или на скамеечке в скверике среди мам, бабушек, ребятишек и пенсионеров, если ты любишь заводить случайные, обычно тут же обрывающиеся, но запоминающиеся знакомства, если тебе нравится без плана бродить по улицам незнакомого города, предпочитая их шум или тишину тишине прославленных музеев, — если ты такой, то, может быть, ты найдешь кое-что близкое, переворачивая эти странички...

Тогда беру тебя в спутники. Условие одно: пока мы гуляем, ты молчишь, а говорю я. Ты заговоришь потом, и тогда, может быть, завяжется диалог. Пока же — монолог. И второе: не удивляйся, если, выйдя с тобой, например, из московского Центрального телеграфа и свернув налево, мы попадем не на улицу Герцена, а на площадь Тертр возле собора Сакре-Кёр на Монмартре или начнем вдруг выбирать пудовые арбузы у мечети Биби-ханым в Самарканде... И третье: прости, буду иногда, даже довольно часто, растекаться мыслью (мыслью, белкой — до сих пор идут споры среди ученых) по древу — отвлекаться в сторону, вспоминать прошлое, говорить иногда о пустяках, а иногда и не о пустяках... Если это небольшое условие тебя удовлетворяет, приглашаю тебя в спутники.

Я не гонюсь за последовательностью и хронологией, но начну все-таки с самого начала.

Известный киевский детский врач возмущался моей матерью:

— Вы что, решили сразу же заморозить ребенка? На дворе 15 градусов мороза, а вы его на балкон. Немедленно убрать!

Но меня не убрали. Первые месяцы своей жизни я провел на балконе — большом, просторном, каких в новых домах теперь не увидишь. Это были мои первые прогулки. Без участия, правда, ног. Вероятно, больше спал, но иногда, возможно, и глядел. На что? А было на что.

Родился я в самом центре древнего Киевского княжества. И, если не на месте самого терема Владимира Красное Солнышко, то, во всяком случае, совсем рядом. Возможно, даже там, где жили, а потом замучены были язычниками и принесены в жертву Перуну двое варяг-христиан — Иоанн и Феодор. В честь них соорудили церковь. Называлась она Десятинной, так как на ее постройку пошла десятая часть княжеской казны. При Батые церковь рухнула — хоры не выдержали толпы людей, спасавшихся от татар. Построили на том же месте другую, в XIX веке, тяжелую и некрасивую. но и она не дожила до наших дней. С моего балкона ее хорошо было видно.

А родился я на тысячу лет раньше, с моего наблюдательного пункта (вознесись он столь высоко) виден был бы Перунов холм, где стоял гигантский идол, сброшенный при крещении Руси Владимиром в Днепр. А еще раньше, по преданию, здесь же воздвигал свой крест Андрей Первозванный. Позднее, уже не по преданию, а по указанию Елизаветы Петровны, Рас-

трелли на этом месте вознес к небу одну из изящнейших в нашей стране церквей — Андреевскую, легкую, ажурную, рококошную, над крутым, заросшим кустами обрывом, по которому катили в Днепр изваяния богов — «Перуна деревянна, а голова его серебряна, а ус золот, и Хорса, и Дажбога, и Стрибога, и Семаргла, и Мокошь».

Где-то тут же, в треугольнике между Перуновым холмом, княжеским теремом и моим НП, находился «Бабин торжок» — рынок и в то же время форум — Владимир вывез из Херсонеса и воздвиг здесь античные скульптуры — «дивы». Отсюда и древнее название Десятинной церкви — «Богородицы у Дивов», отсюда же, очевидно, и «Бабий торжок».

Знали ли мои родители, снимая квартиру в большом угловом доме № 4 по Владимирской улице, сколь «исторично» место, ими выбираемое? Не думаю. А вот Костомаров и Врубель, жившие в доме напротив, но несколько раньше, очевидно, все же знали, но, думаю, выбрали этот уголок не потому, что здесь когда-то в великокняжеских златоверхих теремах лился рекою мед, а просто потому, что тут красиво, и рядом Андреевская церковь, и вид на распластавшийся внизу Подол, и на Днепр, и на заднепровские дали...

Вот в таком месте я и родился. И крестился. И начал расти, хотя поп из соседней Десятинной церкви, будучи не слишком трезв, чуть не утопил меня в купели. Мать говорит, пришлось применять искусственное дыхание.

С тех пор прошло шестьдесят лет, но я до сих пор почему-то не решаюсь ступить ногой на балкон, сыгравший столь существенную роль в деле познания мною внешнего мира. Почему? А бог его знает почему. Я и в школу свою после окончания не заходил, и в квартиру довоенную, сожженную немцами, хотя там тоже балкон и с детства любимый красивый вид на Лавру, Печерск, Голосеевский лес... Остерегаюсь как-то встреч с прошлым. Боязно...

Впрочем, я неточен. Я не захожу в дома, в квартиры, но по местам своего детства часто брожу. Вот и недавно совершил такую мемориальную экскурсию. Зашел купить аэрозоль от тараканов в хозяйственный магазин на углу улиц Горького и Толстого (на месте нынешнего большого дома в мои дни стоял маленький, одноэтажный, в котором когда-то была редакция шульгинского «Киевлянина») и, увидав каштаны бульвара, того самого, по которому шестнадцать лет ходил в школу, профшколу и институт, решил что-то восстановить в памяти. Начал спускаться.

Улица моя — Горького, а до этого Пролетарская, а до этого Кузнечная — была булыжной с кирпичными или плиточными (такие плиты сохранились еще во Львове) тротуарами, и было на ней в нашем квартале всего три фонаря. Сейчас асфальт и фонарей не меньше полусотни.

У большого шестиэтажного дома остановился. Здесь, как пишут в биографиях, он прожил свои юные годы — в общей сложности двадцать пять лет.

Так же я стоял перед этим домом в декабре 1943 года, заехав на недельку к матери по дороге из госпиталей в свою часть. Стоял и, задрав голову, смотрел на узенький трапециoidalный балкон на пятом этаже. Там мы жили. В квартире № 17. Школа, профшкола, институт, театральная студия... Шесть комнат, когда дом принадлежал домовладельцу Гугелю, и две, когда нас «уплотнили». Сейчас ни одной — все сожжено, только стены, закопченные провалы окон, искореженные, чуть ли не в узлы завязанные железные балки. Но на балконе, на нашем балконе, все тот же повзрослевший за два с половиной года, растущий прямо из бетона тополек. А рядом с тополком — о чудо! — пощажённые почему-то огнем несколько

вязанок дров. Я долго стоял и соображал, как бы снять их оттуда — лестничная клетка сохранилась, а перекрытия все рухнули. Достань я их, и мамина «буржуйка» спокойно могла бы просуществовать недели две, не меньше. Мечтам моим не суждено было осуществиться: на следующий день дров уже не было, меня опередили. Но как? До сих пор ломаю голову.

Прожил я в этом доме двадцать пять лет — с 1915 по 1940 год. В 1941-м заезжал на несколько дней, менять паспорт — работал тогда в Ростове-на-Дону, в театре. Когда вспыхнула война, я оказался за сотни километров от дома. Немцы окружили Киев, но телефонная связь поддерживалась, и я ежедневно говорил с матерью по телефону. Голос у нее, как всегда, был бодрый, интонации оптимистические, но я знал, что мы, если и увидимся, то не скоро.

Когда меня взяли в армию, в августе сорок первого, я сразу же сообщил об этом матери.

— Ну и правильно, и хорошо,— услышал я в трубке ее веселый голос.— Я очень рада за тебя. Нельзя отсиживаться сейчас в тылу. Иди... Только не забывай писать.

Не всякая мать скажет такое своему сыну. А моя сказала. Правда, в свое время она произнесла, не помню уже по какому поводу, совсем непедагогичную фразу: «Викун, прошу тебя, никогда не будь благодарным». Я на всю жизнь запомнил эту просьбу и в меру сил своих пытаюсь ее выполнять.

Итак, двадцать пять лет. Как говорят, лучших. Двадцать пять лет я выходил из этой дубовой, с зеркальными стеклами в виде какого-то узора двери (сейчас она сосновая, и никакого узора) и куда-то отправлялся. Сначала с лопаткой в Николаевский парк, потом с тетрадками, а зимой и с тремя поленьями в школу, потом в профшколу, потом с рулонами ватмана в институт, иногда с плавками на пляж или вечером в кино.

В Николаевском парке были солдаты и домработницы, тогда они назывались прислугами. Солдаты всех национальностей — русские, украинцы, осетины, немцы, поляки. Все без исключения любили нас, детей, а заодно и наших нянь. Няни подсаживались к солдатам, а детвора полировала своими задами поверженного Николая I, бронзового, длинноногого, слегка лысеющего, лежащего у собственного постамента, или бежала к «Черному морю» — маленькому бассейну его очертаний, и гонялась там друг за другом, лихо прыгая через Босфор и воюя за Крым. Сейчас наше милое море густо обсадили цветами, и никто из ныне резвящихся детей даже не подозревает, что эти цветы от них скрывают.

Но кончилось золотое детство, началось образование. Сначала одна гимназия — Хорошиловой — тут же, на Кузнечной, младший подготовительный, потом вторая — Сороковой — на Пушкинской, старший подготовительный. Это единственное учебное заведение моего прошлого, в котором я бываю сейчас. Там редакция журнала «Радуга». И, возможно, точно уж не восстановишь, я сижу сейчас на партсобрании в том самом «классе», в котором батюшка преподавал нам закон божий.

В 1919 году меня перевели на Большую Подвальную в гимназию Науменко, которая вскоре стала 43-й Единой трудовой школой. И с тех пор начались мои прогулки (правда, вынужденные) по одному и тому же маршруту — в школу, профшколу, институт, до бульвара Шевченко все эти маршруты совпадали. И за все шестнадцать лет ничто на моем пути не изменилось. Только вырастали деревья да один раз университет из красного (стены и колонны красные, капители и базы колонн черные — цвета ордена святого Владимира, имя которого было присвоено университету) стал кремовым, но, слава богу, ненадолго.

Во все свои учебные заведения я всегда опаздывал. В подготовительные классы — потому что по утрам долго молился. Стоя в кровати на коленях и сложив по-католически руки ладошками, я просил Николая-чудотворца, святого Пантелеймона-целителя (откуда они в нашей атеистической семье появились, одному богу известно) простить мне мои прегрешения — вчера раздавил в ванной таракана и долго плакал над судьбой осиротевших «тараканьих детей». Мой старший брат Коля невероятно возмущался моей религиозностью и даже написал маме длинное послание, требуя удаления бонны, дурно влияющей на мое мировоззрение,— кроме веры в бога, она, эта бонна, привила мне еще и верноподданническое отношение к престолу. Лет до восьми я был ярым монархистом и консерватором. Научившись читать и писать, я выражал свой протест против нового режима тем, что на всех афишах приписывал твердые знаки и менял, где надо, «и» на «і»... Мать ко всему этому относилась спокойно и на Колин меморандум ответила тремя словами: «Не беспокойся, пройдет». И прошло.

Итак, в первые два класса я опаздывал по соображениям идейно-религиозным. Потом — потому что до школы было далеко и путь туда был небезопасен. Наш двадцать четвертый двор воевал с двадцатым, и почти каждое утро противник подстерегал меня, чтоб избить, что иногда, правда, не часто, и удавалось ему. Я отчаянно сопротивлялся, но Надежда Петровна, классная наставница, разглядывая очередной синяк, почему-то не очень верила, что я «случайно ударился о шкаф».

В профшкольские и институтские годы я опаздывал, потому что поздно ложился спать и утром еле продирали глаза. В силу этого мне пришлось подделывать подпись профессора Ярина в матрикуле, так как его лекции по железобетону начинались всегда в восемь часов. Много лет спустя на литературном вечере в том же институте я публично признался профессору Ярину в своем жульничестве, и, представьте себе, он ничуть не обиделся, только смеялся, сидя в президиуме.

Короче, во все свои учебные заведения я всегда мчался как угорелый, иногда вскакивая на ходу на завороте в 8-й номер трамвая. Но я не часто им пользовался, ходил он редко, набит был всегда так, что даже на подножку стать было невозможно, а в сеть два квартала, держась за чье-то пальто, было утомительнее, чем бежать.

На пути моем было двое часов — в крайнем левом окне на втором этаже университета и у Управления юго-западных железных дорог — большие над входом, на кронштейне, с надписью «Точное время. Проверка по радио». Надпись эта внушала определенное уважение, хотя каждый раз я убеждал себя, что часы, наверно, спешат. Сейчас, проходя мимо университета и никуда уже не торопясь, я машинально поворачиваю голову в сторону окна с часами, хотя лет тридцать их уже нет. И мне становится чуть-чуть грустно — удобные были часы, хотя, ей-богу, всегда спешили, так же как, не сомневаюсь, и у школьного нашего сторожа Варфоломея Степановича.

В самом центре Киева, над Крещатиком, высится 200-метровая телевизионная башня. Почему бы на ней не соорудить громадные, видные со всех концов города часы? Вот было бы удобно! Свой, киевский Биг Бен, Спасская башня, только еще выше, а главное, оригинальнее,— нигде, по-моему, такого нет...

Прости, читатель, вспоминая детство, становишься иногда ребенком... Впрочем, не написать ли об этом все-таки в «Вечерний Киев»? Может, подхватят разумное предложение?

Обо всех этих часах, трамваях 8-й номер, мальчишках из враждебного двора я вспоминал, глядя на свой

балкон, уже без тополя, в день своей мемориальной экскурсии. Постоял, повспоминал и пошел дальше.

Пересек улицу Саксаганского (когда-то Жандармскую, Марино-Благовещенскую, Пятакова), зашел в продмаг, купил «Беломор». Когда-то здесь был «Сорабкоп» (почему-то через одно «о»), и лет сорок тому назад я, трепеща и волнуясь, именно в нем купил свою первую поллитровку. Я мог позволить себе такую мужественную роскошь, зарабатывая старшим рабочим на Вокзалстрое сто рублей. Было мне тогда девятнадцать лет. Тогда же я впервые и побрился в парикмахерской, тут же рядом с «Сорабкопом». Брить было нечего, я очень волновался, потел, боялся, что парикмахер сострит что-нибудь по поводу моего гладкого, как колено, подбородка, но он оказался деликатным и даже дважды намылил меня.

В эту же парикмахерскую я зашел в 1944 году, вернувшись в Киев после ранения (кстати, Николай Митясов из повести «В родном городе» — тоже), но старого Давида уже не было, сохранилось только его зеркало с двумя амурчиками наверху. Я спросил парикмахершу о Давиде. Она грустно посмотрела на меня. «В Бабьем Яру...»

Бабий Яр... Одна из наиболее трагических страниц истории Киева, мимо которой никак не пройдешь. И мы не пройдем, побываем там. Но это потом.

Сейчас же я вышел из парикмахерской, пересек улицу и остановился у дома № 32. С этим домом, вернее, с одной из его квартир, у меня многое связано. И довоенное, и военное, и послевоенное. И веселое, юное, и трагическое, и горькое, и уютное, милое, а все вместе очень значительное, на всю жизнь. Но об этом в другой раз. Скажу только, что «В окопах Сталинграда» в основном писались именно здесь, в большом старинном кресле у окна, сквозь которое был виден столетний вяз на противоположной стороне улицы, весь усеянный гнездами...

В тот последний военный и первый послевоенный год мы все заново увлеклись Хемингуэем, много о нем спорили, и, вероятно, именно поэтому маленькая дочка хозяйки Ирка, когда я сажился в свое кресло, строго говорила: «А теперь тишина, дядя Вика сел за своего Хемингуэя...»

Вот с этого самого «Хемингуэя» и началась литературная деятельность автора этих строк. Но на самом деле, скажу по секрету, все это началось значительно раньше.

Как-то, роясь в старых бумагах, я обнаружил несколько тетрадных страничек, испещренных крупным детским почерком. Это оказалось не более не менее как либретто оперы (!!!) «Карл и Мария», которое осмеливаюсь робко вынести на суд читателей. Думаю, что для любителей стремительно развивающегося сюжета это, безусловно, находка, если предлагаемые «Городские прогулки» по моей просьбе не отложены в сторону.

Вот это либретто. Привожу его полностью, текстуально, позволив себе только запятые вставить.

«КАРЛ И МАРИЯ»

Опера в 5 действиях, 9 картинах, с балетом

Действующие лица:

Мария — дочь богатого графа
Карл — офицер
Граф Люис — отец Марии
Генерал Гамлет — генерал
Александр — богатый барон
Графиня Люция Люис — мать Марии
Солдаты, гости, священник, слуги, бандиты и другие

Действие I. Картина 1-я

Бал у графа Люиса. Оркестр. Танцы. Среди гостей офицер Карл. Входит Мария — очень красивая. Она танцует с Карлом. Карл поражен ее красотой, влюбляется в нее. Он ей тоже нравится. Во время бала они сидят вместе, обнявшись, и Мария говорит Карлу, чтоб он к ней пришел этим вечером. Бал продолжается.

Картина 2-я

Комната Марии. Мария с нетерпением ждет Карла и поет. Вдруг из балкона выходит Карл. При виде Карла Мария бросается ему в объятия. Они начинают разговаривать, причем Карл говорит Марии, что хочет на ней жениться. Мария согласна, но говорит, что отец хочет ее выдать за знатного барона Александра, которого она не любит. Во время разговора Карл говорит, что он состоит в тайном обществе. Вдруг за дверью слышны шаги. Карл выпрыгивает в окно. В дверях появляется Александр. Он ухаживает за Марией, но она к нему относится презрительно.

Картина 3-я

В комнате Карла собрание тайного общества. Они обсуждают вопрос об убийстве царя. Вдруг появляется в дверях отряд жандармов, которые после короткой битвы связывают заговорщиков и уводят в тюрьму.

Действие II. Картина 1-я

В тюрьме. Пленные сидят и говорят. Карл предлагает выпилить решетки в окне и убежать. Все начинают пилить. После долгой работы окно освобождается, и пленные убегают. Входят сторожа и никого не находят.

Картина 2-я

В комнате Марии. Бедная Мария грустная сидит и вспоминает о Карле. Приходит отец и утешает, но она не утешается. Отец уходит. Вдруг в окне появляется фигура Карла. Мария при виде его поднимается и, подняв руки, медленно идет к Карлу. Потом узнает его и с криком радости бросается ему в объятия. Они долго стоят в этом положении, потом садятся рядом на диван, и он ей рассказывает, как спасся. Она говорит ему, что у нее завтра свадьба с нелюбимым Александром. Карл говорит Марии, что он ее похитит перед свадьбой. Потом, последний раз обнявшись, Карл уходит в окно.

Действие III

Большая зала. Много гостей. Александр радостный и грустная Мария сидят рядом. Вдруг Мария говорит, что у нее болит голова и она пойдет выпить воды. Уходит. Александр сидит один. Начинается балет. Наконец приходит священник, ищут Марию, но не находят. Переполох. Александр падает в обморок.

Действие IV. Картина 1-я

Большое поле. Вокруг лес. Карл и Мария приходят. Они садятся на бугорке и засыпают. Вдруг появляется погоня в лице 3 человек (в том числе Александра). Карл убивает 2 противников и дерется с Александром. После дуэли Александр падает мертвым. Начинается утро. Карл и Мария обнимаются и смотрят на труп, потом берут свои вещи и уходят.

Маленькая хижина, в которой живут Карл и Мария. Карл пошел за дровами, Мария копает огород. Вдруг она в земле находит железный сундучок, это клад. В нем золото. Мария радуется. Входит Карл. Мария бросается ему в объятия и с радостью сообщает о кладе. Карл берет сундучок, открывает его и видит, что он полон золота. Оба поют от радости.

Действие V

Действие происходит через один год. Большая, светлая, красиво убранная комната. Там сидят разбогатевшие уже и поженившиеся Карл и Мария и вспоминают прошлое. Потом смотрят друг на друга, медленно подходят и, обнявшись, целуются.

Конец

По-моему, прекрасная опера. Лаконичная, действенная, с чудесным оптимистическим концом. Непонятно, правда, куда девался анонсированный вначале, в списке действующих лиц, генерал Гамлет, но вопрос этот надо решать уже с режиссером, так же как о роли и месте появления бандитов, тоже объявленных в начале пьесы.

С возрастом появились новые увлечения, но с «литературой» не рвал. Кое-что из тех дней мать сохранила. Перечитываю — смеюсь. Другим не читаю.

Напечатался же впервые лет через десять, в 1932 году, в журнале «Советский коллекционер». В те годы я уже не так увлекался собиранием марок, как рисованием их. Когда Наркомпочтель (так называлось тогда министерство связи) объявил всесоюзный конкурс на марки, посвященные дирижаблестроению, я послал несколько своих эскизов. Премии никакой, конечно, мне не дали, но предложили зато сделать несколько заставок для журнала. Я был на седьмом небе от счастья. Сделал. Послал. Напечатали.

А дальше? Дальше была статья о коллекционировании. В том же журнале. В конце статьи несколько слов об оформлении самого журнала. Покритиковав в меру обложку и еще что-то, я из деликатности или скромности покритиковал и заставку «Библиографии», автором которой был ни больше ни меньше как я сам. (Дело в том, что я послал два варианта, один «левый», другой достаточно банальный — книжки на полке, его я и критиковал.) Журнал не без юмора отметил в своей заметке «От редакции», что автор статьи по непонятным для редакции причинам оказался в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекала...

Вот так я начал.

О дальнейших своих шагах на этом поприще я уже где-то упоминал. Писал что-то «заграничное», с мягко шуршащими шинами «роллс-ройсами», детективы с поисками кладов (вместо этого мальчишки находили запрятанное диверсантами оружие), сногшибательные шизо-фантастические истории (конференция памятных в московском Музее имени Пушкина, куда героя по знакомству приводит влюбившаяся в него леонардовская Мона Лиза), любовные псевдогамсуновские рассказы, а в 1940 году (мне было уже почти тридцать!) даже военный рассказ на материале финской кампании, о которой знал только по газетам. Все это усердно куда-то посылалось, но, к счастью, очень скоро возвращалось. Я обижался, дулся, но «пера не бросал».

Сталкиваясь сейчас с начинающей молодежью, вижу, насколько повысился теперь средний уровень пишущей братии. Я со своими «роллс-ройсами» икладами в подметки не гожусь нынешним двадцати —

двадцатипятилетним. Нечто подобное, как говорят люди, знающие и понимающие больше меня, происходит и в поэзии.

Но оставим пока литературу в стороне. И, минуя столь существенный в моей жизни «Сорабкоп» и парикмахерскую, свернем за угол на родную мою Кузнечную. Метров сто вниз — и мы у тридцать восьмого номера. Сюда перебрались мать с теткой после того, как немцы сожгли двадцать четвертый. Седьмая квартира... О, что это была за квартира! Шесть лицевых счетов. И шесть счетчиков в квартире. И шесть лампочек. И в кухне тоже шесть, и в уборной шесть. Кто-то из моих друзей, глядя на это лампочное созвездие, дал ему меткое определение — «гроздь гнева». Электропроводка в коридоре тоже достойна была внимания. Не только пожарников, но, пожалуй, и художников. Замысловатое переплетение проводов, будь под ними соответствующая надпись («Композиция 101») и оказался оно на какой-нибудь венецианской «Биенале», безусловно, было бы отмечено художественной критикой. Думаю даже, что со знаком плюс.

Больше ничем тридцать восьмой номер не знаменит, а остановил я тебя, читатель, у этого дома только потому, что именно в нем, на четвертом этаже, в упомянутой седьмой квартире, я впервые обнял и поцеловал мать после двух с половиной лет разлуки. Она стояла в заставленной неизвестной мебелью комнате с черным, закопченным потолком, склонившись над печуркой, и варила суп из концентратов. Было это в декабре 1943 года. В августе 1944-го я вторично и окончательно вернулся в эту комнату, в которой прожили мы еще шесть лет и без всякого сожаления в пятидесятом году расстались.

Вот и все об этом доме. Сюда мы больше не вернемся, а, свернув налево за угол (как видишь, читатель, само собой как-то получилось, что ты стал моим спутником), выйдем на Красноармейскую (бывшую Большую Васильковскую). Здесь, на углу против здания оперетты, высится 16-этажный, так называемый «точечный» дом. Когда-то на его месте стояла маленькая, незавидная Троицкая церковь, с которой у меня связаны грустные воспоминания. Именно сюда приходил я в «вербное воскресенье» и возвращался назад, закрывая ладонями горящую свечку, чтобы ее не задуло ветром. И именно здесь я в первый (кстати, и в последний) раз причащался. Я хотел по всем правилам до утра поститься. Но не вышло — меня заставили съесть котлету. Это было святотатство. Я ревел весь вечер...

Потом церковь снесли (в одну ночь) и на ее месте выросла шашлычная. Столики на открытом воздухе, напротив продуктового магазина. Излюбленное место футбольных болельщиков: в трех минутах ходьбы от шашлычной — Центральный стадион. Прозвана шашлычная «Барселонкой». Почему — неизвестно. Потому же, почему диетический гастроном на Крещатике со столиками для кофе (только ли кофе?..) на втором этаже называется «Ливерпуль», а открытое на свежем воздухе кафе на том же Крещатике, против улицы Ленина, — «Мичиган», хотя настоящее его название, горящее неонов над столиками, — «Грот»... Крещатицкий жаргон, что поделаешь...

Сейчас «Барселонки» уже нет, вместо нее «точечный» дом с магазином строительной книги на первом этаже. Тут же неподалеку — остановка троллейбуса. Если ехать дальше по Красноармейской, попадем в Голосеевский лес и на выставку передового опыта, если в другую сторону — попадем на Крещатик. Выберем этот, второй маршрут.

«Милый, милый Киев! Как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета... Как я люблю твои откосы днепровские! Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считая звезды и прислушиваясь к ленивым гудкам ночных пароходов... А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже огнями Крещатику и пугали дремлющих в подворотнях сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы...»

Прошу прощения у читателя, но я процитировал самого себя. Вернее, мысли киевлянина — лейтенанта Керженцева, героя повести «В окопах Сталинграда». И позволил себе эту маленькую нескромность потому, что все мы, киевляне, где бы мы ни были на фронте — у Петсамо, под Москвой или защищали Сталинград, — мы все думали приблизительно так же.

Фашисты топтали тогда своими сапожищами киевские тротуары, а мы, киевляне, были далеко, и никто из нас не знал тогда, встретимся ли мы когда-нибудь с киевскими каштанами и будем ли считать звезды, лежа на днепровских откосах, и возвращаться по затихшему ночному Крещатику...

Мне повезло. Я вернулся. И даже живу сейчас в самом центре, самом сердце города, на Крещатике.

Встретился я с ним еще до встречи с мамой в том же декабре 1943 года, через месяц после освобождения города. Выскочил из грузовика у Крытого рынка, там, где кончается Крещатик и начинается Красноармейская. Я сказал кончается. Это неверно. Его просто не было. Горы битого, занесенного снегом кирпича, искореженные, торчащие из этих груд железные балки и узенькие, протоптанные в сугробах тропинки. Вот и все. И цепочкой, как муравьи, спешащие куда-то люди — на работу, за пайками, на толкучку...

А каким он был, Крещатик... Мальчишки прозвали его еще в двадцатые годы Бродвеем. Но какой это был Бродвей? Я помню Крещатик, когда на углу Думской площади существовал еще продуктовый магазин Торлина, где сам владелец, лоснящийся, солидный, точно из пьес Островского, спокойно и важно руководил сонмом своих приказчиков, и книжный магазин Идзиковского, и оптика Унгера (с громадным пенсне над входом). И трезвонил трамвай — гордость киевлян, первый в России трамвай: длинные, с тремя площадками бельгийские четырехосные пульманы, с роликом вместо дуги и открытыми площадками — вскакивай и соскакивай на ходу сколько хочешь.

Всего этого сейчас не было... Кирпич, балки, сугробы, тропинки... Крещатик взорвали в сентябре сорок первого года. Мы сами взорвали. Под его обломками похоронены сотни, тысячи немцев. Он еще долго пылал, дымился. Водопровод не работал, нечем было тушить...

Потом его восстановили, отстроили. Появился новый Крещатик. Непохожий на старый, совсем непохожий. Лучше или хуже? Для нас, старых киевлян, шатавшихся в густой толпе еще мальчишками по его широким тротуарам, конечно, милее старый. Милее, но лучше ли? На приезжих он производит впечатление. Он стал шире, выше, просторнее, посаженные в конце войны немолодые уже липы и каштаны достигли преклонного, тридцатилетнего возраста, разрослись, образовали тенистый бульвар по левой стороне улицы. Трамвая уже нет, его давно сняли, вместо него троллейбусы. У перекрестков в часы пик столпотворение машин. А в 1925 году мы, мальчишки, точно знали — было на весь 500-тысячный город 37 легковых автомобилей (среди них один, приводивший нас в восторг «линкольн») и всего одна автобусная линия

по Крещатику, обслуживаемая десятью машинами с поражающими нас складающимися дверями.

В общем-то довоенный Крещатик не был красив. Разностильные и разноэтажные дома, не ахти какая растительность (и это в одном из самых зеленых городов мира), не слишком роскошные магазины (куда им до московского или ленинградского Елисеева), но был в нем какой-то, как говорят французы, «шарм», что-то свое, неповторимое, связанное с югом, с южной толпой. Начнись первая мировая война лет на пять позже, Крещатик выглядел бы совсем иначе. Именно в 1912—1913 годах началось бурное строительство добротных шести-восьмиэтажных зданий, так называемых доходных домов, резко отличавшихся по своей архитектуре от остального Крещатика. Три больших таких здания в начале улицы по правой ее стороне (№№ 6, 8, 10), еще один сразу за улицей Свердлова (№ 32) и так называемый Пассаж на противоположной стороне — все эти дома, сгоревшие в сентябре сорок первого, чудом избежав взрыва, сейчас восстановлены и дают понять, каким бы был Крещатик, не начнись война 1914 года. Но он не стал таким, с гранитными фасадами, тонко прорисованными пилястрами, ордерами, карнизами. Он стал другим — бело-зеленым (белая плитка фасадов и зелень каштанов и лип), кондитерски-вычурным, с башенками, арочками, завитушками. О довоенной ширине его можно судить по ресторану «Столичный», основательно выпирающему за нынешнюю красную линию, а возле арки, ведущей на улицу Энгельса, — по накренившемуся пожилому дереву, нарушающему четкий ритм каштанов. Почему его не срубили? Кто знает. Помиловали. А может, попало под амнистию.

Между прочим, кроме этого дерева-индивидуалиста, растущего наперекор стихиям, сохранилось еще десятка полтора довоенных деревьев в первом квартале между площадью Ленинского комсомола и Калинина. Обратите внимание, как они за последние десятилетия выросли, — на открытке тридцатых годов это жалкие саженцы, обнесенные деревянным штакетником. Никакой солидности. А теперь под ними и от дождя укрыться можно. Правда, их замечают и пользуются их услугами только в этом случае. Вообще же, кроме крещатицких старожилов, если они дожили до наших дней и что-то еще помнят, никто и не подозревает, что это тоже старожилы, тоже свидетели многого...¹

Вообще, глядя на деревья, особенно чувствуешь бег времени. Когда-то, как всегда, торопясь в школу, я на минуту задержался у Николаевского парка. Вдоль его решетки по Караваевской улице сажали тополя. Тоненькие, озябшие веточки. Тогда это была редкость. Я минутку постоял, посмотрел и побежал дальше. Недавно, проходя по тому же месту, я встретился у входа в парк с громадным, высотой с четырехэтажный дом, раскидистым тополем, который сейчас и двумя руками не обхватишь. Да, это был один из тех юнцов, которых на моих глазах сажали миллион лет тому назад. Впрочем, зачем гиперболы — сажали их лет пятьдесят тому назад, и, глядя сейчас на него, единственного выжившего и пережившего, я как-то очень ясно ощутил, что мы ровесники и оба не первой молодости...

В те годы я знал Крещатик во все часы суток, но преимущественно, конечно, вечерний. Он был шикарен! Так, во всяком случае, казалось нам. Толпы гуляющих. И мы в этой толпе. В юнгштурмовках или

¹ «Кто такие старожилы?» — спросили как-то меня.

«Старики, прожившие много лет», — ответил я.

«Нет, это люди, которые ничего не помнят. Даже старожилы не помнят таких морозов, такой жары, такой теплой зимы... Вот кто такие старожилы...»

рубашках с засученными рукавами, осенью в каких-то кепчонках, заданных назад, «по-ленински», фасонить считалось тогда дурным тоном. О галстук и воротничке не могло быть и речи. На ногах тапочки. В них, в тапочках, правда, с двумя парами носков, я как-то проходил целую зиму — ботинки невозможно уже было чинить, а на новые не хватало денег. Девочки — в ситцевых платьицах по колена, коротко стриженные, иногда с челочкой, иногда без. Других причесок не было. Колец, бус и сережек тоже — признак мещанства. За обручальное кольцо выгнали бы из комсомола. Губы не мазали, брови, ресницы — в естественном виде. Общий цвет толпы — серый, темный. Ничего яркого, броского. Появившиеся в конце двадцатых — начале тридцатых годов клетчатые ковбойки поражали своей сногшибательной пестротой и экстравагантностью.

Сегодняшний вечерний Крещатик совсем иной. И публика иная. В основном — молодежь. Бородастая, усатая, длинноволосая («Почему Герцену можно было, а мне нельзя?»), в джинсах, в голфах, с медальончиками и крестиками на шеях. Джинсы! Мечта современного молодого человека. С нашлепкой на зад и крохотной красной тряпочкой, вылезающей из шва («Что ты, что ты, мама, упаси бог, не срезай, так надо!»), с карманами, в которые даже спичечную коробку не сунешь, зато о них можно погасить сигарету, зад и бедра обтянуты, и походка, как у Криса из «Великолепной семерки» («Ей-богу, не жаль ста двадцати рублей. В Одессе, говорят, даже сто сорок...»). Девушки тоже в брючках — узких, широких, цветастых, пижамных, в мини и макс, в блузках с рюшами и кружевами прошлого века. Когда прохладнее — в платочках. Одна парижанка сказала мне, что так, как киевлянки, парижанки повязывать платочки еще не умеют. Комплимент, да еще какой!.. И вся эта масса, разноцветная, пестрая, яркая, с транзисторами и гитарами, медленно движется вдоль Крещатика. Преимущественно по левой его стороне, от станции метро «Хрещатик» до кафе «Хрещатик» или чуть дальше до гостиницы и ресторана «Дніпро». Маршрут не изменился с довоенных лет, только не было тогда метро, а на месте гостиницы стоял Дом обороны.

Кафе, бары, бульонные, пельменные (летом в них торгуют мороженым) забиты до предела. В «Ливерпуле» за столиками с разноцветными пластмассовыми стульями распивают «тракию» и «мельник», ставя бутылки под стол, откуда их выволакивают уборщицы или «недоперепившие» всем тут известные старики («Ну, как, дядя Петя, дела?» — «Да ничего, помаленьку. За ваше здоровье...»).

Чуть в стороне от столиков вьется длиннющая очередь. Это за «Киевским» тортом. Без него невозможно приехать из Киева домой — в Москву, Ленинград, Свердловск, Иркутск. Сходите как-нибудь на вокзал и посмотрите: по два, три, а то и четыре торта везут. Психоз! (Из очередей, кроме этой, меня всегда поражали еще две разновидности их: за кормом для рыбок и на почтамте — чисто мужская — в погоне за юбилейными штемпелями на марки.)

Кафе «Ливерпуль» — место встреч друзей, осеннее, зимнее. Летом же — «Морозиво» («Мороженое») у входа в Пассаж, «Мичиган» (он же «Грот») и «Бульонная» рядом со входом в метро. Публика во всех трех одна и та же, преимущественно студенты, художники, актеры, киношники, кое-кто из пописывающих. Чашечек с бульоном и так называемых «Кремовок» (на языке официанток) для мороженого не так уж много, граненых стаканов побольше. Большинство посетителей друг друга знают. Сидят компаниями. Время от времени кто-нибудь бежит в «Гастроном».

В кафе «Хрещатик» надо платить за вход, там эстрадные номера, здесь больше приезжих и любителей потанцевать. Рядом прилепился бар-«Стекляшка», где знакомые «всему Крещатику» бармены (а они, в свою очередь, знают не меньше трех четвертей «всего Крещатика») разливают коктейли всех цветов и градусов. В гостинице «Дніпро» три бара — один над другим — любимое место киевских негров-студентов.

С приближением одиннадцати «Ливерпули» и «Мичиганы» постепенно пустеют — зато набиваются «Гастрономы» — до закрытия осталось пятнадцать минут... После одиннадцати толпа на Крещатике редет, определенная часть ее переселяется во дворы и окрестные скверики. Дворы в Киеве особенные — там и зелень, и скамеечки, и даже столики (днем на них режутся в «козла»), и всякие детские площадки с качелями и какими-то горками для катания. Ну, а летом трава...

К часу ночи расходятся по домам с песнями под гитару или без гитары последние веселые компании, и Крещатик затихает до утра, до первых дворников...

* * *

Об утреннем и дневном Крещатике лучше не спрашивать. Магазиная и лоточная вакханалия. Я живу в самом центре, и вся эта толчея перед моими глазами. Когда-то, до войны, Пассаж был тихой улочкой с художественными салонами, книжными магазинами. Сейчас это «Детский мир», где меньше всего детей и с избытком взрослых.

Что происходит со взрослыми, когда где-то «выбросили» кофточки, босоножки или апельсины, — говорить не приходится. С ужасом и великим сожалением думаю о тех, чьи окна выходят на этот самый «Детский мир»... Наши, слава богу, выходят в противоположную сторону, которая шумна только по утрам, когда разгружают ящики в тылах магазинов. И только по воскресеньям в Пассаже тишина. Магазины закрыты. Бродят голуби, да во дворе «Гастронома» единственная на весь Пассаж очередь — сдают бутылки.

Бывает время, когда Крещатик меняет свое обычное лицо. Это праздники и дни футбольных матчей. Население его увеличивается тогда в десятки раз. В дни футбола не рекомендуется заходить в «Гастроном» — все равно ни до чего не добьешься, а в дни праздников и салютов прекращается движение транспорта, и улица во всю свою ширину и длину отдается во власть пешехода, если это спокойное слово можно применить к топчущейся на месте или протискающейся куда-то толпе. Это не лучшее время для посещения Крещатика.

Мы с мамой выходим гулять обычно где-то под вечер. Жара уже спала, но вечерней толкотни еще нет. Маршрут традиционный — до эспланады над Днепром или по Петровской аллее и назад. Идем себе под ручку, тихонько, не торопясь. У подземного перехода осаждают продавщицы цветов, они нас хорошо знают. «Возьмите ландыши бабуся, свеженькие, только из леса...» Мама любит ландыши, и весной у нас вся квартира в ландышах. И в распускающихся веточках тополя, каштана, клена. Потом сирень, жасмин, к концу лета гладиолусы, осенью георгины, астры... «Вы только побрызгайте их сверху, долго стоять будут...». Иногда наших баб нет, их разгоняет милиция. Зачем? Почему? Кому они мешают? Дядя одного моего знакомого, крупный чин в милиции, объяснил: «Безобразие! Замусоривают только Крещатик лепестками!» Действительно, безобразие, того и гляди утонет Крещатик в лепестках роз...

Так, здороваясь направо и налево — мы ведь тоже неотъемлемая часть предвечернего Крещатика, что-

то вроде его достопримечательности,— доходим до громадного плаката на глухой стене дома: «Пийте, друзі, вітаміни, натуральні свіжі соки і румянцем неодмінно запалають ваші щоки». Мама каждый раз возмущается: «Зачем надо, чтобы у меня пылали щеки? Кто придумал, что это красиво?» А на площади Калинина на доме всю ночь вспыхивает и гаснет: «Хто морозиво вживає, той квітучий вигляд має». Мать тоже пожимает плечами: «Всю жизнь ем мороженое, и никогда этого не замечала».

О киевская реклама, мигающая, вспыхивающая, переливающаяся! Она далеко обогнала примитивные московские призывы Аэрофлота и сберкасс пользоваться их услугами и, пожалуй, даже Бродвей. У нас она в изысканной стихотворной форме.

«Якості найкращі сконцентровані саме в ньому, в цукрі рафінованім» (качества наилучшие сконцентрированы именно в нем, в сахаре рафинированном).

«Кришталі, скловироби, термоси виробництва Київського склозаводу художнього. хай будуть в квартирі у кожного» (хрусталь, стеклянные изделия, термосы производства киевского стеклозавода художественного пусть будут в квартире у каждого).

«Піаніно, баяни, бандури не треба шукати довго. Адреса точна — в магазинах «Київкультторга» (пианино, баяны, бандуры не надо искать долго, адрес точный — в магазинах «Киевкультторга»).

И так далее, в том же духе. Разве плохо?..

Погуляв по вечернему Крещатику, ты теперь сможешь наконец купить себе бандуру, обставишь квартиру хрусталем и термосами, а чай будешь пить только вприкуску.

Зацепившись за рекламу, никак не могу обойти вниманием еще один вид информации — так называемую наглядную агитацию. Ничуть не оспаривая ее полезность в принципе, приведу только два примера (из области «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет»).

Первый пример. Прошу уважаемого читателя, не заглядывая вперед, ответить на вопрос, в какой газете, книге, журнале, парке культуры и отдыха, клубе или кинотеатре могли быть помещены нижеследующие сведения:

«К 1980 г. производство цемента увеличится более чем в пять раз. Быстрое развитие и техническое совершенствование строительной индустрии обеспечит огромные масштабы капитального строительства.

Цемент	в миллионах	тонн:
1960 г.	1970 г.	1980 г.
45,5	122	233—235».

Где? Нет, не в газете, не в парке культуры и отдыха, не в клубе, а ... на почтовой марке! Все это размещено на крохотном кусочке бумаги размером 3,5×5 см и изданном бог знает сколько-миллионным тиражом. И такая марка не одна, а целая серия, посвященная развитию транспорта, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, черной металлургии, увеличению поголовья скота и птицы. Я хотел бы познакомиться с человеком, пусть даже филателистом, который прочел бы все эти надписи...

Второй пример. Город Чернобыль. Милый, симпатичный, зеленый городишко. И речка красивая — Десна, приток Днепра. Летом киевляне приезжают сюда отдыхать — тихо, красиво, можно порыбачить и базар недорогой... И вот на окраине этого симпатичного города я натолкнулся на небольшую лесопилку. Обнесена она была давно не отремонтированным забором, где-то визжала циркулярка, пахло свежими опилками, возле покосившихся ворот спал богатый-богатый сном рядом с заглохшим трактором бронзовый полуголый парень, а над воротами вяло трепыхался

на ветру выцветший от дождя и солнца — белые буквы на белом фоне — лозунг: «Да здравствует традиционная дружба народов Советского Союза и Непала»...

Хотелось разбудить этого парня и попросить рассказать что-нибудь об этой трогательной традиции, но он так аппетитно храпел, что я махнул рукой,— вероятно, лозунг повешен здесь по разнарядке или в порядке культурного обмена с далеким гималайским королевством, а там, в свою очередь, где-то в Катманду, в какой-нибудь пагоде или на рынке, где торгуют дикими розами, тоже висит такой лозунг, только написанный загадочной восточной вязью...

Но оторвемся все же от реклам и чернобыльских лозунгов и вернемся на Крещатик.

* * *

Лучшее время для прогулки по нему, это, конечно, раннее-раннее утро. Летом, часиков этак в пять-шесть. Редкие, непонятно откуда и куда идущие — то ли с дежурства, то ли с затаившихся именин — прохожие, первые дворники, волочащие по тротуару кишки для поливки улиц. Троллейбусов еще нет. Вихрем проносятся единичные, плюющие в этот час на светофоры машины. На магазинах с обязательными теперь любезными «Добро пожаловать» (по-украински «Ласкаво просимо») висят еще замки, в каких-то железных коробках с всунутыми в них картонками... Идешь по такому Крещатику, еще прохладному, с длинными тенями, и замечаешь то, мимо чего проходишь, когда он тороплив и многолюден. Именно в это утро ты обратишь внимание на то, как выросли довоенные деревья, как хорош виноград на балконах, переползающий по стенам с одного на другой, как мощно разросся плющ на лестнице, ведущей к павильону «Чай — кофе» (Расти, расти, плющ, разрастайся по всем фасадам Крещатика — ты сделаешь большое дело!), как ненужны, безобразны и не вяжутся со старым Пассажем скульптуры у его входа и еще парочка возле лестницы к кинотеатру «Дружба». Для чего они, эти унылые мужчины и женщины с какими-то чертежами, планами и снопам в руках? Ох, как повезло бы Крещатику, если бы скульптуры могли оживать,— взяли бы они свои чертежи под мышки и ушли бы куда-нибудь подальше...

Да, именно в это тихое, безлюдное утро ты все увидишь и заметишь. Остановишься посреди пустынного тротуара и начнешь рассматривать фасады. Ты никогда не занимался этим? Тогда — советую!

В Киеве есть дом, который знают все, даже не-киевляне. «Слыхали, что у вас в Киеве есть такой дом,— говорят они,— на котором много...» Да, есть,— отвечаем мы,— дом Городецкого, дом с русалками.

Городецкий, в свое время известный в Киеве архитектор, отнюдь не был новатором. Он подражал Древней Греции (в Музее украинского искусства, «со львами», как его называют киевляне), готике (в новом костеле), чему-то восточному (в караимской кенасе на Большой Подвальной, сейчас там кино «Заря»). Сделано все умело, добротнo, со знанием дела, но в общем-то копии чего-то. Но вот в жилом доме на Банковой (ныне Орджоникидзе) Городецкий нашел самого себя. В этом доме он приближается не на очень, правда, близкое расстояние к вдохновенному певцу архитектуры «модерна» — Антонио Гауди, автору знаменитого собора Саграда Фамилия (Святое Семейство) в Барселоне. Неудержимая фантазия, стремление и умение из камня и цемента вить веревки, лианы, сети, уничтожать камень как таковой, превращать его в цветы, растения, животных — одним словом, создавать архитектуру, уничтожая ее

устоявшиеся принципы, — вот что сближает этих двух архитекторов, русского и испанского. «Дом Городецкого» — это, конечно же, не просто дом, это сказка, приключенческий рассказ, детская иллюстрированная книжка... Там вырастают из стен слоны, носороги, антилопы и громадные жабы на крыше, и найдя верхом на усатых дельфинах, и в каннелюрах колонн извиваются маленькие ящерицы и змеи, а на решетке дома дикий барс (или что-то ему сродни) сражается с могучим орлом...

И вот стоят перед этим домом туристы, приезжие со всех концов страны и рассматривают, удивляются, поражаются, хвалят, осуждают, иронизируют и, конечно, фотографируют со всех сторон. Одним словом, при всей своей антиархитектурности дом этот...

Но стоп! Я сказал «антиархитектурность» — и тут же беру свои слова обратно. Нет, дом Городецкого вовсе не антиархитектурен, в нем просто ярче, доходя до какой-то крайности, развито то, что заложено в архитектуре многих жилых домов первых лет двадцатого века. Более того, я бы сказал даже, что дом этот на фоне остальных — пример скорее положительный, чем отрицательный.

Конец XIX — начало XX века не лучшее время в истории архитектуры. Декаданс, модерн... Но кроме особняков, где полет фантазии не ограничивался богатыми заказчиками, начало века было отмечено неудержимым ростом городов, строительством так называемых доходных домов и того, что за границей называется «офисами», — банков, контор, страховых обществ и т. д. И вот этим-то домам было тогда нелегко, архитекторам и подвояно.

Земельная рента в начале века (особенно на центральных улицах) росла чуть ли не в геометрической прогрессии. В Киеве в 90-х годах усадьба Меринга (в самом центре города, там где театр И. Франко, бывший Соловцова) размером в десять десятин была продана за 300 тысяч рублей. Несколько лет спустя усадьба Штифнера (нынешний Пассаж) площадью в один гектар была приобретена страховым обществом «Россия» за полтора миллиона рублей.

Теснота участков приводила к тому, что дома на улицах-коридорах стояли плечом к плечу и оставляли в распоряжении архитектора одну только фасадную стену, остальные — либо глухие брандмауэры, либо никому не видные задние стены, выходящие окнами и балконами во дворы-колодцы.

Так расцвело фасадничество.

Правда, и ренессанс, и барокко, а до этого и готика тоже хорошо знали, что такое фасад. На него сгонялось все — и колонны, и пилястры, и сандрики, и карнизы. Но стиль в то время создавали в основном не жилые дома, а уникальные сооружения — дворцы, замки, соборы, в двадцатом же веке именно жилые дома и офисы.

И вот бедный архитектор, лишенный объема и пространства, весь свой талант и знания вкладывает в эту самую единственную, выходящую на улицу стену. Задача не из легких, с которой могли справиться только крупные мастера. И нужно сказать, что в России таким архитекторам, как Щусев, Щуко, Фомин, Жолтовский, Таманян, Бенуа, удалось создать здания, безусловно, украшающие город. Наиболее удачный пример — Каменноостровский (ныне Кировский) проспект в Ленинграде, одна из красивейших улиц города.

Киев, увы, похвастаться таким проспектом не может. Четыре здания на Крещатике (Зекцера и Торова, Бенуа, Андреева и Лидваля) плюс Пассаж, непосредственно на Крещатик не выходящий, ну еще от силы десяток-другой домов — и все. Остальное малоинтересно. Пяти-шестизатжные из желтого киевского кирпича, в большинстве неоштукатуренные здания

с достаточно безвкусной лепниной и обязательными куполами — вот типичная архитектура Киева, его лицо. Ну еще обязательный «стиль рюсс» — пузатые колонки, теремочки, кокошнички.

Спасает эту безвкусицу рельеф города и буйная зелень, скрывающая фасады. Одно в этих домах хорошо — балконы. Широкие, просторные, со специфической киевской «пузатой» решеткой из каких-то листьев и ветвей. На таком именно балконе я и начал свои прогулки — дом № 4 на Владимирской — типичный киевский дом.

Сейчас я живу, как уже говорил, в Пассаже. О нем стоит поговорить особо, так как огромный дом этот — один из наиболее ярких образчиков нелегкой, я бы сказал, даже трагической, судьбы «фасаднической архитектуры».

Пассаж — это, так сказать, внутриквартальная, совсем неширокая улица с большими магазинами на первом этаже и бесчисленным количеством квартир на остальных четырех. Думаю, что население Пассажа (вся эта улица — один дом № 15) не уступает по количеству жителей любому современному районному центру или дореволюционному уездному городу. Строил его архитектор Андреев. Осуществить до конца свой проект ему не удалось (строительству крещатикской части помешала мировая война), но и то, что сделано, свидетельствует о большом мастерстве автора. Да, мастерстве и в то же время, повторяю, о трагичности его мастерства.

Даю голову на отсечение, что ни один из многих тысяч жильцов этого дома не знает, что же изображено на его фасадах. Более того, смею утверждать, этого не знает ни один киевлянин, даже ни один житель земного шара, кроме разве что авторов проекта (если они еще живы) и... меня. Сужу по тому, что, прожив в Пассаже двадцать лет, я только сейчас обнаружил на его фасаде, вернее, фасадах, массу интереснейших вещей. Обнаружил, например, кроме мужских и женских голов, молодых и пожилых, несметное количество гербов, гирлянд, поддерживаемых летящими гениями, ангелочков, орлов, бычьих черепов, ночных сов с распростертыми крыльями, факелов, жезлов Меркурия, бараньих голов с подвешенными к рогам ананасами, и множество барельефов — детей, играющих со львом или львицей, обнаженных мужчин и женщин, из которых я точно узнал одного только Нептуна по трезубцу в руках, какие-то обнимающиеся пары... И все это я, киевлянин, человек, любящий разглядывать фасады, открыл для себя совсем недавно, начав писать эти заметки.

И тут-то и возникает вопрос: не зря ли потратил всеми уважаемый архитектор время на прорисовку всех этих ангелочков, сов, орлов и прочей живности? Ведь никто этого не видит, не замечает. Я вот совсем недавно только обнаружил, что женская голова в замочном камне над моим парадным отlichtается от других таких голов тем, что она прикрыта тигровой шкурой. А сколько раз я входил в эту дверь? Тысячу, две, пять, десять тысяч раз! Непостижимо! И обидно. Столько труда потрачено. Неужели напрасно? *

В студенческие годы мы много говорили и спорили о синтезе искусств. Примерами положительными считали Афинский Акрополь, капеллу Медичи Микеланджело во Флоренции, где архитектура и скульптура настолько спаялись, слились, что просто не могут

* Уже после обнаружения тигровой шкуры я хвастался знанием фасадов собственного дома перед другом, скульптором. И, к великому моему удивлению, разобрал вдруг, что детишки на барельефах вовсе не играют со львом и львицей, они просто-напросто... спавают их. Да, спавают! Одни раскрывают ему пасть и подносят чашу с вином, наливая его из какой-то амфоры. Другие же малыши с гроздьями винограда в руках готовят вино. А двое даже дегустируют его... Вот о каких интересных вещах рассказал нам Андреев...

существовать друг без друга. Синтез архитектуры с живописью признавался, правда, с оговорками, в домах Помпеи, а в более поздний период в архитектуре Мексики — Диего Ривера, Сикейрос и другие. Нарушителями, врагами синтеза, считались Сикстинская капелла того же Микеланджело (живопись разрушает архитектурную форму) и, конечно же, барокко, где для нас, юных конструктивистов, ревнителей чистых объемов и плоскостей, всего было слишком много.

С годами вкусы несколько изменились — стало ясно, что конструктивизм отнюдь не панацея от всех бед (это понял раньше всех нас великий Корбюзье), а барокко далеко не самый плохой период в истории искусств. Стиль (если можно говорить о нем, как о чем-то имеющем начало и конец) рождается в определенную эпоху и не на ровном месте. Он отвечает требованиям своего времени, своих заказчиков (от императоров прошлого до государственных мужей последних десятилетий) и в то же время является отображением состояния умов и вкусов.

Но я не собираюсь читать здесь сжатый курс истории архитектуры, я просто пытаюсь уяснить себе (а потому и залез в дебри), что положительного и отрицательного дала человечеству архитектура начала века, а заодно разобраться в том, что можно считать ее трагедией.

Если, вспоминая прошлое, мы заговорили о синтезе архитектуры, скульптуры и живописи, то на примере андреевского Пассажа и его собратьев мы видим весьма любопытное явление — вмешательство в архитектуру книжной графики и, в свою очередь, архитектуры в книжную графику.

Сравните, например, фасады первого десятилетия XX века с графическими работами «мирискусников» — Бенуа, Бакста, Сомова, Добужинского — с обложками «Аполлона», «Золотого руна». «Столицы и усадьбы», и вы увидите много общего. Те же маски, купидоны, гирлянды, бараньи головы. Виньетки на стенах домов, колонны и архитектурные детали на книжных страницах.

И это вполне закономерно. И у архитектора, и у графика перед глазами плоскость, прямоугольник — у первого стена, у второго лист. И плоскость эту нужно заполнить. И, заполняя ее, архитектор и график протянули друг другу руки, как позже, в двадцатые годы, делали это архитектор и инженер. Но если во втором случае архитектура открыла нечто новое и дала миру таких мастеров, как Ле Корбюзье, Гропиус, Райт, Леонидов, Мельников, братья Веснины (список этот можно продолжить), то в первом случае дело обстоит несколько сложнее.

Книгу, взяв ее в руки, ты рассматриваешь, а мимо дома проходишь, не очень-то обращая на него внимания, если это не памятник архитектуры и о нем не написано в путеводителях и книгах об искусстве.

Такие крупные мастера, как Шуко, Лидваль, Рерберг, тот же Андреев (Шусев несколько в стороне, у него были свои поиски — от церквей и Казанского вокзала до Мавзолея Ленина), оформляли свои фасады с большим вкусом и знанием дела, но мы, прохожие, не успеваем, не умеем это оценить. И виноваты в этом не архитекторы, а мы. И именно потому предпочтительно гулять по городу ранним утром, когда магазины и учреждения еще закрыты, а тебе некуда торопиться.

Дома нужно рассматривать как книжки. И тогда тебе многое откроется. Хотя бы то, что Пассаж при симметричности своих фасадов несимметричен в своем построении — у него есть излом, создающий некую, очень нужную в искусстве неправильность (тонкость, придающая такое совершенство Акрополю), тогда ты испытываешь то наслаждение, которое хотел доставить тебе архитектор. И тогда ты поймешь, что труд его не

был напрасен — воздвигнутое им (даже если не все детали до тебя дошли) воздает в целом определенный архитектурный образ, настроение, то есть то, без чего архитектура существовать не может.

И тут я возвращаюсь к Городецкому, к его дому. Пусть в нем, в этом доме, слишком много носорогов и наяд, но он сделан рукой художника. И художника, не побоявшегося выбрать сложнейший рельеф — крутой обрыв. Это дало ему возможность вырваться из строчечной застройки, а значит, и избавиться от фасада — дом одинаково интересен со всех сторон. И, пожалуй, именно это дает нам право отнести его к примерам скорее положительным, чем отрицательным, того стиля, которому трудно дать название, — модерн, неоклассицизм, декаданс, стиля, который не принято считать стилем, а принято осуждать, увы, не всегда с основанием.

...7 июня 1926 года на одной из центральных улиц Барселоны из-под трамвая было вытянуто тело неизвестного бродяги. Через несколько дней бродяге этому были устроены торжественные похороны, на которые стеклась чуть ли не половина города. Безвестным бродягой оказался 74-летний Антонио Гауди, архитектор, которому Барселона, а вместе с ней и все человечество обязаны одной из интереснейших страниц истории архитектуры. Строил он только в Барселоне, больше нигде, у нас почти неизвестен, если не считать знатоков, так же как неизвестен «почтальон Шеваль» (во Франции знаменитый примитивист Руссо именуется не иначе, как «таможенник Руссо»), тем не менее имена обоих упоминаются во всех энциклопедиях, о них пишут монографии, а творения их изучаются всеми, кого интересуют судьбы архитектуры.

Оба они считаются представителями модерна. Но считают это главным образом специалисты, которым нужно втиснуть творчество того или иного художника в рамки определенного течения, стиля. Нет, ни тот, ни другой не втискиваются в эти рамки. Они не модернисты, они «кошки, которые гуляют сами по себе». Подобно Гоголю, который считал, что современную ему унылую архитектуру надо убить городом, в котором сочетались бы стили всего мира и всех веков, «почтальон Шеваль» построил свою собственную усыпальницу (!), использовав все лучшее, что дали миру безвестные архитекторы Индии, Бирмы, Тибета, Японии, Китая, Рима. Гауди, напротив, избегал стилей и модерна, оперировавшего своими штампами в том числе.

Венец его творчества — собор Саграда Фамилия. Строить его он начал еще тридцатилетним молодым человеком и так и не закончил, дожив до семидесяти четырех лет. За сорок три года строительства (1883—1926) ему удалось осуществить только грандиозный по размерам фасад — портал и четыре башни. Человеку, не видевшему его в натуре, трудно, конечно, судить о впечатлении, которое производит собор (вернее, его лицо), но даже рассматривая фотографии, видишь, что перед тобою нечто незаурядное. Взмывающие ввысь веретенообразные стометровые башни, вырастающие из портала, поражают не только своим силуэтом, они сотканы из бесконечного количества деталей, которые уловить и оценить можно, очевидно, только вооружившись биноклем и временем. Фантазия автора не знает предела. Он оперирует любыми формами — готики, романских донжонов, дворца Снежной королевы, песочных замков, вылепленных детьми на пляжах, затейливостью растений и придуманных самим автором форм. Он использует цвет, майолику, скульптуру, даже надписи, игнорируя только одно — прямую линию, прямой угол и плоскость. Эти последние Гауди считал началом человеческого, кривую же — божественным, что, правда, не

мешало ему и в жилых домах избегать «человеческих» прямых.

В Гауди мирно уживались (а может, и не мирно) самые противоположные начала. Художник и инженер, мистик и калькулятор. Его любили и чему-то учились у него Корбюзье и Сальвадор Дали. А он своим учителем считал природу. «Дерево — наш учитель», — говорил он. «Парабола не придуманная, вычисленная кривая, это растопыренные пальцы». Его эмблемой были роза и дракон — эмблема святого Георгия, покровителя Каталонии, — прекраснейший из цветов и чудовищное порождение фантазии.

Любимое изречение Гауди: «Архитектура не должна придерживаться своего времени». И еще одно: «Трамваи должны останавливаться, а не пешеходы»... Увы, этого изречения не знал водитель трамвая, который переехал его.

В наш век стандартов и рационализма ни Гауди, ни почтальон Шеваль (он действительно был почтальоном, как и Руссо — таможенным чиновником) не вписываются. Их архитектура не дружит с современной. Что ж, тем хуже для современной архитектуры, добавим мы, в чем-то разделяя точку зрения Гоголя.

Талант даже в сложные времена выходит победителем.

Ну а Городецкий?

К стыду своему, должен признаться, что только сейчас и совершенно случайно я узнал, что он был автором не только музея, костела и дома на Банковой, а еще и других, хорошо мне известных зданий, в том числе и «Замка Ричарда Львиное Сердце» на Андреевском спуске, о котором я уже неоднократно вспоминал.

Как раз напротив Строительного института, на улице Чкалова, стоял и теперь стоит весьма любопытный дом. Он хорошо был виден из окна нашей аудитории. Большой, шестиэтажный, он стоит в глубине участка, и к нему ведет лестница со всевозможными порталами, арками и пристройками а-ля готика. И вот совсем недавно, поднимаясь по этой лестнице, я повстречал древнюю старушку, тащившую тяжеленную корзину. Я помог ей дотащить корзину до дома, а заодно спросил, не знает ли она, кто построил этот дом. Выяснилось — Городецкий... И не только этот — старушка оказалась словоохотливой и все помнящей. И глазню погляжу на той же Столыпинской (ныне Чкалова, а до этого Ладо Кецохвели, а до этого Гершуни, а совсем давно Мало-Владимирской), в которой умер раненый Столыпин, и здание психиатрической больницы, примыкающей к дому, в котором она живет со стороны Бульварно-Кудрявской (ныне Воровского), и дом с башней и шпилем на углу Большой Подвальной (а до этого Ярославов Вал, Ворошилова), и Театральной, и нашего любимца «Ричарда Львиное Сердце».

Городецкий, судя по всему, любил замки, и во всех этих домах есть что-то «замковое» — амбразуры, аркады, мосты, башни, шпили. И все они запоминаются. И всегда стоят на интересном месте, отовсюду видны...

И ничего этого я не знал. Вот что значит подносить старушкам корзинки...

Имя Городецкого не упоминается ни в одной энциклопедии, о нем не пишутся монографии и над «домом с русалками» кое-кто посмеивается, а другие просто от него отворачиваются: стоит ли о нем говорить, но не зря все-таки приходят к этому дому люди и разглядывают его, фотографируют... А новые наши «башни», на Русановке ли, или в Химки — Ховрино при всей их разумности и рациональности что-то совсем не хочется фотографировать.

Киевляне рассказывают легенду о дочери Городецкого, которая утонула где-то в озере Чад или Викто-

рия-Ниянца, и в память о ней, мол, построен дом с русалками и носорогами. А где-то я читал, что, напротив, никакая там не фантазия, просто архитектору заказала этот дом какая-то фирма по производству цемента — проверить в самых сложных лепных формах качество этого цемента. Бог его знает, что было на самом деле, важно другое — перед нами произведение художника, у которого было свое лицо, не банальное, не стереотипное, а свое собственное. Без этого не может существовать искусство, будь это храм Василия Блаженного, капелла Роншан или хотя бы «Замок Ричарда Львиное Сердце».

* * *

«Замок Ричарда Львиное Сердце» — № 15 по Андреевскому спуску, а ниже его, под горой, — № 13, «дом Турбиных», в котором жил и автор пьесы М. А. Булгаков. Теперь он стал вроде даже одной из достопримечательностей Киева. Почитатели Булгакова из разных городов сразу находят его — большое, черное «13» на ярко-белом квадрате видно издали. Многие заходят во дворик, фотографируют, наиболее отважные рискуют познакомиться и с Инной Васильевной, дочерью Василисы...

Лет пять назад я об этом доме писал. За это время удалось кое-что еще узнать.

Скажу прямо: писать о живых людях или их прототипах — дело неблагодарное, а возможно, даже и не всегда нужное.

Надежда Афанасьевна Булгакова, сестра писателя, в одном из писем писала:

«Несколько человек, знающих нашу семью, ожидают Вас за неточность информации. Говорят, что Вы, мол, от Инны Васильевны узнали, что есть в Москве родные писателя, надо было бы обратиться к ним. Но, представьте, я так не думаю. Болезнь помешала мне вмешаться в это дело до напечатания очерка, значит, судьба: пусть будет так, как получится».

Несмотря на столь мягкое и деликатное замечание Надежды Афанасьевны, позволю себе истины ради кое-что с ее слов все же уточнить и дополнить.

«Не знаю, — пишет она, — стоит ли утруждать Ваше внимание исправлением ошибок, но кое-что скажу.

Варя, самая веселая (это верно), четвертая в семье, на гитаре не играла, она кончила Киевскую консерваторию по классу рояля, была пианисткой. Вера, старшая из сестер, вторая после Михаила, пела, училась пению; замужем за офицером никогда не была; ее муж никогда не был выслан. Мой муж был филолог, русский. Ни у кого из сестер Булгаковых мужей немцев не было.

Варя — прототип Елены Турбиной. Миша прекрасно, тонко уловил черты ее характера, ее облика, рисует Елену Турбину. Но Вы же сами написали о героях Булгакова: «...может, и выдуманных, наполовину, на четверть выдуманных...» И муж Елены — Тальберг тоже выдуман на сколько-то».

По этому же поводу пишет и племянница Надежды Афанасьевны, дочь ныне покойной Варвары Афанасьевны (Елены Турбиной):

«Моя мать действительно вышла замуж за офицера (моего отца); фамилия у него немецкого происхождения — Карум, но он был русским. Мать его уроженка Бобруйской губернии — Миотийская Мария Федоровна. Самое интересное, что отец мой жив. В период культа личности он был репрессирован, сослан в Мариинск, затем переехал в Новосибирск. В настоящее время он, конечно, полностью реабилитирован, пенсионер, свой трудовой путь закончил в должности заведующего кафедрой иностранных языков Новосибирского государственного медицинского института. Сейчас ему 78 лет, но он много работает над иностран-

ной литературой, живо интересуется новинками в литературе, музыке, искусстве.

Моя мать в ссылке никогда не была, мы приехали в Новосибирск, когда отец был освобожден. В последние годы своей жизни она работала в Новосибирском педагогическом институте старшим преподавателем кафедры иностранных языков».

Оба письма, отрывки из которых я привел, — Надежды Афанасьевны и И. Л. Карум, ее племянницы, — дополнений и разъяснений, само собой разумеется, не требуют. Как никто другой понимаю, до чего досадно обеим было читать все эти «неточности», касающиеся близких и дорогих им людей (я тоже огорчился бы). Но я, оправдываясь, хочу сказать, что свое посещение дома № 13 рассматривал скорее как некую живую сценку, вплетшуюся в историю «Дома Турбиных», а не как исследовательскую работу по биографии М. А. Булгакова. Я не исследователь и не биограф — просто мне дорого все, что связано с именем писателя, и каждое слово, каждый, пусть далекий, детский отрывок чьих-то воспоминаний о нем, о вымышленных или невымышленных его героях мне интересен. Да, думаю, не только мне.

Вот несколько слов из этих дошедших до меня отрывков.

Алексей Турбин...

Одна из читательниц пишет:

«Моя мать в 1918 году жила в Киеве (кстати, на Андреевском спуске в доме кн. Урусова, который вы называете «Замком Ричарда») и была близко знакома с артиллерийским офицером (в чине полковника) Алексеем Петровичем Турбиным.

Еще в 1933 году, посмотрев пьесу Булгакова, она считала, что Алексей Турбин очень похож на того человека, которого она знала, и хотела узнать у Булгакова, действительно ли Булгаков «списал» его с живого человека. Но, с одной стороны, она стеснялась написать, с другой — даже боялась... Вы пишете, что полюбили этих людей, полюбили «за честность, благородство, смелость, за трагичность положения». По рассказам матери, Ал. Петр. Турбин был именно таким — благородным, очень интеллигентным, но — увы! — белым офицером. Теперь, после Вашей статьи (очерк? новелла?), я уверена, что Алексей Турбин и есть тот самый человек, конечно, не в абсолютно «чистом» виде, как и всякий литературный прототип.

Последний раз моя мать видела его в Севастополе перед бегством белой армии за границу».

Это — о самом Турбине. А вот догадка одного из читателей по поводу «происхождения» этой фамилии. Булгаков — Турбин... По Ушакову — булгачить, значит, «беспокоить, будоражить», по Далю — турбовать — тоже «беспокоить, тревожить», — по-моему, любопытная, о чем-то говорящая «раскопка».

Шервинский...

Письмо от читательницы из Горьковской области:

«Было это так. Лет 10 тому назад я ехала из Москвы домой. В купе со мной оказалась одна пассажирка — немолодая, некрасивая женщина, разговор с которой не сулил ничего интересного. К счастью, я ошиблась. Попутчица оказалась завзятой театралкой, и мы с увлечением проговорили всю летнюю ночь.

Конечно же, вспомнили и «Дни Турбиных». И хотя обе мы видели их в тридцатых годах, впечатление было настолько велико, что спектакль запомнился во всех деталях.

Вот тут-то моя собеседница мне и сказала: «А знаете, я ведь киевлянка и в 1918 году жила в Киеве. Я немного знаю человека, которого Булгаков вывел под фамилией Шервинского».

Передаю то, что запомнила из ее рассказа.

«...1918 год. Ранняя осень. Я в гостях в одной скромной семье, состоящей из матери-старушки и двух дочерей-девушек. Бедная квартира, тусклый свет, неинтересный, вялый разговор. И вдруг ворвался солнечный вихрь — в комнату влетел молодой офицер — родственник старушки. Высокий, стройный, с великолепной русой шевелюрой. От его белозубой улыбки, прекрасного голоса, смеха, шуток сразу все оживило. Я сидела в уголке и следила, и слушала, как он говорил, смеялся, ухаживал за девушками, целовал руки старушке, пел, играл на скрипке...

Когда я смотрела спектакль — выход Шервинского поразил меня: да ведь это же Евгений! Актер дал очень верный образ, будто знал его.

Уходя из гостей, я спросила у старушки, кто этот офицер. Старушка ответила, что это ее родственник, что служит он адъютантом у одного высокопоставленного лица, чуть ли не у «самого».

В последний раз я видела его в элегантной коляске, запряженной парой вороных. Он сидел на переднем сиденье — откидной скамеечке — и что-то оживленно говорил каким-то важным особам, сидевшим в экипаже.

Потом в городе произошла смена власти, и он исчез.

После мне рассказывали, что он обосновался в Москве. Одаренный человек, он увлекся электротехникой, сделал ряд изобретений в области гальванопластики, много и плодотворно работал, а теперь доживает свой век, окруженный почетом и уважением.

Он был женат. Жену свою обожал и рыцарски служил ей. На меня, как на женщину, произвел большое впечатление такой факт: 30-е годы, карточки, с промтоварами трудно, предметов роскоши совсем нет. А он, чтобы доставить удовольствие жене, обшаривает всю Москву и достает флакон духов «Коти». Жена их любит...

Вот и все, что я запомнила из рассказа моей попутчицы. Помнится, мы тогда еще потолковали, не на «Елене» ли он женился, но у моей собеседницы никаких определенных данных не было».

Так ли это? Не знаю. И не проверяю. Зачем проверять? Пусть это останется «тайной» неизвестного мне артиллерийского полковника Турбина и не более известного Евгения...

А вот строчки из письма, ничего нам не открывающего, но настолько трогательного, что не могу их не привести:

«...«Дом Турбиных» возвратил меня к событиям сорокалетней давности, о которых хочу рассказать Вам.

Лет мне было в те поры 5—6, но кое-что запомнилось отчетливо, совершенно фотографически.

Так вот, у моей матери была приятельница, звали ее Леля. Внешность ее совершенно изгладилась из памяти. Кроме синего костюма (как Василисин зять запомнил только форму булгаковских зубов). Меня в те времена могли интересовать зубы разве что серого волка. Помню, как-то раз мама, тетя Леля и я шли по Тверской (в Москве). Остановились у круглой афишной тумбы, были когда-то такие в Москве — летом в них ночевали беспризорники. Мама и тетя Леля разглядывали афиши и вели какие-то свои, взрослые разговоры, мне неинтересные. Вдруг мать сказала, обращаясь к тете Леле: «Миша Булгаков!» Сказано это было таким радостным, таким особенным тоном, что я невольно спросила: кто это — Миша Булгаков?

«Миша Булгаков — брат тети Лели».

И обе они, мама и тетя Леля, как-то очень тепло и радостно улыбаясь, стали говорить о Мише — Лелином брате.

Я уже умела читать и прочла на афише какого-то спектакля (тогда мне было совсем безразлично, какого именно): «М. Булгаков».

Безусловно, у М. А. Булгакова и его родственников было и есть сейчас великое множество знакомых, друзей, приятелей, могущих рассказать о семье Булгакова много интересного.

Читать, как я уже сказала, умела. Прочла разные сказки — Андерсена, братьев Гримм и т. д., что обычно читают детишки. Но всех этих авторов уже на свете-то не было. И вообще никому ничего не было известно, скажем, о братьях Гримм, чьи они, собственно, братья? А вот о Мише Булгакове все было известно доподлинно — он был брат тети Лели. И жил в Москве. И его имя было на афише. Правда, пьесы, которые он писал, были для взрослых. А колья мама и тетя Леля так этому обрадовались, значит, Миша Булгаков — хороший писатель. Иначе чему бы радоваться?

Так вошло в мое сознание: Булгаков — писатель, радующий людей.

Что было с Лелей Булгаковой дальше — не знаю. Мать моя тяжело заболела и вскоре умерла. Приятельницы ее у нас уже не бывали».

Николай Турбин... Любимый мой Николка — Кудрявцев...

Почему-то мне казалось, что прототипом его должен быть самый младший брат Михаила Афанасьевича — Иван. Один — в Киеве на гитаре, другой — в Париже на балалайке... Потом подумал: а не Николай ли, второй брат Михаила?

Иоанн Сан-Францисский (в миру Шаховской) в предисловии к заграничному изданию «Белой гвардии», так и озаглавленном: «Судьба Николки Турбина», — не сомневается, что Николка — это Николай Булгаков. Ссылается при этом на свидетельство одного священнослужителя, который сидел с Николаем Афанасьевичем в одном лагере во Франции во время немецкой оккупации.

Что же о них известно — о Николае и Иване?

Оба они после гражданской войны оказались в Югославии, затем во Франции. Николай Афанасьевич, получивший высшее образование в Загребе, работал в Париже ассистентом профессора д'Эффеля, всемирно известного ученого, открывшего в себе время бактериофаг. После смерти своего шефа возглавил институт его имени. За труды свои удостоен был серебряной медали. В годы оккупации попал в немецкий концлагерь. Многие заключенные обязаны ему своей жизнью. Вдова М. Булгакова Елена Сергеевна показывала мне трогательный благодарственный адрес, по-детски украшенный виньетками, которые преподнесли Николаю Булгакову бывшие заключенные после освобождения. Среди них и был, кстати, тот самый священнослужитель, о котором упоминал, — Иоанн Сан-Францисский. Летом 1966 года (а не зимой) Николай Афанасьевич умер — простудился, схватил воспаление легких и не перенес его. Похоронен он на русском кладбище в Париже.

Судьба Ивана Булгакова сложилась иначе. Чуткий, чистый, очень ранимый, он бесконечно тосковал по России. Люди, знавшие его, находили в нем что-то от Феди Протасова... Последнее время о нем ничего не было известно. Елена Сергеевна, ездившая в Париж, привезла только маленькую фотокарточку, где он снят в группе хора балалаечников одного из русских ресторанов в Париже. Он стоит вторым слева, молодой, несмотря на свой возраст (1901 года рождения), невысокий, крепко сложенный блондин в шелковой косоворотке, шароварах, сапогах...

Разглядывая эту фотографию, я невольно подумал: а не встречался ли я все-таки с ним в Париже в 1962 году? В той же группе, вторым справа, снят

молодой человек, лицо которого мне показалось знакомым. Не Марк ли это Лутчек из ресторана «У водки», с которым мне так и не удалось вторично встретиться? Я спросил Елену Сергеевну, не знает ли она, кто это такой, и не цыган ли он? Да, цыган, но имени его она не знает...

Вернувшись в Киев, я ринулся на поиски. Написал в Париж своей знакомой, русской по происхождению, и попросил ее, если нетрудно, сходить в тот самый ресторан на бульваре Сен-Мишель и, если там еще работает Марк, разузнать у него что-нибудь об Иване Афанасьевиче, которого, если и не работает с ним вместе, он, наверное, знает.

Вскоре получаю ответ и — о чудо! — оказывается, моя знакомая прекрасно знает Марка и всю его семью. Знает его совсем еще мальчиком. Сейчас он женился на русской и вместе со своим ансамблем гастролирует в Ливане, в Бейруте, в казино «Бейрут». Туда и пишите!

Я написал. Через сколько-то времени — письмо от Марка. Не из Бейрута, а уже из Парижа. Очень милое письмо. Извиняется, что не сразу ответил («с русским у меня неладно, сейчас помогает жена»), и сообщает, что через друзей узнал нынешний адрес Ивана Афанасьевича, который и прилагает. Значит, жив!

Забавная мелочь. Я сравнил фотографию балалаечников, где вторым справа стоит Марк, с присланной мне самим Марком («представляю тебе мою жену Ольгу. Снято в день свадьбы»)... Что за черт! Совсем разные люди! Второй справа — вовсе не Марк! Перепутал!

Но не все ли равно? Важно, что и Марк, а через него и Иван обнаружили. Теперь начинаю новые поиски — уже по поручению Марка. Надо разыскать родственников Ольги, затерявшихся где-то у нас, уже в Советском Союзе.

И вот, в который раз убедился я, как важно писателю записывать адреса. И только для этого — уверяю вас! — только для этого и придумана пресловутая «записная книжка писателя». Только для адресов. А мысли придут потом. А если не придут, то, значит, и не заслуживали быть записанными.

* * *

И вот мы стоим перед этим самым домом № 13 по Андреевскому спуску. Ничем не примечательный двухэтажный дом. С балконом, забором, двориком, «тем самым», с щелью между двумя домами, в которой Николай Турбин прятал свои сокровища. Было и дерево, большое, ветвистое, зачем-то его спилили, кому-то мешало, затемняло. Мемориальной доски нет. Впрочем, на доме, где жили Л. Н. Толстой и К. Г. Паустовский, тоже нет.

Андреевский спуск — лучшая улица Киева. На мой взгляд. Крутая, извилистая, булыжная. И новых домов нет. Один только. А так — одно-двухэтажные. Этот район города, говорят, не будут трогать. Так он и останется со своими заросшими оврагами, садами, буераками, с теряющимися в них деревянными лестницами, с прилепившимися к откосам оврагов домиками, голубятнями, верандами, с вьющимися грамофончиками, именуемыми здесь «кручеными паньчачами», с развешенными простынями и одеялами, с собаками, летухами. Над бывшими лавчонками, превратившимися теперь в нормальные «коммуналки», кое-где из-под облупившейся краски выглядывают еще старые надписи. Это Гончарные, Кожемяцкие, Дегтярные, когда-то район ремесленников...

Это и есть Киев прошлого, увы, минувший альбомом, открытками, маршрутами туристских бюро, — напрасно, ох, как напрасно.

Если спуститься по Андреевскому спуску вниз и свернуть направо, попадешь на единственную, сохранившуюся на Подоле после пожара Покровскую улицу с Покровской церковью и Николой-Добрым, с уютными ампирами особнячками, которых становится все меньше и меньше. А свернешь налево — попадешь во Фроловский монастырь.

Это один из двух киевских женских монастырей. Очень чисто, прибрано, подметено, сияет новой краской. Монахини во всем черном, неприветливые, на тебя не глядящие. В церкви расписано все заново. Херувимы, серафимы, архангелы и очень, очень много румяных, благостных святых. На подмостях двое молодых ребят, измазанных краской, — не из художественного ли института?

Был когда-то в Киеве и мужской монастырь — Киево-Печерская лавра. Еще совсем недавно тебя водили по пещерам словоохотливые монахи, вступающие в дискуссии с молодыми атеистами. В пещерах было темно и жутковато, освещалось все тонюсенькими восковыми свечками, которые ты приобрел у входа в пещеры. В пещерах покоились мощи святых отцов и великомучеников — Нестора Летописца, Ильи Муромца, святого Кукши. Под стеклом маленькие, ссохшиеся ручки.

Сейчас все это залито ярким электрическим светом. Вместо монахов — бойкие, незадерживающиеся экскурсоводы, над местами захоронений — таблички: «Кости молодого человека, приписываемые церковниками якобы св. Вирсановию». В специальном музее у входа в пещеры те же мумии и объяснения, почему они мумифицировались — в этих местах такая, мол, почва. И если и вас здесь захоронят, вы тоже сохранитесь на многие, многие годы.

Печерск — самая высокая часть города, Подол — самая низкая. В сильное половодье его даже заливают. В 1932 году вода дошла до самой Александровской улицы, и нас, студентов, освободили от занятий, чтобы что-то выкачивать. Разъезжая по затопленным улицам на хлюпающих плоскодонках, мы казались себе гондолерами на Канале-Гранде.

Подол — это свой особый мир. Как и все сейчас, он, конечно, нивелировался. О, Одесса уже не та Одесса, говорят старые одесситы. И Подол уже не тот Подол. Не те базары, не та торговля, не тот Днепр... Но все-таки здесь больше тельняшек, крабов, «морских волков». Здесь своя речь, свои повадки, свои обычаи. И, конечно же, именно поэтому здесь жил Куприн. Много бы он здесь уже не узнал, но, наверное бы, пил пиво с Акимом Петровичем Меньшиковым, днепровским капитаном, умершим только в прошлом году на 108-м году жизни.

Да, Днепр уже не тот, нет плотов, снуют «ракеты», «кометы». А были плоты. Еще совсем недавно были. С будками, баграми, развешанным бельем, с лающими собаками, дымящимися над огнем котелками. С них прыгали, под них ныряли. Сейчас их нет. Плотины, шлюзы...

Подол в отличие от Старого города совсем плоский. Но за Житным базаром опять горы. Олеговская, например, или Мирная окупнут вас опять в стихию дворики и садов. Здесь же старое Щекавицкое кладбище, запущенное, заброшенное, заросшее, покосившиеся кресты, тишина, покой и только где-то высоко в небе — жаворонок.

По этим кладбищам, по этим улочкам только и бродить. Весной сирень, море сирени, заборы от нее валяются. Черемуха, жасмин... Не добрался сюда еще город со своими башнями и панельными домами.

Так, садами, садами, огородами по булыжной мостовой попадаем мы с вами на Лукьяновку.

Лукьяновка... Вера Чибиряк... Дело Бейлиса...

Бабий Яр... Черные дни Киева.

* * *

Небольшой холмик цветов. Венки. Большие, маленькие, средние, просто букеты цветов. На венках ленты с надписями: «Отцу, матери, деду — от сыновей, дочери, внуков». «Детям, которым не суждено было стать взрослыми». «От евреев Свердловска». «Жертвам фашистских палачей». «Замученным в Бабьем Яру — от евреев Минска».

Под венками — его сейчас не видно — серый, гранитный камень. На нем написано, что здесь будет сооружен памятник. Вокруг лужайка — трава, елочки, березки, очень чисто, прибрано. За камнем роща, от камня к дороге — дорожка из бетонных плит, несколько ступенек, два столба с прожекторами.

Мимо, по асфальту, проносятся машины, автобусы, троллейбусы. В ста метрах дальше пестрый, прозрачный навес: «Остановка троллейбуса Щербаковский универмаг». По другую сторону строящаяся телевизионная мачта. За асфальтом пустырь, кустарник, вдалеке новые корпуса Сырецкого массива. Если стать спиной к камню, то по правой стороне пустыря можно увидеть нечто вроде уступа, поросшего кустарником постарше. Это верхняя кромка несуществующего сейчас Яра. Здесь стояли пулеметы. И по другую сторону Яра тоже.

Сейчас Яра нет. Он замывает. Его пересекает асфальтированная дорога. Тридцать лет тому назад этой дороги не было. А был глубокий, до пятидесяти метров Яр, овраг. Постепенно мелея и расширяясь, он тянулся до Подола, до Куреневки. Это была окраина Киева — Сырец. Жилья здесь не было. Ближе к городу за кирпичной оградой было еврейское кладбище. Сейчас его тоже нет.

Тридцать лет тому назад, в первую же неделю немецкой оккупации, на стенах киевских домов появились объявления:

«Все жида города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбища) с документами, деньгами, ценными вещами, теплой одеждой, бельем и проч.

Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит их вещи, будет расстрелян».

Ни заглавия, ни подписи на серых афишах не было.

Развешаны они были по всему городу.

Моя мать тоже их читала. У нее было много друзей-евреев. Она ходила по этим друзьям...

Мама их провожала. Лизу Александровну, маленькую, большеглазую еврейку, и ее стариков родителей. Где-то у еврейского кладбища маму и других провожающих, а их было много, прогнали. Здоровенные солдаты с засученными рукавами и полиция в черной форме с серыми обшлагами. Где-то дальше, впереди, слышна была стрельба, но мать тогда ничего не поняла...

Трагедия Бабьего Яра известна. Хочу только подчеркнуть: это было первое столь массовое и в столь сжатый срок сознательное уничтожение людьми себе подобных. Сто тысяч за три дня! Разве что Варфоломеевская ночь может сравниться — там было убито до тридцати тысяч гугенотов. Хиросима и Нагасаки уже потом.

Бабий Яр — это старики, женщины, дети. Это беспомощные. Люди покрепче, помоложе нашли свой удел уже позже — немцам понравился этот Яр.

Потом немцы ушли. Пытались скрыть следы своих преступлений. Но разве скроешь... Заставили военнопленных сжигать трупы. Складывать в штабеля и сжигать. Но всего не сожжешь...

После войны хулиганье копалось на дне оврага, что-то искало.

Потом овраг замыли. Предполагалось построить на нем стадион. Но не построили.

В 1961 году произошла катастрофа. Прорвало дамбы, сдерживавшие намытую часть Бабьего Яра. Миллионы тонн так называемой пульпы устремились на Куреневку. Десятиметровый вал жидкого песка и глины затопил трамвайный парк, снес на своем пути прилепившиеся к откосам оврага домишки, усадьбы. Было много жертв.

Следов разрушения давно уже не видно. Дамбы восстановлены, укреплены, на месте парка — широкая автомобильная дорога, где был трамвайный парк, нынче многоэтажные здания.

Ничто уже не напоминает того, что здесь было. А у гранитного камня всегда цветы. И летом, и зимой. Мы тоже положим свой букетик.

Похороненные в Бабьем Яру безымянны. В Праге есть синагога, где на стенах высечены имена погибших во время оккупации евреев. В Сталинграде, в Пантеоне на мраморных стенах фамилии защитников Мамаява кургана — те, которые удалось восстановить. В Бабьем Яру неизвестно кто убит. Только детям, внукам известны имена отцов, дедов, прадедов. Тем немногим, кому чудом удалось вырваться из этого ада, неведомы были имена тех, кто стонал и хрипел рядом с ними.

Каждый год, 29 сентября, сюда приходят люди. С венками и цветами. Молча, склонив головы, слушают произносимые с трибуны слова... А в двадцать пятую годовщину расстрела трибуны не было. Люди ходили по пустырю, плакали, разбрасывали цветы. И вспомнились в этот день на этом месте слова Луначарского о сущности антисемитизма, написанные им еще до прихода Гитлера к власти, слова о том, что «антисемитизм — это самая выгодная маска, какую только может надеть на себя контрреволюционер».

Луначарский не дожид до Бабьего Яра, но, проезжая через гитлеровскую Германию, он своими глазами увидел, до чего антисемитизм может дойти, когда он берет власть в свои руки.

В тот день люди плакали, рыдали, становились на колени, целовали землю, уносили горсти ее с собой. И, глядя на них, нельзя было не обратиться к ним с несколькими словами утешения и веры в то, что на этом месте будет, не может не быть памятника.

Вскоре был объявлен конкурс. Конкурс на памятник жертвам фашизма. На месте лагеря для военнопленных в Дарнице и здесь, в Бабьем Яру.

Я видел представленные на конкурс проекты.

В условиях к нему было сказано, что монументы должны художественным образом отображать героизм, непреклонную волю, мужество и бесстрашие наших людей перед лицом смерти от рук немецких палачей, должны показать зверское лицо гитлеровских захватчиков, а также должны выражать всенародную скорбь о тысячах незаметных героев.

Принимай я участие в этом конкурсе и прочитай эти условия, я, откровенно говоря, стал бы в тупик. (Я не говорю в данном случае о Дарницком памятнике, я говорю именно о Бабьем Яре.) Почему же?

Да потому, что памятник в Бабьем Яру — это памятник трагедии, трагедии беззащитных и слабых. Памятник в Варшавском гетто — это памятник восстанию, борьбе и гибели, в Дарнице — зверски расстрелянным солдатам, бойцам, людям, попавшим в плен сражаясь, людям в основном молодым, сильным. Бабий же Яр — это трагедия беспомощных, старых.

Не случайно я упомянул слово «трагедия». И подчеркнул его. Вполне сознательно.

Многие из участников конкурса пошли по пути выражения протеста. «Нет! — говорят их памятники. — Это не должно повториться! Это не может

повториться!» Перед нами группы расстреливаемых со сжатыми кулаками и воздетыми к небу руками, матери и прижавшиеся к ним дети, и опять же руки, вытянутые вперед, — не допустим! Перед нами кричащие все то же «нет!» головы. Довольно! Хватит крови!

Но, как ни странно, стоя перед этими памятниками, начинаешь чувствовать какое-то смутение, неловкость. Кажется, что это тебе кричат «нет!», что тебя не подпускают. И ты пятишься назад... Тебе страшно.

Вот и хорошо, что страшно, возразят мне, здесь и дела были страшные. Согласен, страшные, но нельзя все же забывать, что здесь, кроме того, и кладбище, а на кладбище как-то не положено кричать, хочется сосредоточиться, уйти в себя, подумать, вспомнить.

И вообще я не хочу, чтобы мне подсказывали мои эмоции. Они должны возникнуть сами, без принуждения.

Возникают ли они сами по себе, без нажима, эти эмоции, когда рассматриваешь проекты другой группы памятников (она в меньшинстве) — отвлеченных, так сказать, бесфигурных? Пожалуй, да. Здесь уже другой подход. И разнообразия больше. Изображение тут тоже есть, но оно уже в виде рельефа — высокого или чуть намекающего, в каких-то отдельных деталях, элементах скульптуры, сливающейся с архитектурой. В принципе же это стены — прямые или в виде громадных спиралей, строгие и ровные или, наоборот, рваные, распадающиеся, точно рушащиеся от бомбежки, иногда это просто столбы из гранита с намеком на какие-то лица или гигантский факел над обрывом, путь к которому символизирует последний путь людей, идущих на расстрел.

Эта группа проектов значительно интереснее первой — тут больше мысли, фантазии, я сказал бы, даже чувства. И простора для собственных мыслей дается тебе больше, больше свободы. Многие из памятников хотелось бы увидеть в натуре, так небанально, по-своему они решены. И все же...

Я просмотрел около тридцати проектов. Передо мной прошли символы, аллегории, протестующие женщины, вполне реалистичные, полуголые мускулистые мужчины, и фигуры более условные, и вереницы идущих на казнь людей... Я увидел лестницы, стилобаты, мозаику, знамена, колючую проволоку, отпечатки ног... Увидел много талантливого, сделанного сердцем и душой (это, пожалуй, один из интереснейших конкурсов, который я видел), и мне вдруг стало ясно: места наибольших трагедий не требуют слов. Дословная символика бледнее перед самими событиями, аллегория — бессильна.

Мне, пришедшему сюда поклониться праху погибших, не надо рассказывать, как эти люди умирали. Мне все известно. И кричать за меня тоже не надо. Я сам знаю, где и когда надо крикнуть. Я просто хочу прийти и положить цветы на братскую могилу и молча, в одиночестве, постоять над ней.

Я видел много памятников жертвам фашизма. Плохих и хороших. Кричащих и безмолвных. Но ни один не произвел на меня такого впечатления, как памятник в Треблинке. Там только камни. Одни камни. Сотни, тысячи камней. Разной величины и формы. Острые, тупые, оббитые, покосившиеся. Одни камни. Точно проросшие сквозь землю. Мороз проходит по коже...

Мне не хочется ничего ни подсказывать, ни предпринимать, но, возможно, ближе всего к тому, о чем я говорю, что сам для себя пытаюсь решить, приближается проект памятника неизвестных авторов под девизом «Черный треугольник»: две исполнинские призмы, одна чуть-чуть наклонившаяся к другой.

Больше ничего. Я не могу объяснить сейчас в силу чего — а, может быть, это и есть самое главное, — но я, вдруг представив себя у подножия этих возвышающихся над всей местностью призм-долменов, услышал, как они, лишенные дара речи, кричат мне о чем-то страшном и незабываемом.

А может, и не кричат, а говорят шепотом. А может, это я сам кому-то говорю:

Остановись и склони голову.

Здесь расстреляны были люди.

Сто тысяч.

Руками фашистов.

Первый залп был дан 29 сентября 1941 года.

* * *

Пожалуй, лучше всего бродить одному, где бы это ни было. В Киеве, Москве, Париже, Самарканде. Именно тогда-то и рождаются в голове какие-то мысли, которые никак не получают туда доступа в другое время, в другом месте. Что-то вдруг придумывается, рождается, разрешаются конфликты твоих героев, не решавшиеся, когда ты сидел с карандашом в руке. Это — когда ты бродишь один по знакомым тебе уже местам. А незнакомые, впервые увиденные улицы, кроме всего остального, возбуждают еще какие-то параллели, ассоциации, сравнения.

Менее всего интересно гулять по Нью-Йорку. Там я выходил рано утром, когда все еще спали, и бродил по улицам вокруг гостиницы. Было скучно. Улицы прямые, пустынные, какие-то глухие стены. Хороши только верхние этажи небоскребов, Эмпайр-стейт-билдинг — он первый освещается восходящим солнцем. Пытался я выходить к Гудзону, но всегда напирался на какие-то бесконечные заборы с громадными буквами и тощих, пугливых кошек. В Централ-парке тоже скучно, а на Вашингтон-сквер, где собирается молодежь, хотя и не скучно, но это уже не прогулка, а нечто другое, и кончается она обязательно кафе или рестораном.

Один только раз мне удалось хорошо побродить. Я шел ночью по пустому Бродвею. Рекламы горели, но людей не было. Даже ни одного пьяного я не встретил, что, правда, в Нью-Йорке явление редкое. Иногда пронеслись машины, безмолвные, темные.

Дойдя до нашего сколько-то там этажного «Говернор-Клинтон-отеля», я поднялся в лифте почему-то на самый верх и каким-то чудом оказался на крыше отеля. Какая-то дверь, лестница и вдруг — крыша. Никто меня не задерживал.

Нью-Йорк крепко спал. Или делал вид, что спит. Светились окна только в небоскребе редакции «Нью-Йоркер» неподалеку от нас, светились ущелья улиц и красные фонари на Эмпайр-стейт-билдинг. И факел на статуе Свободы — маленькая мигающая точка. Было зябко — конец ноября.

И вдруг я увидел нечто необыкновенное. Гнездо аиста. Самое настоящее гнездо аиста у высокого, затянутого решеткой парадета. Сначала я даже не поверил. Я был уверен, что аисты — это наша украинско-среднеазиатская прерогатива. Ну, может быть, еще в Африке, Индии, Японии они водятся. Но там скорее цапли. А тут настоящее «лелекино» гнездо, как на соломенной «стрихе» полтавской хаты... Большое, метра полтора, из веток, все честь честью. И в нем яйцо. Одно-единственное яйцо — большое, белое, такое одинокое. Бывает же такое... Я положил его в карман.

Я вспомнил это гнездо потом, в Бухаре, сидя у прозрачного, как в Тадж-Махале, бассейна Лабихауз, в котором отражалась древняя мечеть и совсем

такое же гнездо на верхушке столетнего тополя. Аистиха сидела на яйцах, а может, уже и птенцы вылупились, и изредка поглядывала на нас, сидящих внизу за обязательным пловом с зеленым чаем. И я подумал: хорошо тебе, бухарская аистиха, взмахнула крыльями и полетела за кормом для своих детенышей. А нью-йоркской? Куда та летала за обедом? В Централ-парк?

В Бухаре этих гнезд несметное количество. На всех без исключения минаретах. И на куполах мечетей. И на тополях. Их не меньше, чем телевизионных антенн, ошестивших собой весь этот бело-глиняный, сказочный, точно из сказок Шехерезады город.

Я много бродил по Бухаре. Тесные, кривые улочки как будто похожи одна на другую, но в каждой из них свои особые старухи, старики, чумакая ребятишки. И вдруг улица эта упирается во двор вросшей в землю тысячелетней мечети. И под сенью чинары сидят бородатые старики в чалмах и что-то едят или чем-то торгуют. А рядом чего-то ищет в расселинах меж древних плит меланхоличный ишачок. «Салям», — говорю я старикам, и те тоже говорят «салям». Я подсаживаюсь к ним, и они угощают меня дыней, полутораметровой бухарской дыней. И мы молча сидим в тени чинары под бирюзовым азиатским небом, и я разглядываю красивый орнамент арабской вязи на зеленых изразцах входа в мечеть и спрашиваю стариков, что там написано. Они не понимают меня — я их, но слово «аллах» я все-таки улавливаю.

Мне жаль, что только старики еще могут разобрать эти надписи. Они так красивы. Мне жаль, что нынешняя молодежь редко читает Коран. Коран — это не только скрижаль ислама, это — великое искусство, это — история народа.

Не мне судить, нужно ли было менять шрифт в республиках Средней Азии (в Грузии и Армении он сохранился), но то, что арабский шрифт — шрифт, которым писали Улугбек и Навои, из которого сотканы неправдоподобно прекрасные узоры мавзолеев Шах-и-Зинда в Самарканде, Гур-Эмира, Биби-ханым, Регистана, что эта вязь сама по себе произведение искусства, и высокого искусства, — это ясно, по моему, каждому. Для меня узбекская книга без древней вязи — все равно, что Крым без кипарисов, которые лет двадцать тому назад безжалостно вырубili.

Неизвестно для чего я поведаль все это старикам. Они ни слова не поняли, но кивали головами — хоп, хоп, хоп...

Но вернемся в Нью-Йорк, на мою крышу. Подняв воротник — ветер был пронизывающий, — я любовался уснувшим городом. Старался найти самый высокий до 1930 года небоскреб Нью-Йорка — Вулворт, так и не нашел его и, окончательно замерзнув, оказался вдруг в Пенсильванском вокзале. Почему я оказался там — не совсем ясно, но, вероятнее всего, по той же причине, по которой русский человек оказывается на вокзале ночью, хотя ему некуда ехать и некого встречать. К тому же вокзал этот, Пэна-Стейшн, как его называют нью-йоркцы, находится совсем рядом с нашей гостиницей.

Громадный, с уходящими ввысь сводами, уснащенный весь, как это было модно в конце прошлого века, колоннами, он был совершенно пуст. Ни души. Ни носильщика, ни полицейского, не говоря уж о пассажирах. Я послонялся по безлюдным, гулким залам, наткнулся на телеграф, послал кому-то телеграмму — просто так, чтоб получили телеграмму из Нью-Йорка, и к концу своей прогулки обнаружил то, что, очевидно, и искал. Шоколадного цвета сонный молодой человек налил мне чего-то очень крепкого и дал мне ломтик белоснежного хлеба с куском мяса, непонятного мне происхождения. Устроившись на высоком табурете, я погрузился в размышления. Жуя

неизвестные мне кушанья, я удивился тому, как Хемингуэй запоминал на долгие годы все то, что он пил и ел в парижских ресторанах «Куполь» или «Липп», «Лила», «Де маго», «Ротонда», «Тулузский негр», «Мишо». Там-то они взяли бутылку «флери» или «сансерра» и закусывали «кассонэ» — рагу из дичи с бобами и горошком, а там пили «марсала» или «бона» и ели плоские дорогие устрицы «маренн» вместо обычных дешевых «портюгэз», или вермут «шам-бери касси» с толстыми сосисками «сервелас», политыми горчичным соусом. И все-то он запоминал. Очевидно, он все же был чревоугодником, наш кумир Хемингуэй. А чревоугодие, увы, грех номер один. В Киеве у входа в Ближние Лаврские пещеры на стене громадное изображение нелегкого пути в рай человеческой души. Она, душа, проходит через цепкие лапы великого множества грехов, изображенных в виде омерзительных чертей, и вот на первом месте самый тяжкий грех — чревоугодие, оставляющий далеко позади ложь, пьянство, корыстолюбие, жадность, тщеславие и даже прелюбодеяние. Какие еще были грехи у Хемингуэя, мне неизвестно, человек он был замечательный, но то, что он любил не только выпить, но и плотно, со знанием дела, поесть, — это для меня теперь стало ясно.

Пока я посасывал свой напиток, размышляя о хемингуэевских меню, я не обратил внимания на то, что рядом со мной оказался немолодой уже человек в сером поношенном пальто и с очень грустным лицом. Он взял пиво у сонного негра и вдруг заговорил со мной по-украински. Я остолбенел!

— Просто я побавив торчашу в вас з кармана газету «Українські щоденні вісті», от і все.

Он был слегка на взводе и заговорил о спорте, точно продолжая со мной какой-то спор, который мы не успели с ним когда-то кончить. Я в этой области не очень силен, поэтому ограничивался междометиями, а он доказывал мне превосходство каких-то Биллей и Динов над Джеймсами и Тэдди. Роясь в кармане пальто в поисках спичек, я наткнулся на аистиное яйцо и вместе с содержимым кармана положил его на стойку.

— О, лелека! — обрадовался вдруг мой сосед, — аїстине яйце... Відкіля воно у вас?

Я сказал, что нашел его на крыше небоскреба.

— Диви, куди його занесло. Лелека та й на хмарочосі...

Мне приятно было услышать это чисто украинское название аиста — лелека, по этому случаю мы взяли еще что-то и выпили за здоровье лелеки и будущего ее птенца, который обязательно, по мнению моего соседа, должен вылупиться.

— Ви завиніть його в щось тепле, і ось побачите в Москві у вас запищить щось в чемодані. Йй бо...

И он стал говорить об аистах. Оказывается, хотя аисты и редкость в Западном полушарии, но он хорошо помнит, что, когда он был маленьким, у них на ферме где-то в Массачусетсе аисты свили гнездо на крыше их дома и стали совсем ручными, он их прямо из рук кормил. Потом они куда-то улетели и больше не появлялись. Потомства после себя, к сожалению, не оставили.

Потом мы вернулись опять к спорту. Я попытался с этой темы перейти на какую-нибудь другую, на его прошлое, профессию, политику, но моей инициативы он не поддержал, и продолжал обсуждать спортивные дела и возможности своих Биллей и Тэдди. Когда стало светать и вокзал начал заполняться первыми пассажирами, мы расстались.

Яйцо я привез домой. Когда я раскрыл чемодан, в нем, увы, ничего не запищало.

Эта неожиданная встреча с стойкой бара с земляком (мне все-таки удалось выудить у него, что роди-

тели его родом с Черниговщины, сам же он родился уже в Америке) и разбившее спортивные рассуждения моего собеседника аистиное яйцо как-то очень меня тогда растрогало, и теперь, глядя на наших украинских аистов, важно стоящих в своих гнездах на соломенных или теперь чаще железных крышах где-нибудь на Черкашине и Полтавщине, я всегда с теплотой вспоминаю «свое» нью-йоркское гнездо.

* * *

Пэна-Стейшн невольно натолкнул меня сейчас на одну из излюбленных моих тем — вокзальную. Я с детства неравнодушен ко всему железнодорожному — паровозам, стрелкам, ночным зеленым глазам семафоров, фонарям в руках проводников и, конечно же, к вокзалам с их особым запахом, гулом и предотъездной, куда-то зовущей суетой. Идеалом был Брянский (ныне Киевский) вокзал в Москве — крытые стеклом платформы придавали ему особый, заграничный вид, ни дать ни взять — парижский вокзал Сен-Лазар, который я знал, правда, только по картине Клода Моне.

Долгое время наш Киевский вокзал был кровотокающей для нас раной, несмываемым позором. Такой город, а вокзал — барак. Длинный, одноэтажный, деревянный барак. А перед ним площадь — грязная, булыжная, с извозчиками и мальчишками: «Кому воды холодной!» Сейчас стоит новый вокзал, о котором и будет рассказ. Но прежде, чем начать его, я убедительно прошу всех впервые приезжающих в Киев (не прилетающих, а именно приезжающих) не заходить внутрь вокзала, а, пройдя по перрону, выйти прямо к метро или по подземному переходу к троллейбусу. Так будет лучше.

Вокзал — это ворота города. В Киеве их надо миновать. А возвращаясь к себе домой, постараться через вестибюль пройти, как это ни трудно, с закрытыми глазами. Так тоже будет лучше.

Итак, в 1929 году начали строить новый вокзал. Это было событием. Объявили конкурс. Участниками его были известные московские и ленинградские архитекторы, но первую премию получил киевлянин — Александр Матвеевич Вербицкий, добропорядочный последователь дореволюционного модерна, маститый киевский архитектор, с которым впоследствии столкнулась и моя судьба.

Условия конкурса были довольно необычны. Фасад здания должен быть выдержан в духе выходившего тогда на арену конструктивизма, но с учетом элементов украинского барокко. Сочетание, мягко выражаясь, довольно нелепое.

Вербицкий из этого тупика как-то выбрался. Отдал дань барокко в центральной части вокзала, обравив громадное параболическое окно вестибюля так называемым кокошником. Украинского в нем было немного, но что-то от митрополичьих покоев Софийского собора все-таки чувствовалось. Другой киевский архитектор, Дьяченко, в этой части пошел еще дальше, совсем приблизился к XVIII веку, поре расцвета украинского, так называемого мазепинского барокко. Братья же Веснины, напротив, сделали упор на современность, конструктивизм — бетон, стекло. Вербицкий нашел середину — и бетон, и стекло, и вот, пожалуй, кокошник.

Мне проект вокзала очень нравился. Впрочем, скажу по секрету, нравились мне тогда все проекты — и Весниных, самый конструктивистский, и Алешина за какие-то там отдельные понравившиеся мне детали, и всеми уважаемого Шуко за величественность... Но поскольку строить предполагали по проекту Вербицкого, я влюбился именно в него.

И вот о счастье: окончив профшколу, я стажером пошел на строительство этого самого вокзала. Два года корпел в техотделе над синьками арматуры, а потом мастерил «восьмерки» и «кубики» из литого бетона, которые, «схватываясь», на двадцать восьмые сутки разрывались и раздавливались в бетонной лаборатории Политехнического института. Все это мне казалось знаменательным и важным — я строил вокзал, красу и гордость нового Киева.

Вокзал был весь в лесах — и снаружи и внутри, — и я бегал по ним, как матрос по реям, и любовался с 45-метровой высоты вестибюля (того самого кокошника) расстилавшимся внизу городом — куполами Владимирского собора, далекой Софией и маленьким памятником Ленину у самого вокзала, на виадуке над товарными путями — скромный бюст, обсаженный вокруг трогательными незабудками.

Потом леса сняли, и вокзал предстал в своей бетонной наготе — в гигантских параболических, освобожденных от опалубки арках было что-то торжественное, от древних соборов, величественное. И в то же время все было просто и целесообразно. Вестибюль, широкая лестница, направо и налево залы ожидания, высокие, светлые, безо всяких украшений — XX век...

Я был счастлив и горд. Снял своего любимца со всех возможных точек и фотографии отправил в журнал «Глобус». Их напечатали. Гордость и счастье дошли до предела.

Так простоял вокзал до войны, до прихода немцев. Уходя, они попытались его взорвать, но «мой» бетон был крепок и толу не поддавался — только стекла повывлетали и кое-где закопτιлась белоснежная штукатурка.

Но главная трагедия ожидала вокзал впереди. Его восстановили. Но как? Кому-то показалось, что торжество победы неотъемлемо связано с пышностью форм. Побольше колонн, карнизов, капителей, завитков, лепных украшений. Это называлось «обогащением». И обогатили...

Нет, приезжий, очень прошу тебя — не заходи внутрь вокзала. Все, что есть безвкусного, лишнего какой-либо архитектурной логики, собрано там воедино. Арки уничтожены, заменены спаренными колоннами, параболические окна по мере возможности заделаны и «украшены» по бокам нелепыми пилястрами, потолок усеян какими-то звездочками, в залах ожидания между ригелями бетонных рам производственно-идиллические пейзажи, вместо святищихся плафонов — тяжелые метростроевские люстры. От замысла архитектора не осталось ничего. Его уничтожили с непонятной варварской жестокостью. Смотрел ли автор этой расправы — имени его не будем называть — в глаза Вербицкому, когда расправлялся с его творением? Ведь он был, кажется, его учеником.

Я, кстати, тоже был. Делал под его руководством проект опять-таки вокзала (он был почему-то полукруглый, более чем неудобный для эксплуатации), а затем какой-то ресторан на берегу Днепра. Дружбы у нас не получилось. Алексей Матвеевич внимательно, молча, сквозь пенсне рассматривал мои архитектурные упражнения, качал головой и выше «тройки» оценки мне не ставил.

Потом уже, после войны, пытаюсь попасть в аспирантуру своего же Строительного института, я опять попал к нему, и он тихо и спокойно, такой же, как и до войны, седой, длиннотщичий, в пенсне, срезал меня на «кляузуре» — блиц-проекте, который нужно сделать, не выходя из аудитории, за какие-нибудь три-четыре часа. «Воевали вы, может быть, и не плохо, не мне судить, но до аспирантуры надо все-таки малость

восстановить забытое. Поработайте годик-другой в проектно бюро, а потом милости просим».

Я обиделся и устроился в газету.

* * *

И все же город, по которому интереснее, веселее, легче и в то же время утомительнее всего бродить, — это Париж. Это хорошо знали Хемингуэй и Маяковский (впрочем, и многие другие). Первый не зря отождествлял его с «праздником, который всегда с тобой», а второй хотел «жить и умереть в Париже», хотя и предпочитал ему Москву.

Перечитайте хемингуэевскую «Фиесту» или хотя бы тот же «Праздник, который всегда с тобой», и вы увидите, с каким наслаждением он просто перечисляет, улицы, по которым ходит. «Я прошел мимо лица Генриха Четвертого, мимо старинной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, пересек открытую всем ветрам площадь Пантеона, ища укрытия, свернул направо, вышел на подветренную сторону бульвара Сен-Мишель и, пройдя мимо Клюни и бульвара Сен-Мишель, добрался до известного мне славного кафе на площади Сен-Мишель». («Праздник...») или: «...вышел и, повернув направо, пересек улицу Ренн, чтоб избежать искушения выпить кофе у «Де маго», дошел по улице Бонапарта до улицы Гименэ, потом до улицы Ассас и зашагал дальше по Нотр-Дам-де-Шан к кафе «Клозери де Ли́ла» (там же). Или: «Мы свернули с площади Контрэскарп и пошли узкими переулками, между высокими старинными домами. Мы вышли на улицу дю-По-де-Фер и шли по ней до улицы Сен-Жак и потом пошли к югу, мимо Валь де Грасс и вдоль железной ограды кладбища. Вернулись на бульвар дю Пор-Рояль... Мы пошли по бульвару дю Пор-Рояль, пока он не перешел в бульвар Монпарнас, и дальше, мимо «Клозери де Ли́ла», ресторана «Лавинь», «Дамуа» и всех маленьких кафе, пересекли улицу против Ротонды, и мимо его огней и столиков — в кафе «Селект». («Фиеста»). Ну и так далее.

И мне, когда я читаю, тоже приятно, и кажется, что я тоже иду по улице Бонапарта, минуя Сен-Жермен-де-Прэ и, свернув налево по улице Жанэт, захожу к Мишо. Хэм уже там поджидает Фицджеральда Скотта. Я подсаживаюсь к нему.

— Что будем пить?

— Я взял фин-а-л'о, — говорит он. — Здесь всегда приличный коньяк. Заказать вам?

— Спасибо.

Он подзывает Жана, с которым в приятельских отношениях, и, кроме выпивки, просит принести еще две порции турндо.

— Это говьяжье филе, — поясняет он, — завернутое наподобие рулета. Тут его превосходно делают.

Потом мы едим турндо, действительно отличное, и говорим о Джойсе, который тут тоже часто бывает, и слабостях Фицджеральда Скотта, который вот-вот должен прийти.

Вот так-то. В кафе Мишо, на углу улицы Святых Отцов и Жакоб. Маленькое уютное кафе, где в 1925 году бывали Джойс, и Хэм, и Фицджеральд Скотт, и многие, многие другие.

И в «Ли́пп» я тоже бывал, это на бульваре Сен-Жермен, напротив «Кафе де Флор». Туда тоже заходил в свое время Хэм и пил там кагор, разбавленный водой. А я зашел с двумя журналистами из «Радио Люксембург», а потом перешел через улицу в «Кафе де Флор» и встретил там Вильяма Клейна, знаменитого фотографа, впоследствии и кинорежиссера, и мы пили с ним холодное пиво «биер алызасьен» и закусывали креветками. Потом он повел меня в свою мастерскую и показывал свои новые работы —

он увлекался сейчас живописью, состоявшей из одних переплетающихся между собой букв.

— L'art d'horreur, — пояснил он, — искусство ужасов. Из букв составляются слова, а я их уже не воспринимаю. Особенно когда вижу. Я уже давно не читаю газет и не слушаю радио. Как могут работать корректоры и дикторы? Как их не рвет...

Мы возвращаемся в «Липп» и застаем там, кроме двух журналистов из «Радио Люксембург», еще корреспондента газеты «Последние новости».

Корреспондент показывает последний номер газеты и говорит мне: «Тут и про вас кое-что есть». Это, оказывается, репортаж о моем выступлении в Музее Гимэ, в клубе «Жар-Птица», где я говорил о выставке в Манеже (это было в 1962 году), о том, какие там идут дискуссии и споры и как молодежь сцепляется с догматиками.

— А мы во Франции, — сказал, улыбаясь, Вильям Клейн, — любим все из ряда вон выходящее и больше всего боимся набившего оскомину. Пикассо спасает только его возраст, а то его давно считали бы банальным, повторяющим собственные зады.

Так зашел разговор о традиции и новаторстве, как окрестили бы его в какой-нибудь из наших газет, разговор, продолжившийся в «Де маго» и так и не закончившийся где-то уже в районе Пантеона.

В Киеве, когда мы собираемся идти куда-то гулять, мы старательно обходим Крещатик: там слишком много знакомых. В Париже, если ты даже не Хемингуэй и не пишешь статей в «Франс-суар», но если ты прожил там хотя бы две недели, рассчитывать на одиночество в квадрате «Сена-Рю де Рен — Люксембург — Рю Сен Жак» вряд ли возможно. Там всегда кого-нибудь встретишь и осядешь в каком-нибудь кафе после обязательного предложения: «А не выпить ли нам по стаканчику?..».

Относительное одиночество и спокойствие можно обрести на острове Сен-Луи, прилепившемся к нижней оконечности Ситэ. Там всего две набережные, одна продольная улица, восемь поперечных и симпатичная старая церковь Сен-Луи-он-Лиль. Дома там все старые, все там тесно и уютно, а кафе такие же, как и все в остальном Париже, только народу поменьше. Оттуда недалеко до площади Бастилии и маленькой очаровательной площади Вогезов — пляс де Вож. Квадратная, застроенная трехэтажными старинными домами с крутыми черепичными крышами, она чем-то напоминает львовскую площадь «Рынок», но вместо ратуши — горсовета, там посредине уютный сквер, где можно даже посидеть и, никого не боясь, почитать даже книжку.

Генрих IV сказал: «Париж стоит обедни», а кто-то перефразировал: «Если бы не было Парижа, его надо было бы придумать». Орловский помещик Тургенев до последних дней жизни не мог с ним расстаться, а Паустовский, когда мы были с ним в Париже, сказал: «Вы знаете, у меня здесь даже астма проходит», — а парижский воздух, увы, далеко не коктейльский.

Спор о традиции и новаторстве, начавшийся в кафе «Липп» и так и не закончившийся у Пантеона, мог произойти где угодно, но в Париже он принял свою окраску. Все свелось в конце концов к нему самому.

— Париж — лучший город в мире, потому что он терпит все, кроме безвкусицы, — сказал кто-то из нас.

— И Марк Шагал может расписать плафон Гранд-Опера, не боясь, что его четвертуют...

— А муравьед Сальватора Дали привлекает внимание парижан больше, чем его хозяин...

— И вообще Париж что Ноев ковчег, в нем мирно уживаются в газетном киоске «Огонек» и «Париж-матч», а за одним столиком наша компания, которая мирно сосет коктейли, — сказал я.

— Именно поэтому мы и взяли коктейль как символ некоего смешения вкусов и взглядов, — сказал один из люксембуржцев.

— Но в нем нет водки, — сказал я, — это ущемляет мое национальное достоинство.

— Сейчас исправим ошибку. Гарсон, добавьте в этот стакан немного «Столичной». Или, может, «кальвадоса»? Это французский самогон.

Вместо «Столичной», извинившись, принесли «Московской», и мы, стоя, опустошили свои стаканы за самый небанальный в мире город, в котором можно гулять по улицам с муравьедом на цепочке и даже рисовать карикатуры на самого «месье ле женераль».

На этом наша веселая беседа кончилась, и, расплатившись и условившись завтра в три встретиться в «Куполь» — там я еще не был, — мы разошлись по домам. Мой путь был по Сюффло, до бульвара Сен-Мишель, дальше по Сен-Жермен до улицы Святых Отцов и далее, минуя Мишо, по мосту Карусель, через две арки Лувра к своему Гранд-Отель-дю-Лувр. На мосту я еще немного постоял, глядя в черную воду Сены и думая о том, как бы завтра уединиться и не ходить в «Куполь». Выход был один: запереться в номере и всем говорить, что я работаю. Из этого ничего не вышло: в три часа мне позвонили и сказали, что меня ждут лучшие в мире улитки, бутылка бургундского 1873 года разлива и знакомство с Кордобе-сом, самым знаменитым в мире матадором. Это меня dokonало.

* * *

Прогулка была парная — я и мать.

Больше всего в жизни она любила гулять. В ту зиму было холодно, поэтому мы сначала долго одевались. Процедура была сложная — одна кофта, на нее другая, затем теплый шарф, вызывавший всегда сопротивление: «шерстит», — затем демисезонное пальто, — мы приехали осенью и в Москве нас застигла зима, — на ноги валенки, на руки теплые заячьи рукавицы. На носу пенсне — самое сложное, так как оно сразу же на морозе запотевало.

В последние годы мама в пенсне уже не нуждалась — так называемая компенсация зрения, — но она к нему привыкла и не хотела расставаться даже во время воздушных тревог, когда ей, врачу вокзального медпункта, надо было надевать противогазовую маску. Вместо пенсне приходилось пользоваться лорнетом — сочетание для тех лет довольно забавное.

Итак, мы одеты. Выходим. Куда же направить свои стопы? Все зависит от ветра. Сегодня он дует в эту сторону, поэтому мы идем в ту — к мосту.

Когда-то это был Большой Новинский переулок — узенькая улица, идущая от Новинского бульвара к Москве-реке. Сейчас это широкий проспект Калинин. Последнее здание переулка разрушалось на моих глазах — двухэтажный домик, в котором находилось какое-то проектное бюро. Домик гиб на глазах под ударами тяжелого чугунного шара, обливаясь кровью. Кровь — это красный кирпич, из которого он был построен. Домик стонал, обливался кровью и, мучительно сопротивляясь, умирал. Сейчас на его месте скверик, а чуть правее подземный переход. В скверике растут тоненькие деревца и почему-то нет цветов.

Теперь снесли еще несколько домов в сторону реки. Когда мы гуляли, они были еще целы. Говорят, должны были построить новое высотное здание для сотрудников СЭВ, но грунт оказался неподходящим, и сейчас как будто запланирован бассейн — та же история, что со Дворцом Советов.

Крепко поддерживая друг друга, чтоб не скользить, мы минуем эти домики и подходим к забору с афиша-

ми. Здесь мы задерживаемся. Мать знакомится с репертуаром театров.

— Пойдем в Художественный, я давно там не была.

— Не на что, мамочка, идти.

— Как не на что? Вот «Дни Турбиных», ты разве не любишь их?

— Люблю. Потому и не хожу.

— Ты консерватор и старик! Ты не любишь молодежь.

— Нет, я люблю молодежь, но Яншин уже не молод.

Мать вздыхает.

— Странное дело, ты всегда любил театр, а теперь калачом не заманишь.

— Я дитя века, к тому же ленив и предпочитаю диван и в крайнем случае телевизор.

— Терпеть не могу твой телевизор. Не вздумай только его покупать. Хочу ходить в театр.

Я оттягиваю маму от афиши — рядом афиша «Современника», а там много знакомых.

Мы идем дальше. Направо строится небоскреб СЭВ.

— Не понимаю, зачем столько этажей, — говорит мать. — Ты можешь сосчитать сколько?

Пытаюсь сосчитать, но сбиваюсь.

— По-моему, двадцать пять, — говорю.

— Если нам тут дадут квартиру, возьмем двадцать пятый, хорошо?

— Квартиры нам тут не дадут, — успокаиваю я, — и вообще я предпочитаю особняки.

Мать со мной соглашается, и мы останавливаемся на особняке, в котором жил когда-то Шалапин, за американским посольством. Этот особняк нам обоим нравится.

— Я помню этот особняк, когда еще была маленькой. Перед ним был палисадничек. Жили мы тогда на Садово-Кудринской, у Капканщиковых.

Тот особняк я тоже знаю — налево от него когда-то жил Чехов.

Полюбовавшись домом СЭВ и так и не сосчитав, сколько в нем этажей, мы возвращаемся назад.

По ту сторону Садовой — Новый Арбат. Он нам противопоказан. На том месте, где сейчас ресторан, был дом, где жила наша приятельница. Его теперь нет, и мы не желаем туда ходить. Вообще нам обидно за весь тот район. Мы с мамой любили старую Москву и оплакиваем Собачью площадку. Там был когда-то любимый нами «Дом сороковых годов», а сейчас на его месте какое-то министерство, задавившее собой все окрест, и поленовский «Московский дворик» в том числе. Наличие рядом пивного бара «Жигули» не спасает положения.

Итак, мы не переходим Садовую, а идем либо налево, к площади Восстания, либо направо — к Смоленскому рынку.

Смоленский рынок... От рынка, каким я его еще помню, с рундуками и «бывшими» дамами, торгующими бюстгалтерами на меху, сохранилось только название и два дома — Арбат, 54, с «Гастрономом» внизу, известным на всю Москву, так как он, подобно Елисееву, торгует до 11 вечера, и другой, напротив него, с обувным магазином на углу.

Композиционный центр всего этого района — дом Министерства иностранных дел. Он строился на моих глазах (я жил тогда на Сивцевом Вражке) в конце сороковых годов. Пока он был еще металлическим каркасом, в нем было что-то привлекательное. Потом он оброс камнем, обогатился (распространенный в те годы архитектурный термин) башенками и обелисками, и симпатии мои к нему поуменились. Теперь я к нему привык.

Вряд ли кто сейчас помнит, что на архитектурном

проекте здания не было остроконечного, в виде шпилья завершения. Таким, без шпиля, изображен он был и на серии почтовых марок, посвященных московским высотным зданиям. Потом было сказано, что здание выглядит обрубленным, и срочно был достроен шпиль, а к нему соответствующее архитектурное дополнение в виде подставки. Что внутри этой подставки, неведомо. В свое время москвичи, пытавшиеся логически обосновать надстройку, утверждали, что туда вмонтирована, мол, радарная установка. И все становилось на свое место, само высотное здание в том числе.

Много говорили в те дни (не скажу, спорили, спорить в те годы на эту тему не полагалось) об уместности этих зданий. Сторонники их утверждали, что городу нужны вертикали, архитектурные акценты, что ими были когда-то московские «сорок сороков», сейчас же нужно что-то другое. Противники их, соглашаясь с акцентами, считали, что акценты эти могли быть и пониже. Так или иначе, здания были построены и, что там ни говори, создали нынешний силуэт Москвы. А я добавлю: стали памятниками архитектуры первой половины XX века и имеют законное право на доски «Охраняются государством».

Сегодня высотные здания приобрели другой облик. Здание СЭВ, в котором я никак не могу сосчитать этажи, не похоже на соседствующий с ним высотный дом на площади Восстания (кстати, и тот, и другой построены архитектором Посохинным — любопытная трансформация), и на нем в свое время появилась доска с надписью «Памятник архитектуры второй половины XX века». А вот для одного из памятников первой половины XX века, двадцатых еще годов, «свое время» давно настало, а доски на нем нет. И, глядя на него, не скажешь, что оно охраняется государством. Речь идет о так называемом «Доме наркомфина», или «доме на Новинском» выдающегося советского архитектора М. Я. Гинзбурга. Скажем прямо, что это облупившееся, всеми забытое (и домууправлением, и Моссоветом, кстати) здание — один из наиболее ярких примеров архитектуры тех лет, искавшей свои, новые, присущие тому времени формы.

Дом этот не только запущен, его просто трудно обнаружить. За сорок с лишним лет, прошедших со дня его постройки (а он расположен в глубине участка), деревья перед ним так разрослись, что дома просто не видно. Так, белеет что-то за стволами, а что — бог его знает. Многие жители этого района даже и не подозревают, что рядом с ними «памятник», в котором впервые были применены архитектурные принципы Корбюзье — плоская крыша, ленточные окна, отсутствие первого этажа, замененного столбами.

Таких домов, подобных дому Гинзбурга (точнее, М. Гинзбурга и И. Милиниса), в Москве еще много*.

Имена в скобках (см. сноску) — это имена тех, кто стоял у истоков советской архитектуры. И нету там только имени одного человека, «творчество которого не только вошло в золотой фонд советской архитектуры, в ее историю, но и сейчас участвует как боевое

* Это дом Госторга на улице Кирова (архитектор Б. Великовский, 1926), Госбанк на Неглинной (И. Жолтковский, 1926—1927; очень любопытное исключение в архитектуре тех лет); клуб Коммунальников на Лесной ул. (архитектор И. Голосов, 1927); клуб завода «Каучук» и клуб на Стромынке (архитектор К. Мельников, 1927); Планетарий (архитекторы М. Барщ и М. Синявский, 1929); комбинат «Правды» (архитектор П. Голосов); новый корпус Моссовета (архитектор И. Фомин, 1930, тоже исключение из общих правил); Центральный телеграф (архитектор И. Рерберг... до какой-то степени тоже исключение); здание «Известий» (архитектор Г. Бархин, 1932); Дом Центросоюза, ныне Статуправления (архитектор Л. Корбюзье, 1928—1932); дом на углу Орликова пер. (П. Шусев, 1932); Дворец культуры Пролетарского района, ныне завода имени Лихачева (бр. Веснины, 1932).

оружие в сражении против серости архитектурной мысли, являясь критерием качества архитектуры, неисчерпаемым источником для творчества. Имя его должно быть поставлено в ряду основоположников современной архитектуры».

Приведенные выше строки взяты из статьи кандидата архитектуры П. Александрова, напечатанной в журнале «Архитектура СССР» № 1 за 1968 год, под названием «Архитектор-новатор».

С фотографии на нас смотрит молодой, лысоватый человек с сигаретой в мундштуке в зубах, с прищуренным одним глазом, в темной расстегнутой рубашке, тренировочных штанах, в накинута на одно плечо пиджаке. Пристально смотрит на вас, приподняв одну бровь.

В 1927 году человек этот блестяще окончил архитектурный факультет ВХУТЕМАСа, где учился у братьев Весниных, награжден был заграничной командировкой и оставлен в аспирантуре. Дипломный проект его на первой выставке советской архитектуры в 1927 году занял центральное место и широко был опубликован во всей зарубежной прессе. Думаю, ни Нимейер, построивший город Бразилиа, ни авторы трилона и сферы на нью-йоркской выставке в 1939 году не будут отрицать влияния этого человека на их творчество. Конкурсный проект Дома Центросоюза того же архитектора получил очень высокую оценку участвовавшего в этом конкурсе Ле Корбюзье, и, возможно, в какой-то степени повлиял на окончательный вариант самого Ле Корбюзье (он отказался от ленточных окон).

В те годы я был студентом. Имя этого архитектора, как и Гинзбурга, Весниных, Мельникова, не сходило с наших уст. Проекты его были во всех журналах. Мы пытались ему подражать как только могли, копировали его графику — громадные черные листы с тонкими белыми линиями и цветовыми пятнами.

Кто же этот человек, имени которого нет в списках, нет ни в одной энциклопедии и о котором девять лет спустя после его смерти говорится как об основоположнике советской архитектуры?

Имя этого человека Леонидов. Иван Ильич Леонидов. Умер он в 1959 году, так и не построив в своей жизни ни одного здания...

Новатор в самом высоком и чистом смысле этого слова, он не смог перенести 1930 года, когда во всех газетах замелькало слово «леонидовщина». Как творца его убил конкурс на Дворец Советов, решения которого отбросили нашу архитектуру на десятки лет назад.

Лебединая его песня — конкурсный проект Дома Наркомтяжпрома — самобытный, яркий, ни на что не похожий (и, конечно, технически не осуществимый в 1933 году) — остался только на бумаге.

И в истории, добавим мы.

Да, в те годы трудно было осуществить предполагаемое Леонидовым. Его дипломный проект — Институт библиотекосведения имени Ленина на Воробьевых горах, и последний — Наркомтяжпрома на Красной площади, блестящие по мысли и исполнению, были тогда нам не под силу. Они пугали своей смелостью и оригинальностью и, скажем даже, утопичностью. Но это было дерзание, это было будущее. Леонидов смотрел вперед, перешагивая десятилетия.

Подводя итоги Первой архитектурной выставки в Москве в 1927 году, М. Я. Гинзбург писал в журнале «Советская архитектура» о проекте двадцатипятилетнего дипломанта:

«Блестяще выполненная в ряде тонких графических рисунков и в манере... работа эта более всего ценна для нас как категорический прорыв той системы приемов, схем и элементов, которые неизбежно становятся для нас общими и обычными, в лучшем

случае являясь результатом единства методов, а в худшем — нависая угрозой стилевых трафаретов».

Не хочется проводить параллелей с судьбой познавшего после своей смерти всемирную славу Гогена или Модильяни, продававшего при жизни стоящие сейчас сотни тысяч франков портреты за 40—50 франков, но, думается, что широкое знакомство с творчеством Леонидова, его изучение — единственное, чем можно искупить вину современников перед ним и всей историей нашей архитектуры.

Имя Леонидова всегда как-то сочеталось с именем другого, тоже прогремевшего архитектора — Константина Мельникова.

Судьбы их сходны. Но не во всем. К. Мельников в 20-е годы не только проектировал, но и строил. И построенное им всегда было центром всеобщего внимания. До конкурса на Дворец Советов он успел еще кое-что построить. Клуб «Каучук» на Плющихе, другой — коммунальников на Стромбынке, советский павильон на Парижской выставке декоративного искусства в 1925 году и даже свой собственный дом, существующий до сих пор на Кривоарбатском переулке, недалеко от Плотникова переулка. Загадочный этот дом, стоящий в глубине участка, и поныне привлекает всеобщее внимание.

Описать его не просто: не то башня, не то труба, даже не одна, а две тесно прижавшиеся друг к другу. В передней башне — большое окно, в задней окон нет, есть ромбовидные отверстия снизу доверху. Кроме того, есть еще терраса — на первой башне-трубе, всегда пустая. Над входом дома надпись из камня или штукатурки: «Константин Мельников, архитектор».

Начали строить этот дом давно — в 1927 году. Значит, в годы нэпа или сразу после него. Это весьма знаменательно. Получить в центре Москвы участок в вечное владение и построить на нем дом — не всякому было дано. А вот дали. Значит, знаменитый был архитектор Константин Мельников.

Да, знаменитый. Мы его учили. В тридцатых годах учили. Он бы был мэтром, живым классиком. Таковым и остался. Как и братья Веснины, Леонидов, Гинзбург.

Потом их стали ругать. Объявили формалистами. В газетах появились статьи: «Какофония в искусстве», «Про некоторые архитектурные упражнения», «Против формалистических выкрутасов в архитектуре», «Лестница, ведущая в никуда (Архитектура вверх ногами)». Последняя была посвящена К. Мельникову. Напечатана в «Комсомольской правде» 18. 11. 1936 года. В статье этой упоминается и дом в Кривоарбатском переулке. «Этот каменный цилиндр,— читаем в статье,— может быть местом принудительного заключения. силосной башней, всем, чем угодно, только не домом, в котором добровольно могут поселиться люди. (По имеющимся у нас сведениям, этот дом архитектор построил для самого себя (!)).»

Кончается статья призывом к строителям прекратить свой птичий полет. «Спуститесь на землю — отсюда виднее ваша работа, вам место здесь. Создавайте прекрасную архитектуру социалистической страны без гнилого, неискреннего, фальшивого либеральничания, которое не менее опасно, чем прожектерство формалистических фокусников».

Ну и так далее. С тех пор исчезло имя его со страниц журналов. Строить он перестал. Дальнейшая его судьба была неизвестна. И вот оказывается, архитектор этот дожил до наших дней. И в этой самой «силосной башне».

Как же с ним познакомиться — с этим архитектурным зубром, мамонтом, основоположником и родоначальником?

Мне это удалось. Не скажу, что удачно, но удалось. Из окна квартиры моих друзей — они живут

в Плотниковом переулке, над «Диетическим» магазином, — я увидел как-то эту самую «силосную башню». Как? Неужели сохранилась? Сохранилась. А хозяин? И хозяин сохранился. Появляется даже в «Гастрономе» с авоськой. Но хозяева квартиры знают его сына, художника, вместе когда-то учились в институте, он даже вроде как ухаживал за хозяйкой квартиры. Можно ему позвонить — телефон есть.

Позвонили. Сказали, что такой-то и такой-то мечтал бы познакомиться с заочным своим учителем юности, почел бы за честь, ну и т. д. Ответили согласием, позвоните тогда-то и тогда-то.

Позвонили тогда-то и тогда-то. Ждут. Завтра в двенадцать часов. Здесь, как утверждают мои друзья, я допустил промашку. Не надел галстука, пошел в синей с белой полоской, так называемой «олимпийке». Но об этом позже.

Итак, ровно в 12 часов я позвонил у деревянной калитки «силосной башни». Дико залаяла собака. Потом в башне открылась дверь и вышел подтянутый старик в коричневой домашней куртке с кокетливо выглядывающим из бокового кармана белоснежным платочком. Открыл, гремя замками, калитку. Уже калитка была не такая, как «у людей». С внутренней стороны у нее было нечто вроде полукруглого забора, так что войти можно было только, когда калитка открыта настежь. С грехом пополам я протиснулся в нее.

Входя в дом, я старательно вытер ноги о мохнатый коврик и, как можно любезнее улыбаясь, сказал, как я счастлив, что вступаю в дом, в какой-то степени памятник архитектуры, который я в свое время, в студенческие годы, изучал.

Хозяин на это не обратил или, как потом я понял, сделал вид, что не обратил внимания, а внимательно смотрел, как я вытираю ноги.

Потом я разделся в очень странной полукруглой прихожей (из нее в открытую дверь я увидел такую же странную полукруглую комнату) и по крутой винтовой лестнице без перил (хозяин, которому никак не меньше семидесяти, а то и больше, весьма бойко по ней передвигался) поднялся на второй этаж, в очень большую, очень высокую, тоже круглую комнату, даже не комнату, а скорее ателье, поразившую меня своей пустотой. Кушетка, покрытая одеялом (очевидно, ателье служило и спальней), большой, заваленный книгами и бумагами письменный стол и несколько прекрасных старинных кресел. На стенах портреты. Много. И очень неплохих. В течение последующего получаса я успел их рассмотреть внимательнее. Написаны легко, свободно, никому не подражая. Больше всего портретов какой-то дамы, очевидно, жены, разных возрастов и в разных позах.

Прежде чем меня пригласили к столу, мне в руки дали старую газету. Как выяснилось, чтоб я еще раз вытер ноги. Поняв, что чистая, сухая обувь — некий пункт хозяина (на дворе действительно была грязь, а калоши теперь не в моде), я, идя навстречу хозяину и в то же время полушутливо, сказал, что могу для простоты разуться. Предложение было принято, и я остался в носках.

Потом меня пригласили к столу. Хозяин тоже сел за стол и, положив хорошо выбритый подбородок на скрещенные руки, стал смотреть в пространство. Лицо было красивое, худое, маленькие седые усики. И очень грустные, задумчивые глаза. За его спиной на стене висел автопортрет юных лет — этакий д'Артаньян с черными усиками и жгучим взглядом. Сейчас жгучего во взгляде не осталось — только печаль.

Пауза затянулась, и я, чтоб разбить ее, стал развивать тему, начатую еще в прихожей: как я, в прошлом архитектор, счастлив попасть в этот дом и беседовать (тут я несколько перегнул, беседы-то пока не

было) со столь знаменитым мастером, которого мы, студенты, еще в тридцатые годы и т. д.

Мельников молча слушал, не перебивая меня, и продолжал глядеть в пространство. Потом, не поворачивая головы и не глядя на меня, спросил:

— Так вы, значит, архитектор? А мне сказали, что писатель...

Я пустился в объяснения. Так, мол, и так, был я в свое время и архитектором, и актером, а потом, в силу сложившихся обстоятельств, стал писать.

— Значит, никак себя найти не можете? Бросаетесь из стороны в сторону?

Я сказал, что сейчас, как мне кажется, я на чем-то все-таки остановился.

— Что же вы написали?

Я сказал.

— Это что же, протокол о Сталинградской битве?

Я растерялся: почему протокол?

— А что же вы еще могли написать, кроме протокола, хроники?

Я еще больше растерялся и не нашел что ответить.

Опять молчание.

— Это кто — вы в молодости? — спросил наконец я, указывая на портрет и чтоб прекратить тягостное молчание.

Лаконичное «да», и после паузы:

— Вы, конечно же, не знаете, что я художник. А я художник... — И вдруг, без всякого перехода: — Мне сказали, что вы что-то писали о Корбюзье.

Да, писал, мне посчастливилось встретиться с ним в Париже, и я об этом написал.

— Гоняетесь, значит, за знаменитостями?

Я ответил шутливым тоном, что поэтому вот и к нему пришел.

Он быстро взглянул на меня (впервые за весь разговор) и опять, упершись в пространство, грустно сказал:

— Я с ним тоже встречался.

Очевидно, во время его приезда в Москву, когда строилось по его проекту здание Центросоюза?

— Нет, не в Москве, а в Париже. Вам, очевидно, неведомо, что по моему проекту в Париже был построен советский павильон на выставке декоративного искусства в 1925 году?

Я обиделся. Почему неведомо? И тут же пальцами изобразил схему этого павильона.

На него это не очень подействовало.

— Хорошо, — сказал он, — вот вы говорите — Корбюзье, Корбюзье (очевидно, он очень ревновал к Корбюзье, так как я о нем упоминал только один раз), а кого же вы из русских архитекторов знаете?

Я сказал, сделав упор на него и опять-таки расточив комплименты. Тут он вдруг перешел в атаку:

— Так, теперь вы хвалите Мельникова... А скажите прямо, зачем вы к этому самому Мельникову пришли? Какова ваша цель?

Как зачем? Просто, чтоб познакомиться с родоначальником, основоположником и т. д., и т. п., повторять все то, что я уже говорил.

— Простите, так вы писатель? — перебил он меня.

— Да...

— Ваша фамилия Тихонов?

Так. Я слегка обомлел. Нет, не Тихонов.

— Не Тихонов, значит. Хорошо. Так что же вы писать обо мне думаете?

Я развел руками. Нет, специальной мысли об этом у меня не было, но, если это ему улыбается, могу и написать. Молодому поколению архитекторов, конечно же, будет очень интересно узнать, над чем сейчас работает маститый архитектор, каковы его взгляды на нынешнюю архитектуру, на пути ее развития.

Монолог мой был прерван.

— А вам не кажется, что прежде, чем писать, не мешало бы поинтересоваться, насколько все это интересно самому маститому архитектору?

Тут я окончательно стал в тупик. Не нашелся что ответить. Что-то промямлил, «конечно, если... я не знал... я думал... просто мне хотелось...»

— Так вот, молодой человек,— холодно и очень медленно, с расстановкой сказано было мне,— если вам что-нибудь хочется и для этого надо беспокоить другого человека, желательно предварительно осведомиться, насколько это интересно другому человеку... Вы читали рассказ или уже не помню, может быть, это и в какой-то повести Тургенева, о молодом человеке, который приходит к некоему знаменитому профессору?

Я признался, что, к стыду своему, не помню.

Он мне напомнил и рассказал неведомую мне историю о каком-то молодом человеке, который в нетрезвом виде (все мои друзья, которым я рассказывал о моем визите, до сих пор уверены, что до звонка в заветную калитку я принял «свои сто грамм» в какой-нибудь забегаловке, чего, как ни странно, на самом деле не было) явился к какому-то светиле и стал убеждать его помочь что-то написать в его диссертации.

— Так вот, если не читали,— закончил он свой рассказ,— прочтите, обязательно прочтите.

Я понял, что мой визит несколько затянулся. Мне ясно дали понять это. Встав со стула, я извинился и сказал, что, по-видимому, не вовремя пришел и поэтому позволю себе раскланяться.

— Пожалуйста.

Я обулся, сбежал по лестнице и, еще раз извинившись за неуместное вторжение, ушел.

— Вы сможете сами открыть калитку?

— Сумею...

На этом наше знакомство закончилось.

Я несколько не обижен на Мельникова. Я понимаю его. Сорок лет отделяет его от дней, когда имя его гремело повсюду. Сорок лет...

Мне жаль только, что он не понял меня. Я шел к нему с открытым сердцем, без всякой задней мысли, так же как и сейчас невольно задумываясь — как много надо иметь внутренней силы, чтоб не сломиться под ударами незаслуженной критики и гордо перенести нелегкие годы забвения.

Я ушел от него с чувством горечи.

Выйдя из переуллка, я свернул налево по Плотникову. На углу Сивцева Вражка я постоял недолго. Здесь я когда-то жил, в этом маленьком домике на втором этаже. Вот мое окно.

Теперь мне кажется, что это было очень давно. В крохотной комнате, вся обстановка которой состояла из железной койки, колченогого стола и занимавшего полкомнаты рояля, я заканчивал свое первое литературное произведение, здесь же начал второе. По вечерам при свете стосвечевой лампы, покрытой бумажным колпаком, отчего в комнате всегда пахло жженым, я читал вслух написанное. Верной слушательницей моей была Р., визиты которой почему-то повергали в смущение моих милых старушек — хозяек. Задыхаясь от волнения, они сдавленным шепотом спрашивали сквозь замочную скважину: «Кто?» — и потом долго лязгали замком и цепочкой. Не сомневаюсь, что они были уверены, будто Р. приезжает сюда инкогнито, меняя по дороге фиакры с завешанными окнами, и только на лестнице снимает полумаску. Веселясь по этому поводу, мы с Р. прозвали мою резиденцию сокращенно ПЭ от Рю-де-ла-Пэ — самой фешенебельной и галантной из парижских улиц... Сейчас мне кажется, что это действительно было так и Р. на самом деле, кутаясь в черную

шаль и шурша шелковыми юбками, пыталась незаметно проскользнуть мимо консьержки в подьезде. И было это очень давно, лет сто тому назад. Тогда же, когда Пушкин захаживал в небольшой особняк с колоннами на углу Гагаринского и Хрущевского переулков. Там собирались декабристы, и в стене одной из комнат был потайной ход, и на кафельных печках с медными вьюшками в овальных медальонах маркизы целовались с пастушками.

У этого дома я тоже постоял. Но никто не вышел. Я спросил у кучера, сидевшего на облучке, кого он дожидается.

— А тебе не все равно? — сказал он мрачно.— Мой барин здесь подолгу сидит, не дождешься.

— А кто твой барин?

— Камер-юнкер. А ты?

— Гвардии капитан. Теперь запаса.

Мы закурили по «беломору». Глядя на выросшую за особняком девятиэтажную башню, мы заговорили о том, как быстро все на глазах меняется. Давно ли еще звонили колокола у Николы-на-Песках и хлеб в булочной на углу Смоленского продавался настоящей ржаной, а водка стоила...

— Да,— вздохнул кучер,— не звонят больше колокола у Николы, жителям, мол, мешает, и булочной уже той нет, а на месте этой башни, где сейчас кафе «Адриатика» — неплюхое кафе, только дерут три шкуры,— был особняк купца Снегина. И еще пять таких особняков у него было, и три доходных дома, и трактиров по всей Москве штук пятнадцать, если не больше.

Мы повздыхали, повздыхали, и я побрел дальше. Мне почему-то подумалось, что человек, от которого я только что ушел, так же вот бродит по этим когда-то тихим арбатским переулкам и смотрит, как на месте уютных особняков с мезонинчиками вырастают похожие как две капли воды одна на другую, лишенные собственного лица эти белые девятиэтажные башни, как рассыпается под скрежет бульдозеров старая Москва...

— Не грустно на это смотреть? — спросил я.

— Мало сказать, грустно...

Мы испытующе посмотрели друг другу в глаза и, не сговариваясь, направились к «Адриатике», той самой, где был когда-то особняк купца Снегина.

— Да,— сказал мой спутник, когда мы устроились за столиком у окна.— Появление этих башен вполне закономерно. Без них сейчас не обойтись, что поделаешь. Но какое они имели право вторгаться сюда, в самое сердце Москвы? Кто им это разрешил? В конце концов это просто бесцеремонно. А бесцеремонность в архитектуре так же непростительна, как и безвкусица... Да, да, по вашему взгляду я вижу, что вы со мной согласны и с жаром заговорите сейчас о Кремлевском Дворце съездов или о новой гостинице «Националь» на улице Горького. А я вам скажу, что вы опоздали на добрых два столетия и все это началось, когда еще Матвей Казаков позволил себе построить в Кремле Сенат, а полстолетия спустя архитектором Тоном был сооружен Большой Кремлевский дворец. Разве они имеют право стоять рядом с Успенским собором, Потешным дворцом? И вот, глядя на Казаковых и Тонов, московская башня решила, что ей все разрешено, и полезла из своих Мневников и Филей в святая святых Москвы. Как тут не загрустить, как не заплакать? Мне говорят — новая Москва! И я за новую, но я за Москву. Лужники построили на месте сараев и барачков, университет — хорош он или плох — на месте одноэтажных хибар, а эти башни, как некая саранча, заполнили сейчас всю Москву, посягнули на сердце ее, на то, что дорого каждому москвичу — на московскую улицу. У нее свое лицо. у этой улицы, своя душа.

И улица эта не Горького — упаси бог! — а Пречистенка, Ордынка, Поварская, старый Арбат, который уже тоже начинают ломать. Этим улицам не миновать общей судьбы, но они еще чудом сохранили свой дух, свое неповторимое московское обаяние уютных дворишков, замысловатых проходных дворов, детских площадок, глухих брандмауэров, вросших в землю флигельков с геранью на окнах. Пусть она, эта улица, не так строга, как ленинградская, не так живописна, как киевская, но она своя, московская, ее ни с чем не спутаешь. Надо ее любить, беречь, а не ломать.

Нашел что беречь, скажут мне и вспомнят Париж, барона Османа, которого тоже ругали, когда он пробивал свои широкие бульвары через самое сердце еще Виктором Гюго воспетого Парижа.

Знаю, знаю... Парижские бульвары прекрасны, но строились-то они по указке трусливого Луи-Бонапарта, боявшегося «черни» и ее баррикад на узких улицах. А чего нам бояться? Страху обществу «Россия» до революции мог нравиться этот участок, и оно, ни с чем и ни с кем не считаясь, покупало его и строило свои громады. Но сейчас... Ведь все по плану делается — городской архитектор, архитектурное управление, горисполком, деревья без чьего-то там разрешения срубить нельзя... А саранча все лезет и лезет...

Я робко вставил:

— И это говорите вы, который...

— Да, я, который... Вы не учитываете одной вещи, вернее, двух. Во-первых, что все, о чем вы хотели сказать, происходило в двадцатые годы, когда все пели «Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем...», когда у Мейерхольда артисты ходили в зеленых париках и все, что не было выкрашено в красный цвет, кроме этих париков, считалось контрреволюцией. И второе — неизвестный вам клуб «Каучук» был не саранчой, лишенной какой-либо индивидуальности, а первой робкой ласточкой, призывом, заповедом, если хотите, «Марсельезой»... А башня, в которой мы с вами сидим, может быть, и полезна в борьбе с жилищным кризисом, но как произведению искусства ей ноль цена. Типовой проект расселил людей, но убил искусство. Стер лицо. У Сызрани и Москвы оно теперь одно, не отличишь.

— Что же делать?

— Думать! Прежде всего думать. Думать и искать. А не только печатать синьки. И не класть ноги на стол, на котором хрусталь и фарфор, как это позволил себе сделать все тот же Казаков, с легкой руки которого все и началось. Пусть даже сам царь или царица тебе приказывает: «Строй!» Разведи руками и скажи: «Не имею-с права, тут до меня еще строили, и поискуснее... Разрешите где-нибудь в сторонке, подальше...» Мой собеседник вдруг рассмеялся. — Но самое смешное, а может, и горькое — это то, что никто до сих пор не задумался: а кто же в конце концов автор этой башни? А ведь он есть! И, вероятно, даже не он, а они, целые бюро. Но кто они — никто не знает. Так же, как никто не знает, кто же построил Реймский собор или Нотр-Дам. Смешно, не правда ли? Впрочем, стоит ли обо всем этом говорить, когда существует столько неразрешенных проблем, как, например, загрязнение окружающей среды, перенаселение нашей планеты и тому подобное, очень зловещее. А в общем-то вы должны меня понять — все это только брюзжание человека преклонного возраста, которому в силу именно этого и не вполне удачно сложившейся биографии ничего другого и не остается. Простите меня великодушно.

На этом монолог моего собеседника, в уста которого я просто-напросто вложил свои собственные мысли, чтобы было интереснее, закончился.

Я встал, расплатился и вышел на улицу. Собеседник мой, как и положено в таких случаях, медленно растаял в воздухе.

* * *

Засим, дорогой читатель, последую и я его примеру. Надо и тебе немного отдохнуть. Иди домой, ложись на диван и послушайся совета одной прекрасной книги. Называется она «Гид по таинственной Франции». «Если тебе все надоело, — говорится там в предисловии, — и не хочется ни с кем разговаривать, а на дворе к тому же стужа и ветер завывает в трубах, подвинь свое кресло к камину, поставь рядом стакан доброго старого вина, зажги трубку и возьми в руки меня».

Вот и я тебе, читатель, советую: возьми в руки, если нету гида, Жоржа Сименона и в компании полицейского комиссара Мегрэ забудь на какое-то время обо мне. А настанет время, опять погуляем, дай только придумать маршрут.

До следующей встречи!

Публикация А. БЕРЗЕР.

1969—1970.

Киев — Москва

«Городские прогулки» Виктор Некрасов писал для «Нового мира». Писал по частям и читать давал по частям. Сначала я прочитала страницы, связанные с Булгаковым. Рассказ его «Дом Турбиных» был напечатан в «Новом мире» в 1967 г. Он встречен был с большим интересом и вызвал множество самых разнообразных писем и откликов. Именно Некрасов нашел в Киеве, разыскал и открыл этот, прежде никому не ведомый дом. Так завязалась эта линия «Городских прогулок». Не буду погружаться в воспоминания, скажу только, что, когда он довел рукопись до конца, в 1969—1970 годах я уже не работала в «Новом мире». «Городские прогулки» напечатать в те годы не удалось, и рукопись в том, тогдашнем, памятном для меня виде, он оставил у меня. Вскоре после написания письма из Парижа, третьего сентября 1987 г., Виктор Некрасов умер.

А. БЕРЗЕР.

Сергей БЫЧКОВ

ИЗ ОТРЯДА СОЛНЦЕЛОВОВ

Известный литературовед Н. Харджиев, говоря о русском искусстве начала века, отмечал: «Едва ли в истории искусства можно найти моменты, когда поэзия и живопись настолько тесно соприкасались между собой, как это было в период возникновения так называемого кубофутуризма в России».

Писали стихи П. Филонов и М. Ларионов. Известна книга стихов П. Филонова «Пропевень о проросли мировой», изданная в 1915 году. Сочинял стихи Казимир Малевич, которого живо интересовали и теоретические вопросы, связанные с поэзией. Глубоко интересовались живописью и поэты. Велимир Хлебников писал:

Татлин, тайновидец лопастей
И винта певец суровый,
Из отряда солнцеловов.
Паутинный дол снастей
Он железною подковой
Рукой мертвой завязал...

Тяготая к ритмике, отталкиваясь от метрики, столь привычной русской поэзии XIX века, Казимир Малевич декларировал в своей книге «От кубизма и футуризма к супрематизму»: «Я говорю всем: бросьте любовь, бросьте эстетизм, бросьте чемоданы мудрости, ибо в новой культуре ваша мудрость смешна и ничтожна».

Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски!
Снимайте же с себя огрубевшую кожу столетий, чтоб вам было легче догнать нас.

Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием.

Вы в сетях горизонта, как рыбы!

Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу!

Спешите!

— Ибо завтра не узнаете нас».

Трудно сказать, что более весомо в этих словах — убежденность живописца или поэтическое звучание, необычная образность языка...

Казимир Северинович Малевич родился в 1878 году неподалеку от Киева, где его отец работал на сахарной фабрике. Учился в Строгановском училище, увлекался живописью постимпрессионистов. Сильное влияние оказал на него в этот период Гоген. В 1907 году Малевич примыкает к группе кубофутуристов. Выставляет свои работы вместе с М. Ларионовым, В. Кандинским, Давидом Бурлюком. В это время художник активно работает с цветом. Вспомним один из образов его манифеста — «...освободил сознание краски».

В начале десятых годов Малевич создает новое направление в живописи, которое он называет супрематизмом. Супрематизм в переводе с французского означает «высший». В уже названной книге, выдержавшей к 1916 году три издания, он писал: «Художник может быть творцом тогда, когда формы его картины не имеют ничего общего с натурой. А искусство — это умение создать конструкцию, вытекающую из взаимоотношений форм и цвета, и не на основании эстетического вкуса красоты композиции построения — а на основании веса, скорости и направления движения». С максимализмом, свойственным тогдашнему времени, Малевич утверждал: «Самоценное в живописном творчестве есть цвет и фактура — эта живописная сущность, но эта сущность всегда убивалась сюжетом. Живописцы должны бросить сюжет и вещи, если хотят быть чистыми живописцами».

Революция оставила глубокий след в творчестве Малевича.

Он оказался в эпицентре событий: после февральской революции избирается в Московский Совет рабочих депутатов, возглавляет его художественный отдел. Осенью 1918 года создает костюмы и декорации для первой постановки «Мистерии-Буфф» В. Маяковского. В конце 1918 года по поручению отдела изобразительных искусств при Комиссариате Северо-западных областей художник Михаил Добужинский организует Витебский художественно-практический институт. Вскоре на посту директора его сменил Марк Шагал. Руководителями мастерских были Шагал, Радлов, Тилберг, Любавина, а в 1919 году к ним присоединяется Малевич. К февралю 1919 года в институте насчитывается более 350 человек. В Витебске же Малевич создает живописное общество УНОВИС — «Утвердители нового искусства». Среди его близких учеников этого периода — Н. Суэтин, И. Чашник, Л. Лисицкий. До революции к группе супрематистов примыкали И. Пуни, М. Меников, И. Ключенко, К. Богуславская, О. Розанова.

В 1922 году Малевич перебирается в Петроград и создает Институт художественной культуры (Инхук). С ним продолжают работать ближайшие ученики — Суэтин и Чашник. В институте создается музей художественной культуры — первый музей, где выставлялись произведения авангардистской живописи. В 1927 году созданный Малевичем институт закрывают, и он продолжает работу в Зубовском институте (Истории искусства).

В этом же году он получает возможность выехать с выставкой своих работ сначала в Польшу, а затем в Германию. Выставки прошли с триумфом. Художественная жизнь Ленинграда тяготит художника, и он составляет своеобразное завещание: «В случае смерти моей или тюремного безвинного заключения, и в случае, если владетель сих рукописей пожелает их издать, то для этого их нужно изучить и тогда перевести на иной язык, ибо, находясь в свое время под революционным влиянием, могут быть сильные противоречия с той формой защиты искусства, которая есть у меня сейчас. С 1927 года эти положения считаю настоящими. 30 мая 1927 года. Берлин». Вместе с рукописями Малевич оставляет большую часть своих полотен — больше ста. После второй мировой войны они станут собственностью Амстердамского музея, а рукописи будут изданы в ФРГ отдельной книгой. 1927 год становится переломным в творчестве художника. Начинается постепенный отход от основных положений супрематизма. Если когда-то квадрат считался едва ли не символом направления, то теперь манера письма меняется, и возникают полотна, вдохновленные мастерами европейского средневековья. Это преимущественно портреты (среди которых наиболее известен автопортрет, экспонировавшийся в начале 70-х годов на выставке русского автопортрета), исполненные в реалистической манере. И только изощренная цветовая гамма свидетельствует о том, что написаны они Малевичем.

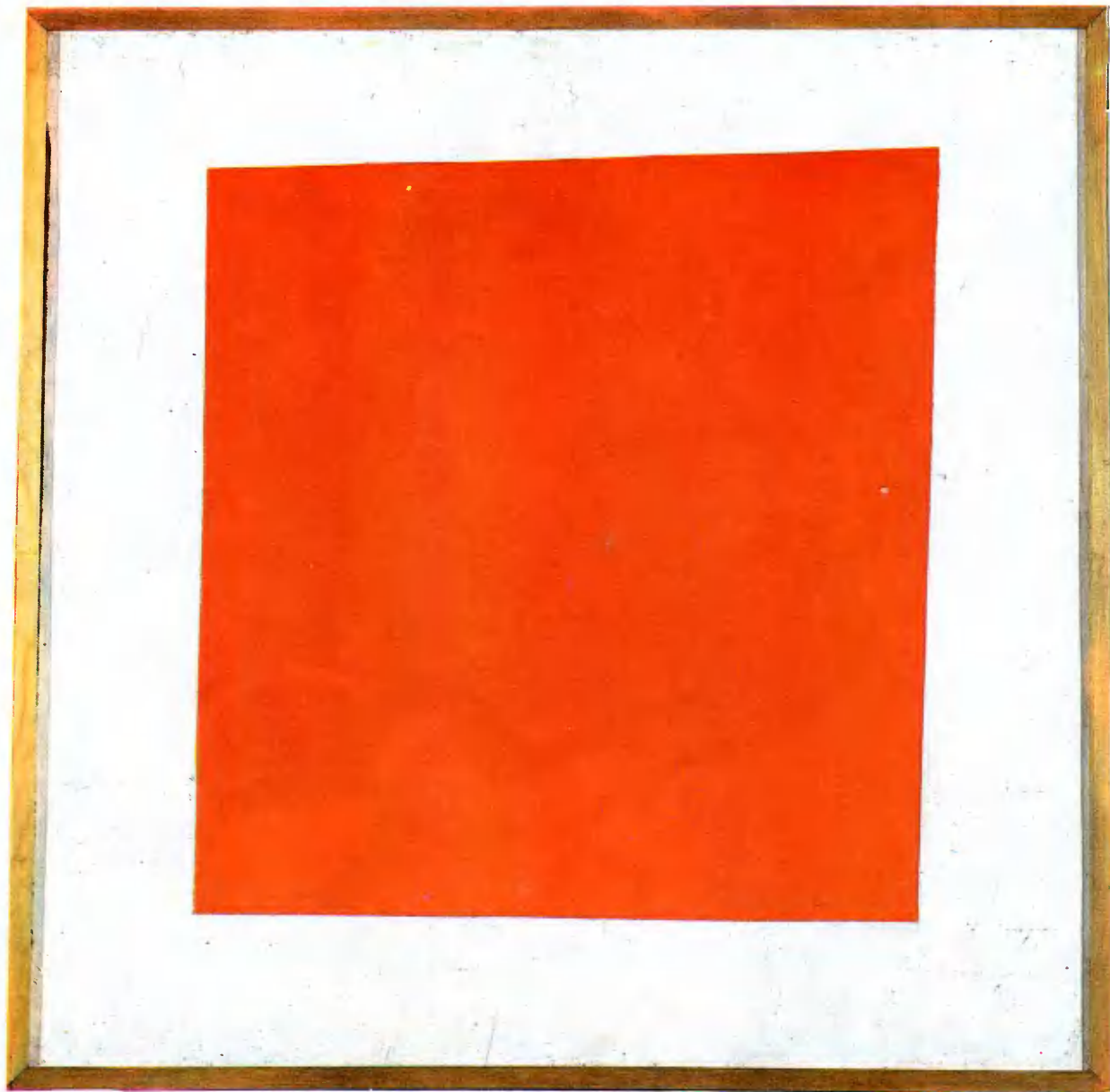
В 1930 году он подвергается аресту как «немецкий шпион». К счастью, заключение продолжалось лишь несколько месяцев. Но арест испугал близких художника, и в этот период были уничтожены его рукописи и письма. Интеллектуальная атмосфера тридцатых годов становилась все более тяжелой: «В Европе холодно, в Италии темно. Власть отвратительна, как руки брадобрея...» (О. Мандельштам). В этой атмосфере многие ломались или задыхались. Татлин оставляет живопись и занимается дизайном. Филонов отказывается выставляться.

В 1934 году врачи диагностируют у Малевича рак. Узнав об этом, художник завершает первую часть автобиографии. 15 мая 1935 года он умирает в Ленинграде. Гроб был изготовлен по супрематическому эскизу самого Малевича. Его прах — по завещанию — был погребен в подмосковном поселке Немчиновка, где в последние годы он проводил летние месяцы.

Потрясенный Даниил Хармс пишет стихотворение «На смерть Казимира Малевича»:

Памяти разорвав струю,
Ты глядишь кругом, гордостью сокрушив лицо.
Имя тебе Казимир.
Ты глядишь, как меркнет солнце спасения твоего.
От красоты якобы растерзаны горы земли твоей.
Нет площади поддержать фигуру твою.
Дай мне глаза твои! Разворю окно на твоей башке!..

Теперь, когда музеи щедро открыли свои запасы, мы видим на выставках работы Казимира Малевича и широко отмечаем 110-летие со дня рождения этого замечательного художника.



Красный квадрат. 1916 г.

*«Квадрат не подсознательная форма.
Это творчество интуитивного разума.
Лицо нового искусства!*

*Квадрат живой царственный младенец.
Первый шаг чистого творчества в искусстве.
До него были наивные уродства и копия натуры.
Наш мир искусства стал новым, беспредметным, чистым.
Исчезло все, осталась масса материала,
из которого будет строиться новая форма». К. С. Малевич, 1919 г.*

**ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА
1878—1935 гг.**

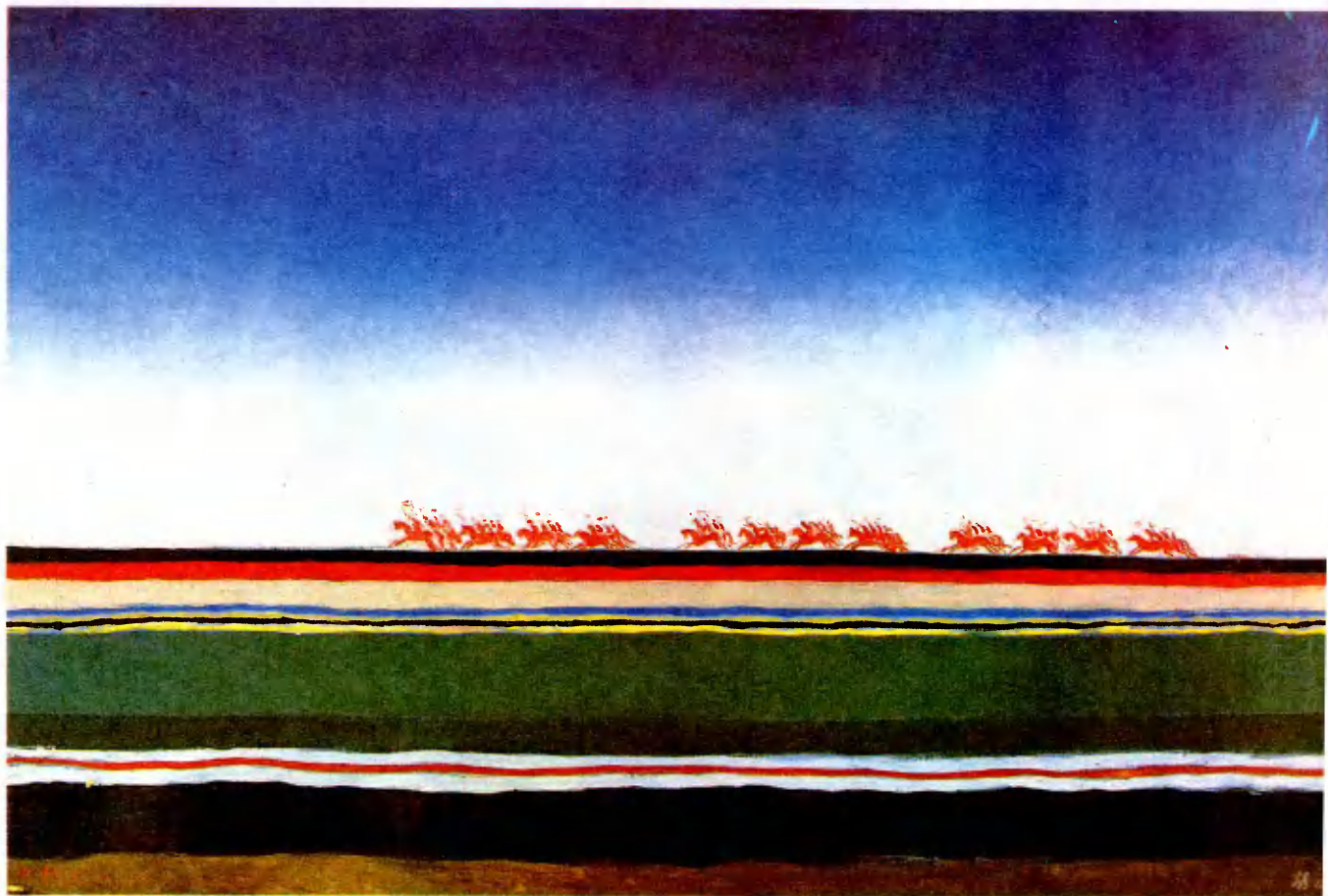


Цветочница. 1903 г.

Супрематизм. 1916 г.



Коница. 1918 г.





Девушки в поле.
1912 г.



Красный дом. 1932 г.

Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Борис СТРУГАЦКИЙ

ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ, ИЛИ СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Фантастический роман

ДНЕВНИК. 19 июля (утро).

У Лема есть рассказ, как изобрели снадобье, от которого совокупляющийся человек терпит непереносимые мучения. Идея изобретателя: половой акт должен иметь исключительно функциональное значение. Как называется рассказ? Не помню. И Мишель тоже не помнит.

19 июля. 20 часов 30 минут.

Утром позвонил тренер: занятия по субаксу сегодня отменяются. Вообще все тренировки в доме спорта сегодня отменены. Вопрос: «Почему?» Ответ: «Вы что — сами не понимаете?»

В газетах продолжается вчерашнее. По-прежнему гнев, стоны, проклятия, душераздирающие факты. Однако появились некоторые попытки теоретических обоснований.

«Городские известия». В. Кривошапкин, заведующий отделом трудовых ресурсов. «Мы в принципе не против так называемых неедяк, которых все-таки правильнее было бы называть лицами с добровольно редуцированными потребностями (ДРП). Мы достаточно богаты, чтобы прокормить их, одеть и обусть, и даже обеспечить жильем. Тем более что уровень потребностей их в три — пять раз ниже среднего в нашем городе, и тем более что большая часть группы ДРП как-никак, а принимает участие в общественно полезном труде, причем берет на себя (пусть даже только sporadически) наименее престижные и непривлекательные работы. Я уже не говорю о том, что небезынтересный эксперимент некоторых семейств ДРП, посвятивших себя целиком воспитанию своих детей, не может не привлекать самого пристального и благожелательного внимания. Однако мы решительно против каких бы то ни было крайностей. А Флора, что бы ни говорили сердобольные ее защитники, — это и есть та самая отвратительная крайность, с которой мы не можем позволить себе мириться...»

«Университетский вестник». Профессор Н. Микава излагает предварительные результаты первого социологического исследования Флоры в нашем регионе. Лиц мужского пола во Флоре больше, чем лиц женского. Пятнадцатилетних больше, чем шестнадцатилетних. (Ну и что?) Пробовали наркотики хотя бы один раз 96,2% опрошенных. (Это и так все знают.) Алкоголем балуются примерно 30%. (Ну и что?)

Ни выводов, ни рекомендаций. ничего. Только гордое признание в конце: де прозевали мы те сложные объективные процессы в социуме, которые привели к возникновению Флоры, и надлежит теперь нам, социологам, искупить свою вину, вплотную занявшись этим поразительным социальным явлением. И тут же заметка группы студентов: чего вы к ним пристали? Вспомните хиппи, вспомните битников, «металлистов», «караканаров», «акутагуев», «шлемников»... Перебесятся и вернутся к нормальной жизни. Двое из подписавших заметку — сами бывшие фловеры.

Но зато статья проректора — это нечто! Оказывается, это Флора виновата, что в университетских подвалах гнали наркотики. Каленым железом! Поганой метлой! Дустом их, дустом!

«Ташлинский агропром». Сплошной мрак. Средневековье. Ночь. И горит городская свалка.

«Кооператор». Все авторы без исключения предостерегают сограждан от экстремизма — главным образом от пикетирования предприятий, — бьют себя в грудь на тему «не виноватая я!» и в качестве доказательства своей абсолютной лояльности призывают пустить на Флору кавалерию. При этом все они категорически требуют не смешивать Флору с мирными неедяками, приводя примерно те же аргументы, что и «Городские известия».

«Молодежные новости». Также демонстрируют гордое признание своей вины. Это не только наша беда, это также и наша общая вина. Куда смотрел горком ВЛКСМ? Куда смотрели комсомольские организации предприятий и учебных заведений? Вот они, плоды чрезмерной заорганизован-

Рисунки
И. Мельникова

Окончание. Начало см. в № 6 за 1988 год.

ности комсомольской работы, с одной стороны, и чрезмерного потакания самым невзыскательным вкусам — с другой. Одним словом, Что Лично Сделал Ты — Чтобы Твой Друг Не Ушел Во Флору? Замечательная газета. Ты комсомолец? Да! Ужель не поумнеешь никогда?

Все это, впрочем, цветочки, а ягодки — в «Ташлинской правде». Целая полоса. Три статьи. Дискуссия, если можно так выразиться.

Застрельщиком выступает некий Плюхин К. П. Из текста явствует, что к Флоре он никогда и близко не подходил, знает о ней только понаслышке да по рассказам знакомых, так что весь пафос его базируется на отвращении к внешнему виду флюверов, которых он случайно встречал на улице, а также на совершенно разумном тезисе, что труд сделал из обезьяны человека, а тунеядство поворачивает этот процесс вспять. Нынешняя молодежь совершенно не знакома с подлинными жизненными трудностями. Ей далеко до тех, кто осваивал Тюмень и Сургут, строил БАМ и выполнял свой интернациональный долг. И, хотя в массе своей наша молодежь «поднялась на здоровой закуске», закрывать глаза на уродливые отклонения от нормы в ее среде у нас нет никакого права.

Тут бы, казалось, самое время вскричать: «Огнем и мечом!» — однако же нет. Оказывается, нам всем надлежит только лишь использовать все меры воспитательного, идеологического и политического воздействия, основанные на рекомендациях наших педагогов и социологов. Комсомол должен встать во главе перевоспитательного движения. Правоохранительные органы обязаны пребывать на высоте и не терять бдительности ни на малую секунду. Что же касается отдельных экстремистских тенденций, заявивших себя в городе в последнее время, то их надо рассматривать как паникерские, волонтаристские и столь же опасные, как тенденции к пассивному приятию существующего положения. Социальная пассивность и социальная агрессивность — это две стороны стершейся фальшивой монеты дешевого политиканства.

Таким вот путем.

Дальше на две колонки идет наш Г. А. Горькая и блестящая статья. Очень его, очень личная. Читаешь и все время слышишь его голос.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Статья эта не сохранилась. Я не нашел ее даже в Публичке. И можно лишь сожалеть, что в ту июльскую ночь я не переписал ее в свой дневник целиком, а только ограничился изложением некоторых ее тезисов, наиболее меня затронувших.)

Флора — разнovidность преступного мира? Вздор. Ничего общего. Преступный мир паразитирует на нашей цивилизации, а Флора образует свою цивилизацию, свою собственную. Преступник вообще ближе к нам, чем Флора, — и по системе материальных ценностей, и по иерархии внешнего престижа. Дух цивилизации Флоры совершенно иной. Наши ценности для них — ноль. Их ценности для нас — за пределами нашего понимания, как кошачий язык.

Флора — дикари, не доросшие до нашей цивилизации? Неверно. Флора проросла из нашей цивилизации, как из слоя гумуса. Да, это дикари. Но это дикари совершенно особого типа — племя, вкусившее от нашей цивилизации и с отвращением извергнувшее то, что оно вкусило.

Суть происходящего в том, что никто не понимает Флору. А главная беда происходящего в том, что никто и не пытается понять Флору, потому что всем кажется, будто понимать здесь нечего, все и так ясно.

Флора не есть что-то отдельное от нас — некий отвратительный и опасный зверь из джунглей, которого надлежит либо уничтожить, либо отогнать на край

света. (Кстати, куда хотите отогнать вы его? В соседнюю область, в соседний регион? В соседнюю республику?)

Флора — это боль наша, наше страдание. Может быть, это болезнь. Может быть, это гноящаяся рана. Но тогда нужен врач, профессионал, носитель знания и милосердия. И никакого самолечения! Никаких шаманских плясок! Никаких самопальных знахарей — с водкой вместо наркоза и ножовкой вместо ланцета.

А может быть, на наших глазах как бы стихийно возникает совершенно новая компонента человеческой цивилизации, новый образ жизни, новая самодовлеющая культура? И тогда кровь, боль, нечистота — роды! Младенец непригляден, даже уродлив, он вопит и гадит, но он обречен на рост, и в обозримом будущем он обречен занять свое место в структуре человечества. И если это так, то упаси нас боже от нечистоплотных повивальных бабок и деловитых абортмахов!

Кто больше всех кричит в нашем городе? Оглянитесь вокруг себя, присмотритесь, прислушайтесь, задумайтесь!

Очень громко, оглушительно кричат те (как водится), кто больше всего виноват в происходящем, те, кто не сумел воспитать, не сумел увлечь и отвлечь, не сумел привязать к себе, и в первую очередь те, кто был ОБЯЗАН все это делать, числился специалистом, получал за это деньги и премии: плохие педагоги в школах, равнодушные наставники на предприятиях, бездарные культмассовые работники. Они заходятся в крике, чтобы заглушить собственную совесть и оглушить тех, кто рядом с ними пытается разобраться, где же виновные.

Зычно взрывают ответственные лица, те, кто определял на месте, выдвигал, пестовал упомянутых кое-каких; теперь они пытаются свалить вину на своих подопечных, на объективные обстоятельства, на мифических соблазнитель и, уже как водится, на тлетворное влияние извне. А рядом не менее зычно ревет пока еще полувотвественные, быстро соображившие, что вот-вот начнут освобождаться места и что сейчас самое время сколотить политический капитал, продемонстрировав свою объективность, деловитость и готовность решительно исправить положение. О, это вечное племя, призванное отвечать за все и потому не отвечающее ни за что!

И уже заболботали, зачуфыкали, закашляли наши родимые хрипуны, ревнители доброй старины нашей, спесивые свидетели времен очаковских и покоренья Крыма, последние полвека познающие жизнь лишь по газетным передовицам да по информационным телерадиограммам, старые драбанты перестройки, коим, казалось бы, сейчас правнуков своих мирно тетешкать да хранить уют семейных очагов, — нет, куда там! Вперед, развернувши старинные знамена, на которых еще можно разобрать полустертые лозунги: «Тяжелому року — бой! Не нашей культуре — бой! Цветоволосы — с корнем! Синхролайтинги — с корнем! Системки — на помойку! Контактторы — под каблук!»

И залязгали железными голосами ревнители абсолютного порядка, апологеты фрунта, свято убежденные в том, что от любых социальных осложнений есть только одно лекарство: строй, марш и бравая песня с запевалой. Тот, кто вне строя, тот и вне закона. А с тем, кто вне закона, надлежит поступать однозначно: высоко и коротко.

И с каждым часом все громче орут, улюлюкают, горланят в предвкушении веселой охоты соскучившиеся молодцы, почуявшие уже, что наступает время, когда можно будет дать себе волю, безнаказанно разнуздать себя, почесать кулаки, пуститься во все

тяжкие, не опасаясь правоохранительных органов. Уже за одну только эту свору не будет прощения тем, кто сейчас, вылупивши шары, мечет молнии демагогических словес, вместо того чтобы помолчать и задуматься.

«Я не называл имен, хотя я мог бы их назвать. Я был резок и, наверное, даже груб, но я не прошу прощения за это. Все, что я сказал здесь, обращено к людям, добрая половина которых — мои ученики и ученики моих учеников. Все, что я сказал здесь, обращено к ним в той же мере, в какой я обращаю это и к себе самому. Стыд и горе мучают меня последние дни, ибо вину за происходящее я полностью принимаю и на себя лично — в той мере, в какой может принять ее отдельный человек. И я прошу вас только об одном: замолчите и задумайтесь. Ибо настало время, когда ничего другого сделать пока нельзя».

Замыкает подборку декан социологического факультета. Статья его посвящена главным образом роли тунеядства, и в частности Флоры как социального явления в обществе начала второй НТР. Все очень разумно, академично и, на мой взгляд, бесспорно. В полемику с Г. А. он явно предпочел не вступать (не знаю уж, из каких соображений), однако чувствует, что он не согласен с Г. А. практически по всем позициям. Ни с содержанием, ни с формой.

Но мне кажется примечательным одно его рассуждение. Высказавшись в том смысле, что Флора была бы невозможна, если бы мы научились предоставлять каждому молодому человеку работу по его вкусу, он замечает: «Пока мы еще имеем моральное право осуждать Флору. Не хватает рабочих рук, очень много непривлекательного и непрестижного труда, на который мы с упреком указываем Флоре, но уже недалеко то время, когда вторая НТР завершится (ориентировочно через 40—50 лет), непривлекательный и непрестижный труд будет целиком отдан кибертехнике, и что мы тогда ответим Флоре, когда она скажет нам: ладно, давайте вашу работу. Необходимо уже сейчас понять, что с нынешней точки зрения это будет очень странное время — время, когда труд навсегда перестанет быть общественной необходимостью. Может быть, нам действительно надлежит рассматривать нынешнюю Флору как некую модель общей социальной ситуации не столь уже отдаленного будущего?»

Что я из всего этого понял?

Редакционной врезки под публикацией нет. Следовательно, горьком еще не принял своего решения по поводу намечающейся акции. И вообще заметно, что позиция горькома скорее умиротворяющая, нежели побуждающая. С другой стороны, подписи. Мне кажется важным, что про Плюхина К. П. все прописано досконально: и ветеран, и персональный пенсионер, и почетный наставник, и заслуженный рабочий РСФСР. То же и про декана: профессор, членкор, лауреат, депутат... А про Г. А. сказано просто, без затей: Г. А. Носов. Конечно, это можно понимать так, что каждый в городе знает, кто таков Г. А. Носов, и рекомендовать его нет никакой необходимости. Но при желании можно усмотреть здесь и некий предупреждающий намек: мол, сегодня ты и заслуженный учитель, и лауреат, и депутат, и член горсовета, а завтра — Г. А. Носов, и точка. Кирилл из всей этой подборки сделал в высшей степени оптимистические выводы: горьком никаких крайних акций не допустит — пошумят, погалдят и утихнут. Смотри тон статьи ветерана, а также отсутствие среди авторов подборки преподобной красотицы Ривы, да и арбитром выбран высоколобый, а не практик, не чиновник.

Все это он изложил нам в вестибюле, с чемоданом наперевес. Говорил очень убежденно, но в его поло-

жении странно было бы говорить что-нибудь другое, например: да, ребятки, дело ваше дерьмо, ну да ладно, как-нибудь вывернетесь, а мне пора в круиз вокруг Африки.

Едва мы его проводили, как меня вызвал Г. А. и сказал: «Пойдем». Мы пошли, и по дороге я все гадал, куда это мы идем, и, конечно, не догадался. А пришли мы на телецентр и поднялись прямо к главному начальнику. Главный начальник оказался длинным, сутулым, потным, волосатым (несимпатичным), и сразу же выяснилось, что он на грани истерики. Едва мы вошли к нему, как он вскричал рыдающим голосом: «Ну что тебе, Георгий? Ну что тебе еще?»

Да, он старый и верный друг Г. А. Да, он до гроба благодарен Г. А. за свою дочь. Кажется, он уже не раз доказывал свою благодарность и словами, и делами. Но сейчас сделать нельзя ничего. Неужели он неясно выразил эту простую мысль в телефонном разговоре? Нет, по радио тоже нельзя. Нет, никаких секретов, никаких тайных пружин, и он никого не боится. Но он держится буквально из последних сил. Он не намерен на старости лет марать свою совесть, а самое малейшее вмешательство в происходящее с неизбежностью приведет к тому, что он будет замаран с ног до головы. Нет, это глубокое заблуждение, будто «хуже не будет, а лучше — может быть». Будет именно хуже, причем гораздо хуже! Сколько трудов стоило ему уклониться от чести предоставить эфир заведующей горно, председателю Совета ветеранов, главному редактору «Ташлинского агропрома»... Если сейчас в эфир выйдет Г. А., тогда он (волосатый, несимпатичный главный начальник) по простой логике гласности должен будет предоставить эфир всем названным лицам и еще двум десяткам неназванным, которые, как собаки с цепи, рвутся призвать граждан к поганым метлам, каленому железу и ежовым рукавицам...

Кончилось тем, что Г. А. пришлось утешать его, волосатого, несимпатичного, вытирать ему слезы, напоминать о каких-то обстоятельствах, когда все закручивалось и похлестче, а кончилось благополучно, и в конце концов волосатый, несимпатичный совершенно разрыдался — уже не в переносном, а в самом прямом смысле слова, и Г. А. взглядом показал мне, чтобы я вышел.

На обратном пути я спросил Г. А., что он думает о подборке в «Ташлинской правде». Г. А. ответил: «Могло бы быть значительно хуже». Потом помолчал и добавил: «А может быть, еще и будет значительно хуже. Посмотрим». Потом еще помолчал и пробормотал как бы про себя: «Во всяком случае, я больше нигде обращаться не буду. Поздно». Это было ключевое слово. «Поздно, поздно! — кричал Вольф, — продекламировал Г. А., оживившись. — Пена и кровь стекали по его подбородку». Как всегда, цитата эта привела его в хорошее настроение. Он поглядел на меня повеселевшими глазами и вдруг спросил: «А не кажется ли вам иногда, Князь, что мы сейчас живем на переломе истории? Никогда не появляется у вас это ощущение? На переломе истории ужасно неуютно: сквозит, пахнет, тревожно, страшно, ненадежно, но, с другой стороны, счастливо. Кто посетил сей мир в его минуты роковые... А, Князь?»

В самом деле, каково это — жить на переломе истории? Надо подумать. Что это такое, собственно, перелом истории? Когда на перекрестках стоят броневики и чадят костры, на которых догорают старые истины, — это уже не перелом истории, это уже началась новая история. А перелом — это производная по времени. Говорят, сердечники реагируют не на плохую погоду, а на изменения хорошей. Вокруг еще солнышко сияет, тепло, благорастворение возду-

хов, но давление начало меняться, и сердечник хватается за сердце. Может быть, и с историей так же? Может быть, Г. А. со своей чуткостью реагирует на изменения, которые только-только еще начались? Не удивился бы, хотя сам никаких изменений не ощущаю.

Пикетов еще больше, чем вчера. Лозунги примерно те же. Интуристам страшно интересно, они непрерывно сверкают вспышками и шуршат во все стороны видеокамерами.

Спросил Михея, что он, комсомолец Михей, сделал для того, чтобы его друг, князь Игорь, комсомолец же, не ушел во Флору? Реликтовые звуки были мне ответом.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (19—22).

19. Остров Патмос на поверку оказался довольно оживленным местечком. Видимо, в то время он располагался на пересечении нескольких каботажных если и не дорог, то, во всяком случае, тропинок. Чуть ли не каждую неделю в его удобной южной бухточке бросало якорь какое-нибудь судно, чтобы пополнить здесь запас пресной воды, снабдиться вяленой козлятиной, а то и спустить на берег очередного ссыльного.

На Патмосе оказалось полным-полно ссыльных. Они называли себя жаргонным словечком *приках-ты*, что соответствует примерно нашему понятию «крестник». Были там крестники Калигулы, крестники Клавдия, крестники Тиберия. Возмнившие о себе сенаторы, проштрафившиеся артисты, иноземные князья, мастера и любители красного словца, непоправившие реформаторы — некоторые при семействах и скарбе, а некоторые без ушей, без языка, иногда без гениталий.

И все это была элита, даже те, кто был без гениталий. Социально близкие. А полуголый, вываренный в кипящем масле, облезлый профессиональный бандит был социально чуждым. Строго говоря, он был даже недостойн ссылки: если уж на него не хватило масла, то место ему было, без всякого сомнения, на кресте, а не в светском обществе. Поэтому первые недели пребывания его на острове были омрачены инцидентами.

Впрочем, правильнее было бы сказать, что недели эти были омрачены, с точки зрения гордых *приках-ты*. Они стремились исправить упущение властей — и не преуспели.

Сначала были убиты три собаки: его пытались травить собаками, он убил их и вместе с Прохором съел, зажарив на углях. Затем были изувечены четверо рабов сенатора Варрона, посланные отомстить за собак. Бандит лишил их гениталий, чтобы они в дальнейшем ни в чем не превосходили своего хозяина.

Тогда на него устроили настоящую облаву, которой руководили опальные офицеры Четырнадцатого легиона. Облава кончилась ничем: сожгли пустую развалюху, в которой ютился он с Прохором, разбили единственный его горшок со вчерашней похлебкой да захватили несколько коз, случившихся неподалеку и вряд ли ему принадлежавших.

Той же ночью поселок *приках-ты* запылал, подожженный с четырех концов пастухами-фригийцами, а бандит со своим Прохором, нагрузившись скарбом сенатора Варрона, ушел в горы. Таким образом, развеселое приключение изнывавших от скуки крестников трех императоров превратилось в тяжелую и бессмысленную войну с абorigенами, окончившуюся лишь месяц спустя капитуляцией на достаточно унижительных условиях.

Иоанн-Агасфер стал жить в горах. С точки зрения стороннего наблюдателя, это было чисто растительное существование. Он ничего не делал, только ел да спал. Приносил воду и добывал пищу Прохор. Иногда

приходили пастухи. Не здороваясь, садились у костра и пили кислое вино, принесенное с собой в облезлых мехах. Тогда Иоанн напивался. Иногда ему хотелось женщину. Свободных женщин на острове не было. Он обходился козами. Никаких иных желаний у него не возникало. Собственно, он был счастливейшим человеком своего времени: ему не надо было работать, и все, чего он желал, было у него под рукой.

Вокруг него ничего не происходило.

Зато внутри него происходили вещи, поистине поразительные, и он с тревогой и изумлением впитывал их в свое сознание часами напролет, валяясь на шкурах в убогом шалашике. Началось это, несомненно, от римского яда, когда он трупом плавал в луже собственной блевотины на полу экзекуторской. Это продолжалось сквозь нестерпимую боль, когда его варили у Латинских ворот. И с тех пор это не прекращалось. Были ли это голоса, теперь уже вполне ясно и внятно рассказывающие ему о принципах и законах бытия? Возможно. Возможно, это были именно голоса. Были ли это видения, яркие и огромные, видения того, что было, того, что будет, того, что есть? Да, очень может быть. Он видел. Он видел, он обонял, он осязал, он ужасался и восторгался. Но он не участвовал.

Долгое время он думал, что это боги говорят с ним, что они готовят его к какому-то великому деянию и наделяют его для этого нечеловеческим знанием, — всезнанием наделяют они щедро его. Но по мере того, как сознание его наполнялось, по мере того, как вселенная вокруг него и в нем самом становилась все огромнее, все понятнее, все яснее в своих неисчислимых связях, протянутых в прошлое и будущее, все проще в своей неизреченной сложности, — по мере того, как все это происходило, он все тверже укреплялся в мысли, что никаких богов нет, и нет демонов, и нет магов и чародеев, что ничего нет, кроме человека, мира и истории, и все то, что озаряет его сейчас, идет не извне, а изнутри, из него самого, и что никаких таких особенных деяний не предстоит ему, а предстоит ему просто жить вечно, со всей вселенной внутри.

Замечательно, что в минуты бодрствования, пока он пожирал печеную рыбу, или глотал квашеное молоко, или подбирался к похотливой козе, он оставался прежним Иоанном-Агасфером, и даже не Иоанном-Агасфером, а попросту Иоанном Боанергесом — диким, хищным, простодушным галилеянином, не знающим грамоты и живущим только пятью чувствами и тремя вожделениями. Даже память об Учителе уже попустила в нем, оставив лишь смутное ощущение неопределенной ласковой теплоты.

Он никогда не мог похвастаться хорошей памятью, если это не касалось мести и ненависти. В часы бодрствования сверхзнание его спало в нем, как Левиафан в толще вод, и если бы в такие часы его спросили, например, почему восходят и заходят небесные светила, он просто не понял бы вопроса. И если бы самому ему пришло в голову задаться вопросом, почему, например, дети похожи на родителей, он бы только подивился неожиданному баловству мысли, узревшей вопрос в естественном порядке вещей, а искать ответ он бы даже не попытался.

Знание просыпалось в нем неожиданно и всегда помимо воли. Как правило, это случалось в минуты крайнего раздражения, когда достигали его приступы нетерпимости к людям, к их глупости, к их самоуверенной болтливости, к их рабскому наслаждению собственным ничтожеством перед высшими силами — богами, жрецами или властями, — к их животному.

Впервые это случилось жарким летним вечером, когда солнце уже зашло и возле тлеющего костра шла неторопливая, специфически мужская беседа под мо-

лодое самодельное вино. Обыкновенным путем разговор от женщин перешел на коз, и пастухи с большим знанием дела принялись толковать Иоанну и Прохору все тонкости этого приятного занятия: по каким признакам следует выбирать животное; каким образом надлежит подготовить его к употреблению; а главное, какие меры надо принять, чтобы и в удовольствии ничего не было потеряно и чтобы не случилось скверного — чтобы не зачать чудовище.

Иоанн-Агасфер ничего не имел ни против мужской беседы, ни против козлиного поворота ее. Но когда пастухи понесли чепуху о козлолюдях, об их ужасном облике, об их кровавых повадках, когда вранье пошло громоздиться на вранье, когда наперебой и безудержно пошли мешаться авторитетные ссылки на богов и дедов, когда под треск раздираемых на грудях козлых шкур пошли в ход свидетельства очевидцев и непосредственных виновников, вот тогда Иоанн-Агасфер не выдержал. Он заговорил. Он сказал этим крикливым дуракам, что потомство коз от людей невозможно. (Он только что с совершенной ясностью понял, что знает это и, более того, совершенно точно знает, почему это невозможно.) Он попытался объяснить им, почему это невозможно. Впервые в жизни он ощутил, как это мучительно, когда все понимаешь, но не хватает слов. Лингвистическое удушье.

Они не поняли его. Он стал кричать. Он бил кулаками в каменистую землю. Он сплетал и расплетал пальцы, сляясь продемонстрировать механизмы. Он заикался, как паралитик. Он заплевал себе всю бороду. Пастухи в ужасе разбежались, и он остался один — только Прохор рядышком с привычной сноровкой орудовал стилем по мятому листу грязноватого пергамента. Иоанн заплакал, швырнул в него головешкой и упал лицом в землю.

Ему пришлось учиться рассказывать. Он оказался способным рассказчиком. И очень скоро обнаружилось в нем четвертое вожделение: жажда делиться знанием. Это было что-то вроде любви. Здесь тоже нельзя было торопиться, а надлежало быть (если хочешь получить исчерпывающее наслаждение) обстоятельным, вкрадчивым, ласковым и нежным к слушателю. Приступы внезапного раздражения его против людской тупости, самодовольства и невежества не прекращались, но теперь сверхзнание его уже не нуждалось в них, чтобы изливаться совершенно свободно. Теперь ему достаточно было лишь корректной оппозиции. Это заставляло Иоанна искать партнеров.

Он сильно переменялся к интеллигенции. Ему стали нравиться люди читающие и исполненные любопытства к окружающему миру. Разумеется, с его высоты начитанность их представляла собою всего лишь систематизированное незнание, более или менее сложный комплекс неверных, ошибочных или неточных образов мира, но образование вооружило их логикой, скепсисом и пониманием извечной невозможности объять необъятное.

Он стал своим человеком в колонии прикахтов.

А Прохор все записывал.

Но было бы неправильным утверждать, будто Прохор записывает каждое слово своего возлюбленного пророка, хотя сам-то Прохор был искренне уверен, что ни единое слово не пропало втуне. Он начал записывать еще у Латинских ворот. Он продолжал записывать на галере, которая везла их на Патмос, мечущегося в бреду Иоанна, с которого кожа слезала, как со змеи. На Патмосе, пока сверхзнание вызревало в нем, Иоанн-Агасфер разговаривал во сне. Прохор записывал и эти речи — горячечные беседы Иоанна с воображаемыми богами.

Он записывал, когда взбешенного Иоанна рвало знаниями перед перепуганными пастухами. Он запи-

сал диспут Иоанна с Плинием Старшим, высадившимся на Патмосе проездом, чтобы забрать помилованного вождя германцев. И диспут с Юстом Тивериадским, прибывшим на Патмос специально встретиться с удивительным ученым. И еще многие и многие диспуты записал он, пока сам не научился умело заданными вопросами побуждать к извержению вулкан знаний своего пророка.

Так рождался АПОКАЛИПСИС, «Откровение Иоанна Богослова», знаменитый памятник мировой литературы, который сам Иоанн-Агасфер называл не иначе, как кешер (словечко из арамейской фени, означающее примерно то же самое, что нынешний «рöман», — байка, рассказываемая на нарах в целях утоления сенсорного голодания воров в законе). Ибо между тем, что рассказывал Иоанн, и тем, что в конечном счете возникало под стилем Прохора, не было ничего общего, кроме, может быть, страсти рассказать и убедить.

Иоанн-Агасфер говорил, бредил и рассказывал, естественно, по-арамейски. На арамейском Прохор был способен объясниться на рынке, и не более того. Писал же он и думал, естественно, по-гречески, а точнее — на классическом койне.

Далее. У Иоанна-Агасфера поминутно не хватало слов, чтобы передать понятия и образы, составляющие его сверхзнание, и ему все время приходилось прибегать к жестам и междометиям. Сознание его вмещало всю вселенную от плюс до минус бесконечности в пространстве и времени, и как ему было объяснить молодому (а хотя бы и пожилому!) уроженцу Херонеи, сыну вольноотпущенника от иберийской рабыни, что такое: пицаль, гравилет, ТВЭЛЫ, литекантроп, мутант, гомункулус, партеногенез, Линия доставки, протуберанец, многомерное пространство, инкунабула, Москва, бумага, бронепоезд, капитализм, нуль-Т, римско-католическая церковь, магнитное поле, облачный город, лазер, инквизиция... Он и сам-то, Иоанн-Агасфер, не умел не только объяснить, но и просто назвать эти понятия, предметы и явления. Он всего лишь ЗНАЛ о них, он только имел представление о них и о связях между ними. Однако Прохор был великий писатель и, как все великие писатели, прирожденный мифотворец. Воображение у него было развито превосходно, и он с неописуемым проstonдущим и уверенностью заполнял по своему разумению все зияющие дыры в рассказах и объяснениях пророка.

Далее. Прохор изначально убежден был в том, что перед ним действующий пророк во плоти. Иоанн-Агасфер делился знанием, Прохор же записывал пророчества. Смутность, непонятность и бессвязность Иоанновых рассказов только укрепляли его в убеждении, что это, конечно же, и именно пророчества. И задачу свою он видел в том, чтобы растолковать, привести в систему, расставить по местам, связать воедино. Он вычленил главное, он безжалостно отсекал второстепенное, он искал и находил всем доступные образы, он обнаруживал и выявлял смысл, а когда он считал необходимым, то скрывал смысл, он выстраивал сюжет, он выковывал ритм, он ужасал, вызывал благоговение, дарил надежду, ввергал в отчаяние...

В результате он создал литературное произведение, обладающее совершенно самостоятельной идейно-художественной ценностью. Как и большинство крупных литературных произведений, оно не имеет ничего общего со стимулами, которые подвигли автора на написание. Поэтому толковать получившийся кешер можно множеством способов в зависимости от идейных установок и даже эстетических вкусов толкователя.

Насколько известно, ни один из толкователей не

принял во внимание того замечательного и, может быть, решающего факта, что значительную и плодотворную часть своей жизни (как-никак четыре десятка лет) Прохор провел в окружении прикахтов, в клокочущем котле оппозиционерских страстей, где бок о бок варились и яростные ненавистники Рима, и чрезмерные его паладины, и те, кто считал Рим тюрьмой народов, и те, кто полагал, что пора, наконец, решительно покончить с гнилым либерализмом. В этом бурлящем котле варились и переваривались самоновейшие слухи, сплетни, теории, предсказания, опасения, анекдоты, надежды, и Прохор, безусловно, был в курсе всего этого бурления. Он не мог не испытывать на себе, как и всякий великий писатель, самого глубокого воздействия этого окружения.

Так появляется еще одно возможное толкование Апокалипсиса, на этот раз как остросовременного сверхзлободневного политического памфлета, в котором элементы пророчества должны рассматриваться не более как литературный прием, с помощью которого до современника доводилась идея неизбежности трудного и страшного конца Римской империи. Главный же кайф современник должен был ловить, узнавая знакомую атрибутику римской иерархии, римской персоналии, римской инфраструктуры в чудовищных образах Зверя, железной саранчи и прочего. Во всяком случае, когда в конце шестидесятых Прохор, переводя с листа, читал Иоанну-Агасферу избранные отрывки из своего Апокалипсиса, пророк хлопал себя по коленям от удовольствия и, похохатывая, приговаривал: «Да, сынок, тут ты их поддел, ничего не скажешь, молодец...» А когда чтение закончилось, он, сделав несколько чисто стилистических замечаний, предрек: «Имей в виду, Прохор, этой твоей штуке суждена очень долгая жизнь, и много голов над ней поломаются...»

Конечно, сейчас, спустя две тысячи лет, никто уже не способен воспринимать Апокалипсис Прохора как политический памфлет. Но ведь и другое великое явление мировой литературы. «Божественную комедию» Данте, тоже не воспринимают как политический памфлет, хотя и задумана, и исполнена она была именно в этом жанре.

А много лет спустя, когда не было уже ни Прохора, ни прикахтов, ни самой Римской империи, пришла однажды Иоанну-Агасферу в голову странная мысль: не был Апокалипсис Прохора ни мистическим пророчеством о судьбах ойкумены, ни политическим памфлетом, а был Апокалипсис на самом деле тщательно и гениально зашифрованным под литературное произведение грандиозным планом всеобщего восстания колоний-провинций против Рима, титанической диспозицией типа «ди ерсте колонне марширт...», в которой все имело свой четкий и однозначный военно-политический смысл — и востребование каждого из ангелов, и цвет коней, на коих въезжали в историю всадники, и Дева, поражавшая Дракона... И применена была эта диспозиция впервые (некоей своей частью) во времена Иудейской войны и, вполне по Л. Н. Толстому, обнаружила при столкновении с реальностью полную свою несостоятельность.

20. Самым трудным оказалось взгромоздить эту проклятую картину на наш этаж. Она оборвала мне руки, с меня семь потов сошло, два раза я ронял шапку, всю извальял в грязи и пыли. Я оцарапал щеку о золоченый багет. Где-то на середине подъема стекло хрустнуло, и сердце мое оборвалось от ужаса, однако все кончилось благополучно. Задыхавшись, из последних сил, я протащил картину через коридор, внес в Комнату и прислонил к стене: полтора на полтора, в тяжеленном багете и под стеклом.

Пока я переводил дух, утирался, отряхивал шапку,

еле шевеля оторванными руками, из столовой появился Агасфер Лукич — прямо из-за стола. Он что-то аппетитно дожевывал, причмокивая, пахло от него жареным лучком, уксусом и кинзой.

— М-м-м! произнес он, остановившись перед картиной и извлекая из жилетного кармана зубочистку. — Очень неплохо, очень... Вы знаете, Сережа, это может его заинтересовать. Дорого заплатили?

— Ни копейки, — сказал я, отдуваясь. — С какой стати! А если не подойдет?

— И как это все вместе у нас называется?

— Не помню... Мотоцикл какой-то... Да там написано, на обороте. Только по-немецки, естественно.

Агасфер Лукич живо сунулся за картину, весь туда залез, так что только лоснящаяся задница осталась снаружи.

— Ага... — произнес он, выпрастываясь обратно. — Все понятно. «Дас моторрад унтер дем фенстер ам зоннтаг морген». — Он посмотрел на меня с видом экзаметатора.

— Ну, мотоцикл... — промямлил я. — В солнечное утро... Под дверями, кажется...

— Нет, — сказал Агасфер Лукич. — Это живописное произведение называется «Мотоцикл под окном в воскресное утро».

Я не спорил. Некоторое время мы молча разглядывали картину.

На картине была изображена комната. Окно открыто. За окном угадывается утреннее солнце. В комнате имеют место: слева — развороченная постель с ненормальным количеством подушек и перин; справа — чудовищный комод с выдвинутым ящиком, на комод — масса фарфоровых безделушек. Посередине — человек в исподнем. Он в странной позе — видимо, крадется к окну. В правой руке его, отведенной назад, к зрителю, зажата ручная граната. Все. В общем, понятно: аллегорическая картина на тему «Береги сон своих сограждан».

— Больше всего ему должна понравиться граната, — убежденно произнес наконец Агасфер Лукич, вовсю орудуя зубочисткой.

— «Лимонка», — сказал я без особой уверенности. — По-моему, у нас они давным-давно сняты с вооружения.

— Правильно, «лимонка», — подтвердил Агасфер Лукич с удовольствием. — Она же «фенька». А в Америке ее называют «пайн-эппл», что означает — что?

— Не знаю, — сказал я, принимаясь снимать пальто.

— Что означает «ананаска», — сказал Агасфер Лукич. — А китайцы называли ее «шоулюдань»... Хотя нет, «шоулюдань» — это у них граната вообще, а вот как они называли «Ф-1»? Не помню. Забыл. Все забывать стал... Обратите внимание, у нее даже запал вставлен... Очень талантливый художник. И картина хорошая...

Я оставил его любоваться произведением живописи, а сам вернулся в прихожую повесить пальто. И вообще переоделся в домашнее. Когда я вернулся, Агасфер Лукич по-прежнему стоял перед картиной и разглядывал ее через два кулака, как детишки изображают бинокль.

— Но, во-первых, — сказал он, — во-первых, я не вижу мотоцикла. Мало ли что он пишет «дас моторрад», а на самом деле там у него, скажем, шарманщик. Или, страшно сказать, ребяташки с гитарой... Это во-первых. А во-вторых... — Глаза его закатились, голос сделался страдальческим. — Статично у него все! Статично! Воздух есть, свет, пространство угадывается, а движение где? Где движение? Вот вы, Сережа, можете мне сказать: где движение?

— Движение в кино, — сказал я ему, чтобы отвя-
заться. Мне очень хотелось есть.



— Кино...— повторил он с неудовольствием.— В кино-то в кино... А давайте посмотрим, как у него дальше там все развивается!

Человек на картине пришел в движение. Он хищно подкрался к окну, кошачьим движением швырнул наружу «лимонку» и бросился животом на пол под подоконник. За окном блеснуло. На нас с Агасфером Лукичом посыпался с потолка мусор. Звякнули стекла — в нашем окне. А за тем окном, что на картине, взлетел дым, какие-то клочья, и взвилось мотоциклетное колесо, весело сверкая на солнце многочисленными спицами.

— О! — воскликнул Агасфер Лукич, и картина вновь застыла.— Вот теперь то, что надо. Ясно, что мотоцикл. Не шарманщик какой-нибудь, а именно мотоцикл.— Он снова сделал из кулаков бинокль.— И не вообще мотоцикл, Сережа, а мотоцикл марки «цундап». Хороший когда-то был мотоцикл...— Он возвысил голос.— Кузнец! Ильмаринен! Подите сюда на минутку! Посмотрите, что мы вам приготовили... Сюда, сюда, поближе... Каково это вам, а? «Мотоцикл под окном в воскресное утро». Реализовано гранатой типа «Ф-1», она же «лимонка», она же «ананаска». Граната, к сожалению, не сохранилась. Тут уж, сами понимаете, одно из двух: либо граната, либо мотоцикл. Мы тут с Сережей посоветовались и решили, что мотоцикл будет вам интереснее... Правда, забавная картина?

Некоторое время Демиург молчал.

— Могло бы быть и хуже,— проворчал он наконец.— Почему только все считают, что он пейзажист? Хорошо. Беру. Сергей Корнеевич, выдайте ему двести... нет, полтораста рейхсмарок, обласкайте. Впредь меня не беспокойте, просто берите все, что он предложит... Каков он из себя?

Я пожал плечами.

— Бледный... прыщавый... рыхлое лицо. Молодой, черная челка на лоб...

— Усы?

— Усов нет. И бороды нет. Очень заурядное лицо.

— Лицо заурядное, живопись заурядная... Фамилия у него незаурядная.

— А какая у него фамилия? — встрепнулся Агасфер Лукич и нагнулся к самому полу, сиюсь прочесть подпись в правом нижнем углу.— Да ведь тут только инициалы, мой Птах. А и С латинские...

— Адольф Шикльгрубер,— проворчал Демиург. Он уже удалялся к себе во тьму.— Впрочем, вряд ли это имя что-нибудь вам говорит...

Мы с Агасфером Лукичом переглянулись. Он строил скорбную гримаску и печально развел руками.

21. — ...Трудно мне вас понять, Агасфер Лукич,— сказал я наконец этому страховому лжеагенту.— Все-то вы толкуете о своем всезнании, а, о чем вас ни спросишь, ничего не помните. Апостолов — поименно — не помните. Где у Дмитрия стоял запасной полк — не помните, а ведь утверждаете, будто принимали личное участие... Библиотекарем Иоанна Грозного были, а где библиотека находилась — показать не можете. Как прикажете вас понимать?

Агасфер Лукич выпятил нижнюю губу и сделался важным.

— Чего же тут непонятного? Знать — это одно, а помнить — совершенно иное. То, что я знаю,— я знаю. И знаю я действительно все. А вот то, что я видел, слышал, обонял и осязал,— это я могу помнить или не помнить. Вот вам аналогия, нарочно очень грубая. Блокада Ленинграда. Вы знаете, что она была. Знаете, когда. Знаете, сколько людей погибло от голода. Знаете про Дорогу Жизни. При этом вы сами там были, вас самого вывозили по этой Дороге. Ну, и много ли вы сейчас помните? Вы, который так чванится своей молодой памятью перед, мягко выражаясь, старым человеком!

— Ладно, ладно, не горячитесь,— сказал я.— По-

нял. Только опять вы все перепутали. Не был я в блокаде. Меня тогда еще и на свет не родили.

22. На небольших глубинах теплых морей, а также в чистых реках Севера обитают на дне хорошо всем понаслышке известные моллюски из класса двусторчатых (бивалвия). Речь идет о так называемых жемчужницах. Морские жемчужницы бывают огромные, до тридцати сантиметров в диаметре и до десяти килограммов весом. Пресноводные — значительно меньше, но зато живут до ста лет.

В общем, это довольно обыкновенные и невзрачные ракушки. Употреблять их в пищу без крайней необходимости не рекомендуется. И пользы от них не было бы никакой, если бы нельзя было из этих раковин делать пуговицы для кальсон и если бы не заводился в них иногда так называемый жемчуг (в раковинах, разумеется, а не в кальсонах). Строго говоря, и от жемчуга пользы немного, гораздо меньше, чем от пуговиц, однако так уж повелось испокон веков, что эти белые, розовые, желтоватые, а иногда и матово-черные шарики углекислого кальция чрезвычайно высоко ценятся и числятся по разряду сокровищ.

Образуются жемчужины в складках тела моллюска, в самом, можно сказать, интимном местечке его организма, когда попадает туда по недосмотру или по несчастливой случайности какой-нибудь посторонний раздражающий предмет — какая-нибудь колючая песчинка, соринка какая-нибудь, а то и, страшно сказать, какой-нибудь омерзительный клещ-паразит. Чтобы защититься, моллюск обволакивает раздражителя перламутром своим, слой за слоем, — так возникает и растет жемчужина. Грубо говоря, одна жемчужина на тысячу раковин. А стоящие жемчужины — и того реже.

Где-то в конце восьмидесятых годов, в процессе непрекращающегося расширения областей своего титанического сверхзнания, Иоанн-Агасфер обнаружил вдруг, что между двусторчатыми раковинами вида *П. маргаритафера* и существами вида *хомо сапиенс* имеет место определенное сходство. Только то, что у *П. маргаритафера* называлось жемчужиной, у *хомо сапиенс* того времени было принято называть тенью. Харон перевозил тени с одного берега Стикса на другой. Навсегда. Постепенно заполняя правобережье (или левобережье?), они бродили там, стеная и жалуюсь, погруженные в сладостные воспоминания о левобережье (или правобережье?). Они были бесконечны во времени, но это была незавидная бесконечность, и поэтому ценность теней как товара была в то время невысока. Если говорить честно, она была равна нулю. В отличие от жемчуга.

Люди того времени воображали, будто каждый из них является обладателем тени. (Так, может быть, раковины *П. маргаритафера* воображают, будто каждая из них несет в себе жемчужину.) Иоанн-Агасфер очень быстро обнаружил, что это — заблуждение. Да, каждый *хомо сапиенс* в потенции действительно способен стать обладателем тени, но далеко не каждый сподоблялся ее. Ну, конечно, не один на тысячу, все-таки чаще. Примерно один из семи-восьми.

Некоторое время Иоанн-Агасфер развлекался этой новой для себя реальностью. Азарт классификатора и коллекционера вдруг пробудился в нем. Тени оказались замечательно разнообразны, и в то же время в разнообразии этом угадывалась удивительной красоты и стройности схема, удивительная структура, многомерная и изменчивая. Он углубился в анализ этой структуры. Ему пришлось создать то, что значительно позже будет названо теорией вероятностей, математической статистикой и теорией графов. (Он

открыл для себя мир математики. Это открытие потрясло его.)

Попервоначально он обрадовался, обнаружив россыпи теней, как радуется старатель, наткнувшись на золотую россыпь. Он еще не понимал, кому и как он будет сбывать тени, однако, будучи человеком практичным и безжалостным, радовался тому, что является единственным в ойкумене обладателем некоего редкостного товара. Он стал прикидывать организацию торговой компании. Возбуждение общественного спроса на тени. Массовая скупка товара. Создание рынков сбыта в Риме, в Александрии, в Дамаске, выход по «шелковому пути» к парфянам и дальше, в Китай... Очень скоро это надоело ему. Он пережил свой меркантилизм, как переживают романтическую любовь.

И тогда он вдруг понял, что открыл для себя, чем ему заполнить предстоящую необозримую вечность. Он будет искать, обнаруживать и приобретать все новые и новые жемчужины. Он будет неторопливо, но глубоко познавать механизмы их сродства и взаимоотношения, природу их образования и развития, он постигнет закономерности их формирования и, может быть, научится вникать в них, сливаясь и срастаясь с ними. Он научится обустраивать и формировать историю вида *хомо сапиенс* таким образом, чтобы выращивать именно те виды и сорта жемчужин, которые в данный миг, в данных условиях более всего привлекают и воспаляют его. Он мечтал уже о селекции и — кто знает? — может быть, о синтезировании их вне раковин... Он загорелся энтузиазмом, будущее его наполнилось. Он был молод тогда и простодушен, все эти планы представлялись ему грандиозными, обещающими все на свете и неописуемо привлекательными. Так в наши дни маленький мальчик мечтает о счастье сделаться водителем мусоровоза.

Весь доступный ему на Патмосе материал он исчерпал в первый же год. Свои первые жемчужины он получил за глоток вина, за обломок ржавого ножа, за ловко рассказанную байку. Он недорого обошелся ему, да они немногого и стоили — мелкий тусклый грязноватый товарец для начинающего дилетанта. Однако жалеть о потерянном времени не приходилось: он отработывал технику, он делал первые маленькие открытия в области психологии раковины, он учился точно определять ценность товара, не подержав его в руках. Он учился разглядывать жемчужину сквозь створки. Несколько раз он ошибся. Он познал горечь и радость таких ошибок.

Он давно бы покинул остров, если бы не Прохор.

Прохор, сделавшийся к тому времени сухим, жилистым, козлообразным старикашкой, облезлым, вонючим, высокомерным, драчливым, брюзгливым, вызывающе неопрятным, — этот Прохор оказался носителем жемчужины удивительной, фантастической красоты!

Апокалипсис Прохора под именем «Откровение пророка Иоанна» уже вовсю ходил в самиздате и был знаком тысячам и тысячам знатоков и ценителей, фанатиков и скептиков. Первые яростные толкователи его уже появились, и появились первые его мученики, распятые при дорогах или зарезанные на базарных площадях. Имя Иоанна гремело. Что ни месяц, на острове появлялся новый адепт, чтобы припасть к ногам пророка, поцеловать край его лохмотьев и вкушать от его мудрости из уст в уши. Как правило, были они все безудержно фанатичны, неумны и слышали только то, что способны были воспринимать жалкими своими извилинами. По сути дела, это были глухие. Иоанн отправлял их к Прохору.

Сначала Прохор стеснялся навязанной ему роли. Потом по привычке и только строго поправлял паломни-

ков, когда те пытались называть его Иоанном. А спустя какое-то время и поправлять перестал. Что и говорить, из них двоих именно Прохор был более похож на пророка. Ведь Иоанн не старился, он так и оставался крепким сорокапятилетним мужчиной с разбойничьими глазами, без единого седого волоска в бороде, и весь облик его ничего иного не выражал, кроме готовности в любую минуту обойтись с любым собеседником без всяких церемоний.

Году этак в девяностом Прохор уже впал в старческий маразм. Гордыня окончательно помutilа его мозги. В состоянии помутнения повадился называть он Иоанна Прохором и даже Прошкой, пытался ему диктовать свое евангелие, которое должно было стать лучше всех других, известных к тому времени вариантов описания жизни Учителя, самым полным, самым точным, самым содержательным в идейном отношении. При этом имелось в виду, что в конечном итоге оно самым естественным образом станет единственным. В минуты просветления он плакал, пытался возлечь на грудь Иоанна, каялся в непомерном своем честолюбии и жадно выпрашивал все новые и новые подробности времен ученичества Иоанна в звании апостола.

Его можно было понять. Он был стар. Он проделал огромную и замечательную работу, написав Апокалипсис. Он привык изображать Иоанна, и больше всего на свете хотелось ему теперь хотя бы остаток жизни своей прожить не просто признанным, но и подлинным Иоанном Боанергесом.

Идея сделки лежала на поверхности. Иоанн сделал осторожное предложение. Предложение было принято немедленно. Совесть каждого смущенно улыбалась. Каждому казалось, что он получил теленка за курицу. Они расстались, довольные собой и друг другом, — облезлый козлообразный пророк Иоанн отправился принимать очередную делегацию паломников из Эфеса, а крепкий и агрессивный Агасфер, держа под мышкой узелок с жемчугами, спустился в гавань и купил место на первый же баркас, уходящий к материку.

Начинался новый, бродячий период жизни Агасфера, Вечного Жида, Искателя и Ловца Жемчуга Человечьего.

Десяток лет спустя, находясь в Йасрибе, в славной лагуне человеческого моря, полной жемчуга, он узнал от Ибн-Кутейбы, странствующего поэта и новообращенного христианина, что святой Иоанн по прозвищу Богослов, великий пророк и один из апостолов Иисуса Христа, скончался в девяносто восьмом году в Эфесе.

Замученный жаждой посмертной славы, неутолимый Прохор даже помереть себе не позволил впрямую, по-человечески. Он велел закопать себя живьем при большом стечении народа.

Воистину, прав был Эпиктет, сказавши: «Человек — это душонка, обремененная трупом».

23. Теперь их было уже трое. И у каждого...

ДНЕВНИК. Уже 20 июля. Ночь, 1.30.

Около одиннадцати позвонил снизу Ваня Дроздов и предложил встретиться. Срочно. Мы встретились в «Кабачке», и он с ходу объявил мне: «Ну, все. Доигрались вы со своим Носовым». Он был взвинчен до последней степени, я даже перепугался. Оказалось (по его словам), что статья Г. А. привела город в необычайное враждебное возбуждение. Все теперь жаждут его крови, а заодно жаждут стереть с лица земли наш лицей. Как рассадник и гнездо. Завтра с утра ждите пикетов, и еще скажите спасибо, если это будут пикеты от нашего молокозавода, у нас все-таки нет таких обалдеев, как на крупнопанельном или, там, на

«тридцатке». Г. А. одного в город не выпускать — ни в коем случае, рядом чтобы не меньше трех мужиков, да поздоровее, не таких, как ты...

Он меня, признаться, совсем запугал было, но я не дался и сказал ему: «Что ты мелешь, мы с Г. А. весь день по городу ходили, что ты панику разводишь, паникер?» «Это вы сегодня ходили, — сказал он. — Завтра уже не походите. Ты вообще-то знаешь, что в городе делается? Про детскую демонстрацию знаешь?» Я сказал, что знаю, потому что решил, что речь идет про ребятишек из специнтерната. Однако оказалось совсем не то.

Оказалось, что эти гады из управления пионерлагерей посадили с три сотни детишек в автобусы, свезли на площадь перед горсоветом и устроили там отвратительный цирк. Между прочим, с полного одобрения огромной толпы идиотов-родителей. Ребятишкам сунули в лапы какие-то дурацкие лозунги, заставили их выкрикивать какие-то дурацкие требования, а вокруг бесновались наши доблестные добры молодцы, порывавшиеся бить в горсовете стекла. Все это Ваня видел своими глазами, потому что стоял в оцеплении и всячески добрых молодцев урезонивал.

Длился этот пандемоний минут двадцать, а потом на своей «ноль сорок третьей» примчалась ураганом красotka Рива и учинила всеобщий разгон. Детишек в два счета повезли в Ташлинский Центр смотреть новейшую серию «Термократора», родители были расточены и разогнаны, добры молодцы обратились в бегство, а всех остальных Рива уволила на месте. Осталось одно оцепление. Оно постояло-постояло и пошло на работу.

Рассказ этот вызвал у меня самые неприятные ощущения. С одной стороны, конечно, силы разума победили, а с другой — дикость ведь, двадцатый век! Главное, я никак не мог понять: зачем была эта демонстрация? Что им было надо? И кому, собственно? Иван утверждает, что город недоволен мэром. Весь город настроился на «субботник», все уже готово, а мэр тянет и тянет. Надо его подхлестнуть, труса мордастого. Вот его и подхлестывают.

«А ты-то кудамотришь? — спросил я, ощутивши вдруг приступ неописуемой злости. — Тоже на «субботник» настроился? А ведь я тебя держал за приличного человека». И мы тут же поцапались.

Ни в чем я его убедить не смог — может быть, потому, что сам потерял ориентировку. Все-таки это довольно нелепая ситуация — ты говоришь: «Так делать нельзя», — а когда тебя спрашивают: «А как нужно?» — ты отвечаешь: «Не знаю».

В конце концов Иван угрюмо сказал: «Ладно. Я сюда не спорить пришел. У тебя свое, у меня свое. Ты про Носова своего все понял, что я тебе сказал?» Я ответил, что не верю во всю эту чушь. Г. А. в городе — человек номер один, тут и говорить не о чем. Иван возразил мне, что это вчера Носов был человек номер один, а нынче он и на шестерку еле-еле тянет. «Я тебя предупредил, дурака, — сказал он мрачно. — А там уж как знаете».

На том мы и расстались, и я сразу же побежал к Г. А. Оказалось, что у Г. А. в кабинете собрались все. Пока я разговаривал с Иваном, Г. А. сам собрал всех у себя. Он получил ту же информацию по своим каналам и теперь инструктировал нас, как нам должно себя вести в сложившейся ситуации. Спокойствие, выдержка, достоинство. В город выходить только по двое. Девочек сопровождать. Но! Силовые приемы — только в самых крайних случаях. Субакс не использовать вообще. Говорить, объяснять, спорить. Ситуация хотя и не уникальная, но в наше время достаточно редкая: дискуссия с враждебно настроенной толпой — не с коллективом, а с толпой. Хорошая прак-

тика. Такой редкий случай мы упускать не имеем права. И так далее.

Я встал и поднял вопрос о его, Г. А., безопасности. В конце концов главная злоба города направлена не против нас, не против лицей, а против Г. А. лично. К моему огромному изумлению, Г. А. тут же согласился, чтобы его при выходе в город сопровождал эскорт. Однако при этом он тут же добавил: мы должны знать и помнить, что не только он, Г. А., но и наш лицей как учреждение определенного типа давно уже является бельмом на глазу у некоторой части городского чиновничества. Поэтому в будущих дискуссиях мы должны быть готовы защищать и отстаивать право и обязанность нашего лицей на существование. «То, что под ударом сейчас оказался я,— это полбеды, а самая беда в том, что кое-кто использует ситуацию, чтобы поставить под удар наш лицей и всю систему лицеев вообще».

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Напоминаю: действие происходит в тридцать третьем году. В следующем году появится печально знаменитое постановление Академии педнаук о слиянии системы лицеев с системой ППУ, в результате чего долгосрочная правительственная программа создания современной базы подготовки педагогических кадров высшей квалификации окажется подорванной. Глухая подспудная борьба, имевшая целью уничтожение системы лицеев, шла с конца двадцатых годов. Основное обвинение против лицеев: они противоречат социалистической демократии, ибо готовят преподавательскую элиту. По сути дела, антидемократическим объявлялся сам принцип зачисления в лицей — принцип отбора детей с достаточно ярко выраженными задатками, обещающими — с известной долей вероятности — развернуться в педагогический талант. Ташлинский лицей оказался только первой жертвой тогдашней АПН.)

Потом разговор перекинулся на статью. Выяснилось, что все мы восприняли ее по-разному. Но самым разным оказался, как всегда, наш Аскольд. Он объявил, что эта статья есть большая ошибка Г. А. Ни в какой мере не затрагивая основных положений этой статьи, с которыми он вполне согласен, он тем не менее хочет подчеркнуть, что Г. А. выступил здесь как поэт и социолог, в то время как от него (по мнению Аскольдика) требовалось выступление педагога и политика. В результате вместо того, чтобы утихомирить взбуждавшуюся стихию, он возбудил ее еще больше.

Г. А. возразил, что у него и в мыслях не было кого бы то ни было утихомиривать, он ставил перед собой совсем другую задачу — заставить задуматься тех людей, которые способны задуматься.

В ответ на это распоясавшийся Аскольд объявил, что и эту свою задачу Г. А. не выполнил. Своей статьей он ухитрился оскорбить весь город, чуть ли не каждого доброго гражданина, так что десять человек в городе, может быть, и задумались, но зато десять тысяч только вконец остервенились.

Г. А. не стал с ним спорить. «Десять задумавшихся — это совсем не так мало,— сказал он примирительно.— Дай бог каждому из вас на протяжении всей вашей жизни заставить задуматься десять человек. Не к народу ты должен говорить,— продолжал он, возвысив голос с иронической торжественностью,— но к спутникам. Многих и многих отманить от стада — вот для чего пришел ты. Откуда?» Никто не знал, и Г. А. сказал: «Нищце. Это был большой поэт. Однако ему весьма не повезло с поклонниками».

И велел всем нам идти спать.

ДНЕВНИК. 20 июля. 11 утра.

Мы в осаде.

В семь утра нас поднял на ноги дикий рев, лязг, гром, одним словом, оглушительная какофония. Я бросился к окну. Вдоль всего фасада растянулась толпа прилично одетых павианов. Добры молодцы. Человек двести, наверное. Все кривляются, все размахивают конечностями и неслышно орут на нас. У каждого функен, включенный на полную мощность, и, кроме того, они приволокли еще десяток стационарных звучков, каждый ватт на сто, и эти звуки тоже работают вовсю. Надо же — не поленились! Не поленились притащить звуки, не поленились подняться в такую рань, не поленились наклеивать плакаты. На плакатах: «Носов, убирайся из города!», «Долой дворянское гнездо!», «Лицейсты, стыдно! Вы должны быть с нами!». Морды потные, налитые, волосы дыбом, как у диких, пасти разинуты, но что орут — ничего не слышно за музыкой.

Между ними и лицеем вдоль тротуара стоят редкой цепочкой спиной к нам ребята из городского патруля. (Не без удовольствия узнал я среди них Сережку Сенько, Рената Гияттулина, Рейнгарта Хансена с биологического и — с особенным удовольствием — Ивана моего родимого Дроздова.) Не знаю, как уж они там договорились с добрыми молодцами, но те ближе, чем на два шага, к ним не приближаются. Не сразу заметил я в сторонке два «лунохода» и кучку милиционеров. Угрюмых. Происходящее им явно не нравится. Издержки демократии.

Сначала все это показалось мне скорее забавным. Потом, когда я ознакомился с лозунгами, я испытал сильнейший приступ естественного раздражения. Но страха вначале не было совсем, это я помню точно.

Однако пять минут спустя мне пришлось принять участие в нелегкой процедуре обуздания и остужения нашего Аскольда. Будучи настоящим суперменом и чемпионом города по субаксу, он побелел лицом, выпятил челюсть и танком двинулся вниз по лестнице к выходу — наводить порядок. Исполненный железной твердости, беспощадной последовательности и абсолютной непримиримости. Девчонки с визгом повисли на нем с двух сторон, но он их даже и не заметил. Пришлось тут уж и мне тряхнуть стариной, и только втроем мы сначала притормозили, а в вестибюле и остановили его неудержимое движение. Румянец вернулся ему на щеки, он принес нам извинения за свою горячность, и мы все направились к Г. А.

И вот тут на меня накатило. Воображение мое ни с того ни с сего нарисовало мне картину, как Аскольд вырывается от нас, врезается в толпу — и что тогда начинается? Лишь в этот момент я понял, что ничего забавного у нас тут не происходит, что все держится на волоске, и стоит этому волоску лопнуть, как волна зверства захлестнет и нас, и ребят из патруля, и милицию, — не только в том смысле, что зверье растерзает нас, но и в том смысле, что мы все сами сделаемся зверями.

(Страшная штука — неуправляемое воображение. Я уверен, что и Аскольдика подвело именно оно. Выглянул он в окошко, увидел эти кишащие зверья и испытал страх — но, будучи суперменом, бросился выбивать клин клином, с каждым шагом к выходу сам все более превращаясь в зверя.)

Пока мы шли к Г. А., мне объяснили, что лицей, оказывается, пуст. Кроме нас, в здании никого нет. Ни повара, ни библиотекаря, ни дежурного преподавателя — никого. Только Серафима Петровна не испугалась. Даже ночной вахтер таинственно исчез. Видимо, драпанул через хозяйственный выход.

Г. А. спустился нам навстречу. Он был совершенно такой, как всегда. Последовали распоряжения. Зойке и Аскольду — отправиться на кухню, готовить зав-

трак, а заодно и обед. Серафима Петровна уже там, будете на подхвате. Остальным заниматься своими делами. Кстати, где наш де Сааведра?

Де Сааведра тут же появился. Оказывается, все это время он торчал на крыше и снимал осаду на видео пленку, правда, к сожалению, без акустики. Смешной он был — востроухий, в одних трусах, и аппарат на ремне, как автомат. Г. А. посмотрел на него с одобрением и продолжал: к окнам желателно не подходить. То есть если очень интересно, то подходить, разумеется, можно, но при этом языки не показывать, козу не делать и вообще не совершать аллегорических телодвижений. Стекол жалко.

Мы разошлись по постам.

Пневмопочта работает. Я просмотрел газеты. Признаюсь, с отвращением. Все-таки настолько всеобщего взрыва озлобления и неприязни я не ожидал. В рамках держалась только «Ташлинская правда». Все же прочие наши газеты шипели и плевались, как ошпаренные коты.

Деятельность, несовместимая с высоким званием народного педагога... Проповедь ложных утверждений, противоречащих самым высоким идеалам социализма... Ядовитая проповедь провозглашения (проповедь провозглашения!) мира между трудом и тунеядством... Претензии на роль некоего гуру, проповедующего новую религию, проповедь взглядов, идейно разоружающих строителей коммунизма... Приговоры: запретить преподавательскую деятельность; выгнать на пенсию; в двадцать четыре часа выдворить из города — через посредство административной высылки в установленном порядке...

Более всего неистовствуют, конечно, наши обожаемые хрипуны. Но совсем ненамного отстают от них господа наробразовцы, молодежные вожди, заместители деканов и вообще кадровики всех мастей. Несколько рабочих с «тридцатки», пара мастеров-наставников с крупнопанельного и даже трое каких-то неедяк, видимо, насмерть перепуганных размахом происходящего. И уж совсем ни к селу ни к городу — военный комендант.

Что характерно: Ревекка не выступила. Милиция промолчала. Горсовет практически промолчал. Такое впечатление, что весь этот рык и рев — действительно глас народа. Видимо, Г. А. своей статьей попал в самое больное место, я даже не понимаю, в какое именно. О Флоре — почти не слова. Будто про нее забыли совсем. Мне даже пришло в голову, что Г. А., может быть, нарочно выступил со своей статьей, чтобы перевести огонь на себя. Чтобы они оставили в покое Флору и разрядились на него.

В нескольких газетах встретились мне какие-то непонятные намеки. Можем ли мы доверять подготовке будущих педагогов человеку, который оказался столь беспомощным в своих собственных, личных делах? Не следует ли предположить, что трогательная забота о тунеядствующей Флоре вызвана соображениями совершенно личными, весьма далекими от философии, социологии, педагогики? И снова: не следует ли Г. А. Носову разобраться сперва с собственными, частными делами, а потом уже заниматься общественными?

Я показал эти места Мишелю. Он странно взглянул на меня и спросил:

«Ты что — не знаешь, что ли?» Я не знал. «Вырастешь, Ига, узнаешь», — пробурчал Михей, и я вдруг понял, что узнать не хочу. Это какая-то гадость, ну ее к черту.

Ура! Наконец-то наш Ташлинок попал в центральную прессу. Не могу отказать себе в удовольствии — цитирую дословно из «Известий»:

«Ташлинок, 19 июля. На два месяца раньше срока запущена полностью автоматизированная линия по

производству высококачественных брынз на Ташлинском молочном комбинате имени Емельяна Пугачева...» И так далее.

А мы-то, дураки, тут переживаем!

Имеет место определенная эволюция звуков, раздающихся снаружи. Сначала была просто сумасшедшая какофония. Потом им это надоело (сами, видимо, оглохли), и они принялись развлекаться: громовыми голосами читали избранные выдержки из сегодняшних газет. Тоже надоело. Принялись паясничать: «Внимание, внимание! Через пять минут здание лица будет взорвано на воздух! Предлагается всем находящимся в здании капитулировать. Выходить без оружия по одному с интервалом в тридцать секунд, держа руки за головой. Первым выходит Носов, лично...» На этом месте диктора окончательно разбирает смех, и окрестности оглашаются громоподобным фырканием и хрюканием. Это им тоже надоело, и сейчас они гоняют Джихангира. Несколько сцепок пустились в пляс.

Аскольд наладил мегафон и предложил Г. А. выступить. «Чтобы они не думали, будто мы испугались и прячемся». Г. А. резко ответил: «Нет. Мне все равно, что они думают. Я не люблю их сейчас. Я не хочу с ними разговаривать».

РУКОПИСЬ «ОЗ» (23—25).

23. Теперь их было у нас уже трое, и у каждого был свой кабинет. В кабинете каждый из них спал, принимал пищу и посетителей, а также писал меморандумы, докладные, наставления, рекомендации, замечания и представления. Кроме того, у каждого был свой столик на кухне.

Кабинет Колпакова был светел, чист и пустоват. Петр Петрович был аскет. Канцелярский стол с двумя аккуратными пачками брошюр и справочных изданий. Железный ящик-сейф справа от стола. В углу за скромной ширмой — скромная раскладушка, застеленная серым шерстяным одеялом. У изголовья простая тумбочка, а на ней — Библия в издании Московской патриархии. Простой — и даже простейший — стул за столом и два таких же простейших стула у стены напротив стола. Голые стены: ни портретов, ни картин. Скромность и достоинство. Трезвость и целеустремленность. Умеренность и аккуратность. И чемодан с самым обыкновенным барахлом — под койкой.

Парасюхин же был апологетом безудержной роскоши. Он спешил жить. Он дорвался. Из моей приемной Марк Маркович уволок (сам, лично, обливаясь потом, задыхаясь и хрипя, иногда даже попукивая от нечеловеческого напряжения): половину чудовищной невообразимой кровати; два телевизора цветного изображения; два застекленных шкафа невыясненно-го назначения; книжную стенку вместе с муляжами книг; толстый рулон весом тонны в полторы (это оказались ковры, я думал, он умрет под этим рулоном, но он уцелел); картину с Сусанной, старцами и пенисом. Он порывался уволочь кресло для посетителей, но я запретил ему это делать, и тогда он уволочь кресло со стальным шипом. Из платяного шкафа были им изъяты и унесены: плащ-болонья (испачканный), мужской костюм-тройка (новый, на три размера меньше, чем ему требовалось), мохнатое пальто мужское (одно), мужские сорочки разнообразных (двенадцать, дюжина), бюстгалтеры женские разнообразных (семь)... Много чего он уволочь, мне в конце концов надоело за ним записывать, и я только следил, чтобы он не упер что-нибудь из моего рабочего инвентаря.

В результате кабинет Парасюхина блистает роскошью, словно комиссионный магазин. Ковры. Роскош-

ные покрывала. Огромный письменный стол с огромным письменным прибором (представления не имею, откуда прибор), на одной стене — Сусанна в тяжелой золоченой раме, на другой — портрет святого Адольфа, украшенный дубовыми листьями и черной муаровой лентой в знак вечного траура по великому человеку; над роскошной постелью — бессмертное творение кисти великого человека «Дас моторрад унтер дем фенстер ам зоннтаг морген». Кресло с шипом приспособлено для посетителей: на шип положена крышка от унитаза, а поверх крышки — подушка-думка с вышитой надписью «Кто рано встает, тому Бог дает». В дальнем углу огромное старинное зеркало, местами потемневшее, — перед ним Марк Маркович репетирует свои будущие речи. Пафос и верность. Нордическая лень и непоколебимая уверенность. Славянская широта и арийский гемютлихкайт. И запашок, как в борделе.

А вот кабинет, или, точнее, обиталище, Матвея Матвеевича Гершковича (Мордехая Мордехаевича Гершензона) являл собой типичный интерьер одинокого пенсионера районного значения. Здесь постоянно, а также сильно пахло сердечными каплями и вчерашней едой. Подоконник здесь был вечно заставлен кастрюльками, судками и особыми баночками — Матвей Матвеевич никогда ничего не оставлял на кухне из опасения, что кто-нибудь подкинет ему в бульон чего-нибудь тресного. (Не то чтобы он был таким уж верующим, но всю жизнь свою он прожил по коммунальным квартирам, а это, знаете ли, накладывает свой отпечаток.)

Если, войдя, вы видели, что в левой половине помещения пол натерт и блестит, на аптечной тумбочке — ни пылинки, а лекарственные пузырьки расставлены строго по ранжиру, зеркало платяного шкафа свежеспрыгнуто, фиксус в углу тщательно полит и даже обрызган из специального пульверизатора, то в правой половине комнаты обязательно будет безобразно развороченная постель, стул будет помещен на столе вверх ногами, огромный дедовский сундук неаппетитно распахнут, и лезут из него через край какие-то сиреневые фланелевые предметы, пол замусорен мятыми бумажками, просыпанными кнопками и высохшими стержнями из-под авторучек, а сам Матвей Матвеевич сидит среди всего этого на банной скамеечке, взлохмаченный и восторженный, и в который уже раз с наслаждением перечитывает роман «Во имя отца и сына».

В этом весь Матвей Матвеевич. Ему никогда не хватает выдержки и целеустремленности, чтобы убрать свою комнату от альфы до омеги. Он теоретик. Он великий моралист-теоретик. В теории он беспощаден, жесток, непреклонен и мстителен безгранично. Как сам Иегова. Око за око, зуб за зуб. Поднявший меч от меча да погибнет. Если враг задирает, его уничтожают. Мне отмщение, и только мне... Казалось бы, дай ему волю, — и полмира насилия ляжет в дымящихся развалинах. Но не хватает целеустремленности, черт ее подери совсем. Мешает, черт ее подери совсем, природная незлобивость, а также врожденная убежденность, что два взрослых человека всегда могут договориться между собой. Поэтому перехода от теории к практике не происходит у Матвея Матвеевича никогда. Если бы Матвею Матвеевичу хоть раз в жизни привелось бы воплотить в реальность хоть один из своих страшных лозунгов, я думаю, он перепугался бы до икоты, а может быть, и совсем бы умер от огорчения, что так нехорошо получилось.

Он из тех знаменитых евреев, которые способны вызвать приступ острого антисемитизма у самого Меира Кахана или даже у теоретика сионизма господина Теодора Герцля. Он является утром на кухню и принимается назойливо докладывать неспрощавшемуся

и злобному Парасюхину, что совсем уже почти договорился с вдовой из дома напротив, так она ему устроит пансион. Пять рублей в день, ну и что? Это недорого. Обед и ужин, а завтракать он будет здесь, он всегда имеет возможность достать свежие яйца и другие молочные продукты. В конце концов, если ему покажется недостаточно, так он всегда сможет прикупать. Пусть другие берут яйца по рубль тридцать. Вот я вижу, вы всегда берете яйца по рубль тридцать. А я могу брать по девяносто, и они будут лучше, чем ваши. Ваши битые, а у меня будут целые, хорошие яйца. Вы — молодой человек, вы этого не понимаете, что главное — это устройство с питанием...

Кто может выдержать такое? Разве что Петр Петрович Колпаков. Он стоит к Матвею Матвеевичу вполборота, вежливо улыбается и корректнейше кипятит себе молоко в кастрюльке. Видимо, он глубоко и тщательно обдумывает вопрос, куда ему отнести Матвея Матвеевича. К злакам или к плевелам? К агнцам или к козлищам? Истребить его в запланированном армагеддоне или, наоборот, возвысить?

Неспрощавшийся же и злой антисемит Парасюхин, конечно же, не выдерживает. В кухне становится черным-черно, как в известном письме известного писателя известному историку.

Однако в отличие от известного историка Матвей Матвеевич (Мордехай Мордехаевич) ни эвфемизмов, ни аллюзий, ни литературных реминисценций не понимает. Он улавливает только общую идею о том, что весь мир заполонили дурные, свокорыстные люди, везде блат, по знакомству можно достать все, а без знакомства человек ничто — особенно, если он не сумел как следует устроиться с питанием.

Он живо подхватывает и развивает эту идею, и тогда Марек Парасюхин, прикованный к газовой плите необходимостью помешивать овсяную кашу, чтобы не подгорела, и потому лишенный даже возможности бежать, заткнувши уши, испускает из себя освященную веками нутряную иступленную жалобу: «Да господи же боже мой! Ну нигде же нет от них спасения! Куда ни сунься — везде ведь они!»

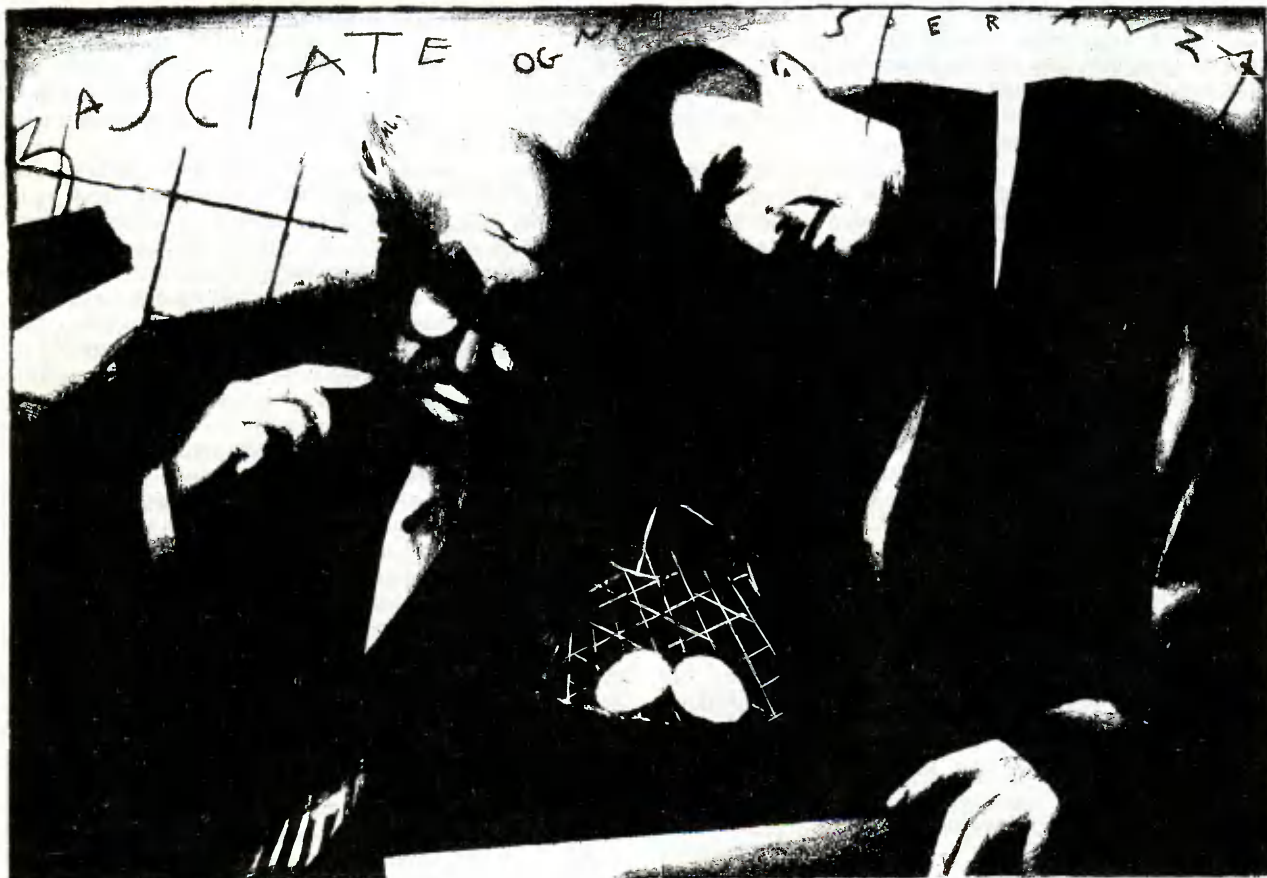
Простодушный Матвей Матвеевич уже заранее кивает, готовый согласиться и с этим утверждением, но тут на кухне объявляется слегка встрепанный после душа Агасфер Лукич. В правой руке у него чашечка кофе, в левой — бисквитик, а на устах — бессмертное: «Если в кране нет воды, значит, выпили жиды...»

Происходит двойной взрыв. Парасюхин взрывается потому, что усматривает в дурацкой частушке Агасфера Лукича злобный выпад против проверенных веками, глубоко теоретически обоснованных и животрепещущих установок и выводов по известному вопросу. Матвей же Матвеевич взрывается, потому что начисто лишен даже самого элементарного чувства юмора и в дурацкой частушке усматривает недвусмысленное и очевидное оскорбление своего национального достоинства.

Дуэт:

— Здесь нет ничего смешного, Агасфер Лукич! Довольно странно, что вы, при вашем опыте, при ваших знаниях, норовите отделаться шуточками, когда речь заходит об угрозе всей славянской цивилизации! Ведь вы же русский человек! Что вы тут нашли смешного? Да, выпили! Если нет воды, значит, именно они и выпили! В прямом или в переносном смысле! И ничего смешного!..

— Что значит — жиды? При чем здесь опять жиды? Почему у вас во всем и всегда виноваты жиды? Как вам только не стыдно, Агасфер Лукич? Ведь вы же сами — древний еврей! И откуда, интересно, вы взяли, что нет воды? Вода есть, пожалуйста! Пейте! Открывайте кран и пейте!..



Петр Петрович Колпаков неопределенно улыбается, видимо, размышляя, куда ему отнести Марека Парасюхина. Агасфер Лукич доволен. Кухня наполняется ароматом подгоревшей овсянки, и тут вхожу я и, сдерживаясь из самых последних сил, осведомляюсь:

— Слушайте, кто из вас постоянно не спускает воду в унитазе? Вот поймаю, возьму за шкуру и носом — в унитаз, в унитаз!..

Двадцать первый век на пороге. Коммуналка. Тоска. И над всем этим — черным фломастером по белому кафелю кухонной стены — напоминание:

“Lasciate ogni speranza” *.

Что держит меня здесь? На что я еще надеюсь? Почему давным-давно не сбежал?

Держит что-то. Надеюсь на что-то. Чего-то еще жду.

Вообще странные вещи происходят со мной в последнее время. Видимо, я так сжился со всеми этими людьми и настолько пропитался атмосферой наших поганых чудес, что почти воочию могу наблюдать любого из них в любой момент и сквозь любые стены.

Вот сейчас, например. Пожалуйста. Я пишу в своей камерке и точно знаю, что за четыре стены от меня Парасюхин сидит на своей роскошной постели со шлюхой, которую он привел с «плешки». Я не слышу его слов, однако знаю откуда-то, что рассказывает он ей о преимуществах настоящего арийского и в особенности — славяноарийского полового аппарата в сравнении с таковым же любого унтерменша, будь то косоглазый азиат или (в особенности) какой-нибудь пархатый семит. Шлюха, немолодая, утомленная, курит длинную шведскую сигарету и слушает его вполуха. О половых аппаратах она знает все.

Сегодня шестнадцатое ноября. Опять. И опять

все та же слякоть на мостовых и падающий с серого неба то ли дождь, то ли снег.

А может быть, это Сверхзнание начинает прорастать во мне, превращая меня в нового Агасфера?..

24. Разговор начался с того, что Агасфер Лукич, сияя, как блюдо с красной икрой под яркой люстрой, явился предо мною и с легким поклоном протянул номер журнала в знакомой обложке. Это был последний «Астрофизикл джорнэл», и он по крайней мере наполовину был посвящен моим «звездным кладбищам».

Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, приносили извинения за неточности, допущенные ими ранее в их прежних публикациях на эту тему, и наперебой сообщали о наблюдениях, подтверждающих самые разнообразные следствия эффекта, предсказанного доктором Манохиным. Запущенный в начале ноября «Эол» сделал свое дело.

Ничуть не отставая от них, Семен Бирюлин, используя данные нашего «Луча», подтверждал мои «кладбища» в миллиметровых волнах и теоретически предсказывал, как это будет выглядеть в субмиллиметровых. И Карпентер тут же подтверждал, что в субмиллиметровых все выглядит именно так. И еще большая методологическая статья Де-Прагеса... и еще два письма каких-то незнакомых китайцев...

Удивительно, но все это оставило меня совершенно равнодушным. Как будто я не имею и никогда не имел ко всему этому никакого отношения. Как будто никогда я не мучился угрызениями совести, стыдом, ужасом публичного позора, как будто не пошел в свое время в дику, унижительную и странную службу ради того фактически, чтобы полистать такой вот выпуск «Астрофизикл джорнэл» или хотя бы «Астрономикл лэттерз».

Столько раз представлял себе, что буду листать его жадно, впиваясь глазами и упиваясь злорадным

* «Оставь всякую надежду». Данте, «Ад», песня третья.

облегчением и утоленной гордыней, а теперь вот листал его равнодушно, совершенно безразлично и думал более о том, что вот пуговица у меня на манжете оторвалась и ускользнула в рукомошник и теперь вот придется идти по такому дождю со снегом ради одной пуговицы в «Галантерею»...

И когда я поднял глаза на Агасфера Лукича, я обнаружил, что банкетное сияние в лице его значительно потускнело. «Что же это вы, голуба моя?» — с обидой и упреком произнес он и тут же сделал мне вызов.

Известно ли мне, сколько и каких усилий пришлось потратить ему, Агасферу Лукичу, чтобы подвинуть известное лицо на выполнение этого моего научно-исследовательского каприза? Известно ли мне, какого неестественного напряжения стоило известному лицу сначала понять поставленную задачу, а потом разобраться во всех деталях этой моей совершенно чуждой и неинтересной ему механики? Сколько упреков было обрушено, сколько досады было вымещено, — вообще сколько времени было потрачено, драгоценного, невозполнимого времени известного лица? И наконец, известно ли мне, как близко, на какой последний волосок пришлось подойти известному лицу к той границе, за которой начинается абсолютное небытие, — и все для чего? Для того только, чтобы овеществовать, сделать реальностью замысловатый бред, излившийся с кончика шkodливого пера капризного, избалованного теоретика!..

Большую часть все это было мне неизвестно, поскольку ни во что это меня не посвящали, так что я оставался вполне равнодушен под градом его упреков и диатриб. Оказывается, я уже основательно забыл, с чего началась эта моя история. Все бывшие чувства мои увяли, горечь выветрилась, а яд высох, как говаривал сэр Редьярд Киплинг. Гигантский груз новых впечатлений, нового знания и новой ответственности буквально выдавил, вытеснил, выпарил из меня прежнего С. Манохина с его маленькими амбициями, детскими капризами и совершенно микроскопическими вожделениями. В сущности, я давно перестал быть С. Манохиним. Я был теперь мелким лемуrom в безотказном услужении у непостижимого чудовища, только в отличие от фаустовских лемуrom я сохранял способность сознавать и все еще пытался разобраться в происходящем, упростить его до такой степени, чтобы оказаться способным его понять и, следовательно, — хоррибле дикту! — влиять на него...

Агасфер Лукич, конечно же, разобрался во всех этих моих мыслях и тут же направил огонь своих репримандов на другой фланг. Оказывается, уже довольно давно я вызываю у него определенное беспокойство. Я плохо ем. Я почти не улыбаюсь. Я перестал шутить. Опыт с женщиной, который Агасфер Лукич произвел, имея в виду мое духовное и физическое здоровье, окончился скорее неудовлетворительно...

Ему, Агасферу Лукичу, совершенно понятна причина этого духовного и физического увядания. Я потерял ориентировку. Я утратил представление о конечных целях. И все это потому, что с самого начала, вот уже много месяцев, я пребываю в состоянии хронического недоумения по поводу того мира, который окружил меня.

Сначала я (впопыхах и сгоряча) вообразил себе, будто оказался секретарем, мажордомом и лакеем Антихриста, явившегося наконец на Землю с тем, чтобы подготовить процедуру, известную в источниках под названием Страшный Суд. Эта безумная при всей своей примитивности идея заметно травмировала психику закоренелого атеиста, потому что продралась в мое сознание в результате свирепого сражения между всей совокупностью благоприобретенных

материалистических представлений, с одной стороны, и железной логикой наблюдения — с другой. Это было время, когда мое душевное здоровье находилось под самой серьезной угрозой, ибо нельзя последовательно материалисту надолго погружаться в мир объективного идеализма безнаказанно.

К счастью, дальнейшее накопление наблюдаемых данных (скажем, появление в доме таких перлов мироздания, как Марек Парасюхин, участковый Спиртов-Водкин и неопишемая Селена Благая) благополучно разрушили первоначальную апокалиптическую гипотезу. Рассудок мой был спасен, однако ненадолго.

Новая гипотеза сформировалась. Известное лицо из совершенно мифического Антихриста трансформировалось в некоего Космократа, фантастически могущественного, фантастически вездесущего, фантастически надчеловеческого — вообще фантастического, но при этом фантастического научно. Сей Космократ обрушил свое внимание на Землю, имея целью произвести над человечеством некий грандиозный, сами понимаете, эксперимент, суть коего для современного землянина принципиально, сами понимаете, непостижима. И вот собирает он здесь, в этой квартире без номера, людей и людишек, одержимых самыми конкретными идеями, как наилучшим образом ущемить, ущучить, уязвить несчастное человечество. Зачем? А затем, чтобы Космократ в дальнейшем дал бы им всем волю, а сам наблюдал бы интересующие его реакции человечества на все эти ущемления, ущучивания и уязвления.

Именно это мучительное видение несчастного человечества, поверженного на гноище неопишемых страданий, подвергаемого беспощадным и равнодушным вивисекциям, и привело меня сейчас на грань отчаяния и безнадёжности, за которыми вновь встает призрак безумия.

Ибо, несмотря ни на что, я все-таки люблю человечество. Несмотря на тупое стремление к самоистреблению этой огромной массы людей. Несмотря на тупое стремление этой массы людей получить самые низменные удовольствия ценою самых высоких наслаждений духа. Несмотря на потоки глупостей, подлостей, мерзостей, предательств, преступлений, уже тысячелетиями извергаемых из себя и на себя этой огромной массой людей. И несмотря, наконец, на совершенную несоизмеримость моей отдельно взятой личности с этим грандиозным явлением природы, частицей которого я, невзирая ни на что, остаюсь.

Любовь, как известно, зла. Она порождает удивительные намерения и провоцирует любящего на поступки противоестественные и благородные, благородные до неестественности, до извращенности даже. Если здесь вообще можно говорить о логике, то она у меня такова: раз уж Космократу так приспичило произвести гигантский эксперимент над миллионами, так, может быть, ему будет благоугодно устроиться таким образом, чтобы совершить миллионы экспериментов над одним? Ведь с научной точки зрения это одно и то же, то есть с научной точки зрения две эти ситуации инвариантны. Дело лишь за искусством экспериментатора, а в нем сомневаться не приходится. Что же касается подопытного материала, то вот он, здесь, перед вами! Смотрите и приступайте!

Глядя на меня с жалостью и брезгливым восхищением, Агасфер Лукич всплескивал короткими лапками и повторял: «Какое нелепое простодушие! Какое благородное убожество! Какая несусветная и неуместная мизинтерпретация великого образца! Стыд! Изверство! Какое беспомощное изверство!..»

Признаюсь, ему-таки удалось расшевелить меня. Это было крайне неприятно — ощущать себя просматриваемым насквозь, да еще глазом бывалого микропсихолога. И в то же время я испытывал опре-

деленное облегчение человека, болезнь которого наконец названа и признана пусть тяжелой, стыдной, неприличной, но излечимой. Я искал слова, чтобы достойно ответить, и слышал уже энергические и раздраженные толчки пульса в висках, уже просыпалась во мне целостная злоба, однако нужные слова найти я не сумел, и Агасфер Лукич продолжал.

Откуда у меня эта презумпция зла? Откуда это навязчивое стремление громоздить ужасы на ужасы, страдания на страдания? Что это за инфантильный мазохизм? Разумеется, он, Агасфер Лукич, понимает, откуда у меня все это. Но ведь я же все-таки научный работник, сама профессия моя, сама моя идеология обязывает, казалось бы, смотреть широко, анализировать добросовестно и с особенной настороженностью относиться к тому, что лежит на поверхности и доступно любому полуграмотному идиоту.

По складу ума своего я не способен воздерживаться от построения гипотез относительно всего, что окружает меня. Я не люблю без гипотез, я не умею без них. Ради бога! Но если уж повело меня строить гипотезы, зачем же сразу строить такие ужасные, что меня же самого норовят свести с ума? Почему не предположить что-нибудь благое, приятное, радующее душу? Почему бы не предположить, например, что известное лицо, вконец отчаявшись затопить Вселенную добром, решило по крайней мере избавить ее от зла? Как мне это понравится: собрать в квартиру без номера всех наиболее омерзительных, безапелляционных, неисправимых и настырных носителей разнообразного зла, а собравшись, утопить в Тускарорской впадине? «Всех утопить!» Фауст. Пушкин.

Я ни в коем случае не должен воображать, будто эта гипотеза хоть в какой-то мере соответствует истинному положению вещей. По рангу своему, по своей глубине она столь же убога, как и первые две. Но неужели я не вижу за ней по крайней мере одного преимущества — преимущества оптимизма?

Нетрудно догадаться, что именно помешало мне предпочесть оптимизм всем этим гипотезам барахтанья в тоскливом болоте апокалиптических и псевдонаучных ужасов. Разумеется, уже сам внешний вид известного лица никак не способствует приступам сколько-нибудь радужных чувств. Его неприятная метаестественность. Его грубость. Его брезгливость ко мне подобным. Его истерики. Наконец, его манера тарашить глаза, каковая манера даже Агасфера Лукича приводит в рефлекторное содрогание...

Все это так. Но за всем тем не мог же я не заметить его постоянной изнуряющей занятости. Его метаний. Его измученного, но неутолимого любопытства. Не мог же я не заметить на этих изуродованных плечах невидимого мне, непонятного, но явно тяжелого креста. Этой его забывчивости, этих странных его оговорок и невнятных распоряжений... Да в силах ли я понять, что это такое: пребывать сразу во всех восьмидесяти с гаком измерениях нашего пространства, во всех четырнадцати параллельных мирах, во всех девяти извергателях судеб! В силах ли я понять, что Вселенная слишком велика даже для него, а время все проходит, оно только проходит — и для него, и сквозь него, и мимо него...

Агасфер Лукич разволновался. Я никогда не видел его таким прежде. Мне показалось, что это был восторг самоуничтожения. Я слушал его, затаив дыхание, и тут, в самый патетический момент, грянул над нами знакомый голос, исполненный знакомого раздраженного презрения:

— На кухне! Из четвертого котла утка! Опять под хвостами выкусываете?

25. Я не слышал звонка. Впрочем, никакого звонка, наверное, и не было. Я проснулся оттого, что

неподалеку бубнили голоса, и голоса эти возвышались. Вначале я не понимал ни слова, я не сразу понял даже, кто это бубнит у нас посреди ночи — гортанно, яростно, с придыханиями, на совершенно незнакомом языке.

Впрочем, довольно быстро я понял, что один из бубнящих — Агасфер Лукич, а затем, как водится, начал разбирать и о чем они бубнят, сперва общий смысл, затем отдельные слова. Ни общий смысл, ни отдельные слова, ни в особенности все возвышающийся тон мне решительно не понравились, я торопливо натянул штаны, снял со стены тяжелый шестопер и высунулся в коридор.

В коридоре было темно и пусто, вся наша контора спала, но в прихожей горел свет, и я увидел Агасфера Лукича, стоявшего профилем ко мне и, надо думать, лицом к своему собеседнику. Собеседника не было видно за углом — Агасфер Лукич, надо понимать, дальше порога его не пускал.

Надо было понимать также, что Агасфер Лукич прямо из постели: был он в своем бежевом фланелевом белье со штрипками, памятном мне еще по гостиной «Степной», из-под рубашки торчал угол черного шерстяного платка, коим Агасфер Лукич оснащал на ночь поясицу в предчувствии приступающего радикулита, он даже накладное ухо свое не нацепил, оставил в граненом стакане с агар-агаром...

Невидимый мне визитер гортанно выкрикнул что-то насчет того, что демонам зла и падения дана великая власть, но не дано им преграждать путь ищущему милости Милостивого, ибо сказано: рабу не дано сражаться, его дело — доить верблюдиц и подвязывать им вымя. В ответ на это странное сообщение Агасфер Лукич уже совершенно для меня внятно произнес, почти пропел, явно цитируя:

— «Свои пашни обороняйте, ищущему милости дайте убежище, дерзкого прогоняйте». Почему ты не говоришь мне этих слов, Муджжа ибн-Мурара? Или твой нечистый не поворачивается повторять за тем, кого ты предал?

Я вышел в прихожую и встал рядом с ним, держа шестопер на виду. Теперь я видел абитуриента. Это был грузный, я бы сказал даже, жирный старик в синих шелковых шароварах, спадающих на расшитые золотом крючконосые туфли. Шаровары еле держались у него на бедрах, низко свисал огромный, поросший седым волосом живот с утонувшим пупом, по-женски висели жирные волосатые груди, лоснились округлые потные плечи, а свежесбритая круглая голова была измазана сажей, и следы сажи были у него по всему телу полосами от пальцев, и лицо его, черное от солнца, тоже было в саже, и белая растрепанная борода была захватана грязными руками, а черные глазки с кровавыми белками бегали из стороны в сторону, как бы не зная, на чем остановиться.

Двери на лестничную площадку не было. Зиял вместо нее огромный треугольный проем, и из этого проема высовывался на линолеум нашей прихожей угол роскошного цветастого ковра (совершенно так же, как давеча вместе с Бальдуrom Длинноносым ввалился в прихожую огромный сугроб ноздреватого оттепельного снега). Абитуриент стоял на своем ковре. То ли дальше не пускал его Агасфер Лукич, то ли сам он боялся ступить на гладкий блестящий зеленый линолеум.

— Демон зла и падения Абу-Сумама! — после некоторого молчания возгласил абитуриент. — Снова и снова заклинаю тебя: перед тобой смертный, который нужен Рахману!

— Муджжа ибн-Мурара, — явно пародируя, ответил Агасфер Лукич. — Ничтожнейший из смертных, предавший учителя и благодетеля племени свое-

го Масламу Йемамского, снова и снова отвечаю тебе: ты не нужен Рахману!

Мудджа ибн-Мурара непроизвольно облизнул пересохшие губы и, словно бы ожидая подсказки, оглянулся через жирное плечо в темноту треугольного проема.

Мрак там, надо сказать, не был совершенно непроглядным. Какой-то красноватый огонь тлел там — то ли костер, то ли жаровня, — и колебались на сквозняке огоньки светильников, и отсвечивало что-то металлическим блеском — вроде бы развешанное по невидимым стенам оружие. И в этом неверном свете чудилось мне некое белесое лицо с черными, исполненными ужаса провалами на месте глаз и рта.

— Я свидетельствую: ты лжешь, Абу-Сумама! — прохрипел толстяк, не получивший из тьмы никакого подкрепления. — Я нужен Рахману! Если он захочет, я залью кровью Египет во имя его!

— Он не захочет, — равнодушно сказал Агасфер Лукич. — И Омар ибн ал-Хаттаб обойдется без тебя. Он заберет Египет мечом Амра. И без особенной крови, между прочим...

— Омар ибн ал-Хаттаб — жалкий пес и выскочка! — взвизгнул толстяк. — Он стал халифом только потому, что Пророк по упущению Рахмана остановил благосклонный взгляд на его худосочной дочери! Клянусь темной ночью, черным волком и горным козлом, кроме этой дочери, нет ничего у Омара ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем!

— Клянусь ночью мрачной и волком смелым, — отвечал Агасфер Лукич, — у тебя, Мудджа, нет даже дочери, не говоря уже о сыновьях, ибо Рахман справедлив. Уходи, ты не нужен Рахману.

Толстяк рванул себе бороду обеими руками. Глаза его выкатились.

— Я не прошу службы, — прохрипел он. — Я прошу милосердия... Я не могу вернуться назад. Доподлинно стало мне известно, что не переживу я этой ночи... Пусть Рахман оставит меня у ног своих!

— Нет тебе места у ног Рахмана, Мудджа ибн-Мурара, предатель. Иди к салукам, если они примут тебя, ибо сказано: ближе нас есть у тебя семья — извечно не сытый; пятнистый короткошерстый; и гривастая вонючая... Да только не примут тебя салуки, и даже тариды тебя не примут — слишком ты сделался стар и жирен, чтобы приводить кого-нибудь в трепет...

Я почти ничего не понимал из происходящего. Мне все время казалось, что Агасфер Лукич терзает этого жирного старца из, так сказать, педагогических соображений, что вот он сейчас поучит его уму-разуму, а потом сделает вид, будто смягчился, и все же пропустит его пред светлые очи. Однако довольно скоро я понял, что не пропустит. Ни за что. Никогда.

И как видно, толстый старый Мудджа тоже понял это. Выкаченные глаза его сузились и остановились наконец, чтобы испепелить ненавистью.

— Лишенный стыда и позволивший называть себя именем Абу-Сумы, — просипел он, тяжело глядя в лицо Агасферу Лукичу. — Я узнал тебя. Я узнал тебя по отрубленному уху, Нахар ибн-Унфува, прозванный Раххалем! Клянусь самым жарким и верблюдом безумным, я отрублю тебе сейчас второе ухо моим йеменским клинком!

Короткопалая рука его судорожно зашарила у левого бедра, где ничего сейчас не было, кроме шнурка полусвалившихся шаровар. Агасфер Лукич ничуть не испугался.

— Клянусь пустым кувшином и высосанной костью, — сказал он с усмешкой. — Ты никому ничего не отрубишь, Мудджа ибн-Мурара. Здесь тебе не Йемама, смотри, как бы тебе самому не отрубили последнее висящее. Уходи вон, или я прикажу своим ифри-

там и джиннам вышвырнуть тебя, как шелудивого, забравшегося в шатер.

Кто-то часто задышал у меня над ухом. Я оглянулся. Ифриты и джинны были тут как тут. Вся бригада в полном составе. Тоже, наверное, проснулись и бежали на крики. Все были дезабилье, даже Селена Благая.

Только Петр Петрович Колпаков считал необходимым натянуть спортивный костюм с наклейкой «Ади-дас».

Наверное, с точки зрения средневекового араба, мы все являли собой зрелище достаточно жуткое и уж, во всяком случае, фантастическое. Однако Мудджа либо был не из трусливых, либо уже на все махнул рукой и пустился во все тяжкие, не думая больше о спасении жизни, а лишь о спасении лица. Он не удостоил нас даже беглого взгляда. Он смотрел только на Агасфера Лукича, все сильнее сутулясь, все шире оттопыривая жирные руки, обильно потея и тяжело дыша.

— Ты, Раххаль, — произнес он, захлебнувшись, — шелудивый бродяга и бездомный пес. Ты смеешь называть меня предателем. Предавший самого пророка Мухаммеда и перекинувшийся к презренному Мусейлиму!..

— А я запомнил времена, когда этого презренного ты называл милостивый Маслама! — вставил Агасфер Лукич, но Мудджа его не слушал.

— Трусливый и бесчестный, приказавший четвертовать мирного посланника! Вспоминаешь ли ты Хабиба ибн-Зейда, которого даже презренный Мусейлима отпустил с миром, не решившись преступить справедливость и обычаи? Посланником Пророка был Хабиб ибн-Зейд, а ты велел схватить его, мирно возвращавшегося, и отрезать ему обе руки и обе ноги, — ты, Раххаль, да превзойдут зубы твои в огне гору Оход!

— Пустое говоришь, — снисходительно сказал Агасфер Лукич, — и в пустом меня обвиняешь, ибо отлично знаешь сам: презренный Хабиб умерщвлял младенцев, отравлял колодцы и осквернял поля. Все получившее благословение Масламы он отравлял, чтобы погибло. Я всего лишь приказал отрубить ноги, носившие негодяя, и руки, рассыпавшие яд.

— Свидетельствую, что ты лжешь! — отчаянно выкрикнул Мудджа и вытер трясущейся ладонью пелену, проступившую в уголках рта. — Лучше меня знаешь ты, что именно благословения фальшивого Мусейлимы были ядом для детей, для земли и для воды йеменской! Ты, Раххаль, раб лжепророка, предавший и его, вспомни сражение у Акрабы! Может быть, стыд наконец сожжет тебя? Ты, бросивший свое войско перед самым началом битвы, покинувший лучших из лучших Бену-Ханифа умирать под саблями жестокого Халида! Ты бросил их, и все они легли там, у Акрабы, все до единого, кроме тебя!

— А ты с фальшивыми оковами на умытых руках беспечно смотрел из шатра Халида, как они умирают, твои братья по племени...

— Лжешь ты и лжешь! Железо оков проело мясо мое до костей моих, слезы прожгли кровавые вадинах на щеках моих, но когда пришло время, я спас от жестокого Халида женщин и детей Бену-Ханифа, я обманул Халида!.. Ты, бросающий лживые обвинения, вспомни лучше, почему ты ускакал от Акрабы, будто гонимый черным самумом! Это похоть гнала тебя! Клянусь черным волком, похоть, похоть и похоть! Ради бабы ты бросил все — своего лжепророка, которому клялся всеми клятвами дружбы и верности; и сына его, Шурхабиля, которого Мусейлима доверил твоей верности и мудрости; и друзей своих, и своих воинов, которые, даже умирая, кричали: «Раххаль! Раххаль с нами!» Ты бросил их всех ради грязной христианской распутницы, которую ты сам же сперва подло-

жил под бессильного козла Мусейлиму, надеясь заполнить таким образом его душу...

— Я не советую тебе говорить об этом,— произнес Агасфер Лукич таким странным тоном, что меня всего повело, словно огромный паук побежал у меня по голой груди.

Но Мудджа уже ничего не слышал.

— ...однако лжемилолюбивый оказался слишком стар для твоего подарка, и ты остался с носом — и без вожденной души его, и без своей вожденной бабы! Ты, Раххаль, дьявол при лжепророке, преувеличивший во зле!

Мудджа замолчал. Он задыхался, борода его продолжала шевелиться, будто он еще говорил что-то, и клянусь, он улыбался, не отрывая жадного взгляда от окаменевшего лица Агасфера Лукича. А тот медленно проговорил все тем же страшным, кусающим душу голосом:

— Ты просто чувствуешь приближение смерти, Мудджа. Перед самой смертью люди часто говорят то, что думают, им нечего больше скрывать и незачем больше томиться. Я вижу, ты сам веришь тому, что говоришь, и трижды заверяю я тебя, Мудджа: не было этого, не было этого, не было.

Тогда Мудджа засмеялся.

— Записочку! — проговорил он, захлебываясь смехом и пеной. — Записочку вспомни, Раххаль! — хохотал он, задыхаясь и всхлипывая, трясая отвислыми грудями и огромным брюхом. — Вспомни записочку, которую передали тебе накануне битвы... Ты помнишь ее, я вижу, что ты не забыл! Так слушай меня и никому не говори потом, что ты не слышал! Твоя Саджа нацарапала эту записочку, сидя на могучем суку моего человека. Ты знаешь его — это Бара ибн-Малик, горячий и бешеный, как хавазинский жеребец, вскормленный жареной свиной, искусный добиваться от женщин всего, что ему нужно. А нужно ему было тогда, чтобы дьявол Раххаль, терзаемый похотью, покинул войско Мусейлимы на чаше верных весов!

И сейчас же, без всякой паузы:

— Ты позволил себе недозволенное,— произнес Нахар ибн-Унфува по прозвищу Раххаль. — Ты должен быть строго наказан.

«Милиция!» — ужасно взвизгнул у меня над ухом Матвей Матвеевич. Он понял, что сейчас произойдет. Мы все поняли, что сейчас произойдет. И уж, конечно, Мудджа ибн-Мурада понял, что сейчас произойдет. Рука его нырнула во тьму треугольного проема и сейчас же вернулась с широким иззубренным мечом, но Раххаль шагнул вперед, мелькнуло на мгновение длинное узкое лезвие, раздался странный чмокающий звук, широкое черное лицо над испачканной бородой враз осунулось и стало серым... храп раздался наподобие лошадиного и страшный плеск жидкости, свободной падающей на линолеум.

Тут я, видимо, на некоторое время вырубился.

Вся прихожая была залита. Ужасно кричал Матвей Матвеевич. «Милиция!» — кричал он. — Милиция!» Уткнувшись головой в зеркало, неудержимо блевал Марек Парасюхин... А Агасфер Лукич, фарфорово-белый, совершая выпачканными лапками выталкивающие жесты, бормотал нам успокаивающе:

— Тише, тише, граждане! Ничего страшного, все будет путем. Идите, идите, я тут все сам приберу...

Exit Мудджа ибн-Мурада, наместник йемамский.

26. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад...

ДНЕВНИК. 20 июля, 13 часов.

Мы остались без Мишеля.

За ним приехал отец из Новосергиевки. Всю ночь

гнал на машине, как сумасшедший. Была очень тяжелая сцена. Мишель, конечно, уезжать отказывался, но отец сказал ему, что мать лежит в тяжелом приступе (начиталась газет, наслушалась слухов, в Новосергиевке ходят ужасающие слухи) и Мишель ее просто убьет, если не придет тотчас же. Огромный седоголовый красавец, а глаза тоскливые, губы трясутся, руки трясутся, — я не стал на это смотреть, ушел подобра-поздорову.

Конечно, Мишель сдался. И я бы сдался. Любый в таком положении сдался бы. Тем более что у нас здесь ничего страшного не происходит, толпа основательно подрассосалась — надоело, опять же и обедать пора. Ребята из патруля уже не стоят цепочкой, а столпились у крыльца и покуривают. Только милиция по-прежнему на своем посту, но смотрит уже явно не так угрюмо, как раньше.

Мишель демонстративно не взял с собой ничего. Он объявил, что через два дня снова будет здесь.

Без Мишеля тускло.

20 июля, 15 часов.

Плохо дело.

В два часа в дверь позвонили. Это явился Первый и с ним еще какой-то деятель в элегантнейшем костюме и фотохронных очках. Я им открыл. Точно помню, что уже тогда подумал: «Плохо дело», — хотя еще не понимал, что именно плохо и почему.

Первый поздоровался, представился и сказал, что хочет видеть Г. А. Я повел их под перекрестными взглядами жалких остатков нашего гарнизона, сбежавшегося на дверные звонки. На лестнице Первый изволил пошутить: «Ну как вы тут, осажденные? Крыс уже всех подъяли?» Мне было не до шуток.

Я запустил их в кабинет Г. А. и остался сидеть в приемной. Девочки и Аскольд посидели со мной немного, а потом разошлись по своим делам. Все они были настроены совершенно оптимистично. Логика: раз уж сам Первый нанес визит, значит, все будет ОК.

Из кабинета не доносилось ни звука. Я ждал. И чем дольше я ждал, тем яснее мне становилось, что ничего хорошего ожидать не приходится. Раз уж сам Первый в такое время и в такой ситуации наносит визит Г. А., это может означать только одно: дорогой Георгий Анатольевич, мы вас высоко ценим и глубоко уважаем, однако вы должны понять нас правильно... демократия... позиция первичных партийных организаций... наробраз... комсомол... невозможно, да и неверно было бы идти против воли всего города, выраженной настолько определенно... разумеется, мы учтем все ваши соображения, они представляют большую ценность, мы тщательно изучим их при формировании долгосрочной политики в будущем. но сегодня, сейчас.... и не обращайтесь на выпады экстремистов... культура дискуссий у нас пока еще далека от совершенства, и вы погорячились, и они вот теперь горячатся.... но все мы ни на минуту не забываем, что вы — гордость нашего города, всего края, всего Союза, наконец!..

Все это я представлял себе так ясно, как будто слышал своими ушами. (А может быть, я действительно все это слышал? Только не ушами. Со мной и раньше такое бывало, когда доводили меня до крайности.)

Когда они вышли от Г. А., я еще владел собой. Пока пожимались руки и происходил обмен прощальными любезностями, я все еще сдерживался. (Лицо у Г. А. было такое, что я только разок глянул на него и больше уж не смотрел.) И я еще сдерживался, пока вел их по главному коридору, вывел на лестничную площадку и вот тут сдерживаться перестал. (Г. А. с нами уже не было, он вернулся к себе.)

К сожалению, — а может быть, к счастью, — я плохо помню, что я им говорил. И спросить не у кого — ни одного из наших поблизости не оказалось. Допускаю, что я назвал их предателями. Вы предали его, сказал я. Он так на вас надеялся, он до последней минуты на вас надеялся, ему в этом городе больше ни на кого не оставалось надеяться, а вы его предали. (Щеголь в фотохронных очках, кажется, пытался остановить меня: «Не забывай, с кем ты разговариваешь!» И я тогда сказал ему: «Молчите и слушайте!») Может быть, вы вообразили себе, что ваши комплименты и все ваши красивые слова что-нибудь для него значат? Да не нужны ему ни ваши комплименты, ни ваши фальшивые похвалы. Ему нужна была ваша поддержка!..

И еще что-то в этом роде, совсем не помню. А помню, как он прервал меня и спросил с искренним удивлением: «Так ты что же — веришь во все эти его фантазии?» «Нет, — сказал я честно. — К сожалению, нет. Умишка у меня не хватает в это поверить. Но я одно знаю: пусть это фантазии, пусть это он даже ошибается, но его ошибка в сто раз грандиознее и выше, чем все ваши правильные решения. И в сто раз нужнее всем нам».

Они обошли меня с двух сторон и стали спускаться по лестнице, а я говорил им вслед. А может быть, и не говорил, может быть, только думал. Вы сейчас послали его на крест. Вы замарали свою совесть на всю свою оставшуюся жизнь. Наступит время, и вы волосы будете на себе рвать, вспоминая этот день, — как вы оставили его одного в кабинете, раздавленного и одинокого, а сами нырнули в эту толпу, где все вам подхалимски улыбаются и молодецково отдают честь...

И с лютым наслаждением ловил я токи растерянности, недоумения и недовольства собой, исходящие от их прямых спин и аккуратных вороных затылков.

20 июля. Половина шестого вечера.

Подуспокоив нервы, отправился к Г. А. посмотреть, как он там. Все наши уже сидели у него. Серафима Петровна принесла плюшки. Мы пили чай и молчали. Иришка как-то странно на меня посматривала, а Зойка все время подкладывала мне плюшки. Видимо, они все-таки слышали, как я орал на Первого. А может быть, ничего они не слышали, а просто вид у меня был недостаточно успокоенный.

Потом Г. А. посмотрел на часы и включил телевизор. Оказывается, голова наш Петр Викторович вознамерился сегодня, на неделю раньше срока, выступить с ежемесячным обращением к своему городу.

Обычная двадцатиминутная речь. Как всегда жовиален, прост, округл, хитроват и задушевен. Наши немалые достижения и главным образом наши недостатки, недостатки и недодумки. Средства освоены, с одной стороны, сроки не выдерживаются, с другой стороны; приток валюты, с одной стороны, отток квалифицированной рабочей силы, с другой стороны; не умеем еще как следует работать, с одной стороны, отдыхать совершенно разучились, с другой стороны...

И только в самом конце, без особого нажима, как о делах, всем хорошо известных, а потому не требующих никаких специальных пояснений, сначала о работе санэпидслужбы города (недостаточный надзор за очистными сооружениями, успешная ликвидация сезонной эпизоотии у сусликов), и только потом, наконец: «В окрестностях города у нас уже который год регулярно возникает нездоровая в гигиеническом отношении обстановка, особенно на десятом километре, в излучине Ташлицы. Не могу сказать, что мы ничего не предпринимали. Уговаривали, предупреждали, вели разъяснительную работу. К сожалению, безуспешно.

Васька, понимаете ли, слушает, но по-прежнему ест. Все необходимые меры мы уже давно подготовили. Упрекнуть нас ни в чем нельзя, разве что в излишней неторопливости, которая происходила от нашей излишней, может быть, терпимости. Могу сообщить, что сегодня нами сделано последнее и окончательное предупреждение. Всякому терпению приходит конец, и у нашего города терпения больше нет». И снова — об осушении Ереминского болота, о мерах против бродячих животных, еще минуты две жовиальности и простодушия — и: «До следующей встречи, спасибо за внимание».

Вот так. Спасибо тебе, Петр Викторович. «На мэра надейся, но и сам не плошай... Кто за доброе дело, тот мой союзник».

Г. А. выключил телевизор. На нас он не глядел, и мне подумалось, что ему стыдно сейчас глядеть на нас, своих учеников. За все человечество перед нами стыдно. Мне, во всяком случае, было стыдно, и я старался ни на кого не глядеть — только на Г. А., да и то исподлобья.

Тут Г. А. пододвинул к себе телефон и набрал номер. На экранчике появился Михайла Тарасович, вяловатый и безмятежный. Вид у него был такой, словно его грубо оторвали от заслуженного отдыха. Впрочем, обнаружив, кто его беспокоит, он очень натурально обрадовался, приветствовал Г. А. шумно и многословно и тут же принялся с добродушной укоризной высказывать свое мнение по поводу вчерашней статьи.

Г. А. прервал его немедленно. Что же это такое? Значит, завтра все-таки акция? Михайла Тарасович подувал и со вздохом развел руки: что поделаешь, такова жизнь. Г. А. сказал очень резко: «Как же вам не стыдно? Вы же обещали!» Михайла Тарасович перестал улыбаться и сказал заносчиво: «Что это я вам обещал? Ничего я вам не обещал!»

Г. А. Стыдно, Кроманов. Стыдно! Перед людьми за вас стыдно! А что будет, если я расскажу всем о нашей договоренности?

М. Т. О какой еще такой договоренности? Не было никакой договоренности... Вы, Георгий Анатольевич, говорите, да не заговаривайтесь. Я при исполнении служебных обязанностей. Я вам не кто-нибудь, я в договоренности с частными лицами не вступаю!

Г. А. молча глядит на него, приспустив набрякшие веки, и чем дольше он глядит, тем более каменеет и бронзовеет Михайла Тарасович, превращаясь уже не просто даже в образцового начальника гормилиции, а в памятник образцовому начальнику гормилиции.

М. Т. (чеканит). Я бы попросил вас не забываться. Намеков и оскорблений я терпеть не намерен. Пусть вы даже и заслуженный человек, но тогда тем более, извольте знать меру и понимать порядок...

И еще что-то в этом же роде, исполненное достоинства и служебной добродетели самой высокой пробы.

Г. А. все молчит. Он уже не просто глядит на него, а откровенно его рассматривает. И Михайла Тарасович не выдерживает этого рассматривания. Он приостанавливает свои речи, надувает щеки и медленно выпускает воздух.

М. Т. (тоном ниже). В вашем положении я бы вообще, извините за выражение, помалкивал. Договоренность... Какая может быть в таких делах договоренность? Я ведь, знаете ли, мог бы и дело против вас возбудить!.. Сокрывание информации, важной для следствия... пособничество преступлению, между прочим... укрывательство, если угодно! Это все, знаете ли, не шутки. Тут не только депутатского мандата, тут всего можно лишиться... (Он отводит глаза, потом бегло взглядывает на Г. А., потом снова отводит глаза и произносит совсем уже миролюбиво.) Да не

переживайте вы так, Георгий Анатольевич! Ничего там страшного не будет, в этой операции. Главные хулиганы у меня посажены, по закону сорок восемь часов будут сидеть как миленькие. Личный состав проинструктирован, эксцессы будем пресекать в зародыше... Что ты в самом деле, Георгий Анатольевич? Мне же самому нужно, чтобы все прошло гладко, без драки, без крови... Неужели ты не понимаешь?

Г. А. выключает телефон.

Он оглядел нас всех по очереди очень внимательно, словно надеялся обнаружить в нас что-нибудь обнадеживающее, не обнаружил и сказал:

— Все. Вот теперь уж окончательно все. «...Всегодшний прием плохих правительств — пресекая следствие зла, усиливать его причины». Откуда?

— Ключевский, — сейчас же ответил Аскольд.

— Правильно, — проговорил Г. А. уже рассеянно. — Впрочем, один шанс у нас еще остался...

Он набрал какой-то номер, и на экране возникла недовольная старуха. Г. А. кротко поздоровался с нею и попросил к телефону Гарика. Через десять секунд на экране возник Гарик. Это был тот самый зеленый куст, который давеча прибегал в лицей с репьями в голове. Произошел примерно следующий разговор.

Г. А. Гарик, мне надо срочно увидеть нуси.

Гарик. Нуси в ложе.

Г. А. Пусть придет, когда выцветет.

Гарик. Он выцветет к дождеванию.

Г. А. Скажи, чтобы пришел как можно скорее. Я буду его ждать.

Гарик. Трава на ветру. (Или что-то в этом роде.)

Ребята из этого разговора не поняли ничего. Никто из них не был во Флоре, никто не знал, кто такой нуси, но я-то знал и, хотя жаргона не разобрал, догадался, что Г. А. вызывает к себе главаря Флоры, скорее всего чтобы уговорить Флору сняться и уйти до утра. Действительно, это и есть, наверное, последний шанс. И самый лучший выход — и для них, и для нас, и для всего города. Только уж больно мал этот последний шанс. Если бы это было так просто — уговорить их уйти, — Г. А. давным-давно бы их уговорил.

Г. А. усталым и виноватым тоном попросил нас оставить его одного, и мы поднялись, чтобы уходить. И тут Аскольд вдруг спросил: «А как понимать все эти слова — про сокрытие информации, про преступление?» (Поразительно все-таки холодная задница, этот Аскольд!) Г. А. молчал так долго, что я решил, он вообще отвечать не будет. Но он все-таки ответил. «Это надо понимать так, — сказал он, — что в истории было много случаев, когда ученики предавали своего учителя. Но что-то я не припомню случая, чтобы учитель предал своих учеников».

20 июля. Семь вечера.

Потому что тогда он сразу переставал быть учителем. И в истории он как учитель уже не значился.

Хотел пойти поговорить с Ванькой Дроздовым и прочими — как они насчет завтрашнего? Пойдут все как один? С развернутыми знаменами? Может быть, еще и хлебнут для храбрости? Акция ведь все-таки — дело новое, непривычное!

Поздно спохватился. Перед лицеем уже никого нет. одни окурки катаются, да кучка добрых молодцев, окружив последний звонок, препирается, кому его отсюда тащить. И еще стражи порядка прохаживаются в отдалении. («В отдалении реяли квартальные».)

Появился Ираклий Самсонович. Длинно и путано объясняет, что утром его не пропустили. Готовит на завтра хаши.

Объявилась библиотекаряша. Сделала мне выговор,

что не вернул на место сегодняшние газеты. Нагрузил ей. Хамло я этакое.

Тоскливо. Аскольда видеть не хочу (что дурно). Зойка в миноре, а Иришка твердит как заклинание, что все будет хорошо.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (26—27).

26. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад, когда пророк Мухаммед уже умер и первый арабский халиф Абу-Бекр принялся приводить к исламу Аравийский полуостров.

Был некто Нахар ибн-Унфува по прозвищу Раджаль или Раххаль, что означает «много ходящий пешком», «много путешествующий», или, говоря попросту, «бродяга», «шляющийся человек». Был он вначале учеником и доверенным Мухаммеда, жил при нем в Медине, читал Коран и утверждался в исламе. А потом Мухаммед послал его своим миссионером и связником в Йемену, к Мусейлиме, вождю и вероучителю племени Бену-Ханифа.

Конечно, в то время никто не называл Мусейлиму Мусейлимой. Все звали его тогда: почтенный Маслама, пророк Маслама и даже милостивый Маслама, то есть бог Маслама. Сам Мухаммед называл его тогда своим братом по пророчеству. Действительно, учения их были во многом сходны, однако имелись и различия, которые, будучи применены к политической практике, развели братьев настолько, что в Медине перестали называть Масламу почтенным и приклеили ему презрительное имя Мусейлима, то есть, говоря по-русски, что-то вроде «Масламышка задрипанный».

Раххаль выбрал Масламу. Он остался в Йемене, в этой житнице Аравии, и сделался правой рукой Масламы, исполнителем самых деликатных его поручений и невысказанных желаний. Он показал себя великолепным организатором и контрпропагандистом. Он наладил для Масламы политический сыск и, будучи тонким знатоком Корана, был непобедим в открытых диспутах с миссионерами, которых Мухаммед упорно продолжал засылать в Йемену.

Слава о нем распространилась широко, но это была недобрая слава. Считалось, что при Масламе поселился дьявол, которому Маслама повинует, а потому и преуспевает во зле. Сам Пророк незадолго до смерти говорил о Раххале как о человеке, зубы которого в огне превзойдут гору Оход. (Видимо, Оход был вулканом, и странную эту фразу надо понимать в том смысле, что, когда Раххаль будет гореть в аду, зубы его запылают пламенем вулканическим.)

Наследник Мухаммеда халиф Абу-Бекр в первую голову решил заняться усмирением Йемены. Однако никакого боевого опыта у его военачальников тогда еще не было. Лихие кавалерийские наскоки Икрима ибн-Абу-Джахля, равно как и Шурхабиля ибн-Хасана, были благополучно отбиты на границах, и тем не менее положение Йемены сделалось тяжелым. С запада по-прежнему угрожал ей Шурхабиль ибн-Хасан, с востока — ал-Ала ибн-ал-Хидрими, с юга грозил подойти отбитый Икрима, а тут еще с севера обрушилась на Йемену и дошла до самого харама (обители Масламы) христианская пророчица Саджах из Джезир с двумя корпусами диких темимитов на конях и верблюдах.

Саджах было наплевать и на Масламу, и на Абу-Бекра в одинаковой степени. Она была христианка. Ислам ей был отвратителен, как святотатственное извращение учения Христа. Она пришла в Йемену за зерном и вообще за добычей.

Масламе удалось заключить с нею оборонительно-наступательный союз, хотя обе договаривающиеся стороны были невысокого мнения друг о друге. Йеменцы презрительно называли кочевников-темимитов

«люди войлока», а темимиты говорили йемамцам-земледельцам: «Сидите в своей Йемаме и копайтесь в грязи. И первый, и последний из вас — рабы».

Детали военного союза нас не интересуют. Последующее мусульманское предание представило этот союз в скабрёзном виде. Совершенно напрасно: Маслама был аскетом и по убеждениям, и по образу жизни. Да и по возрасту, если уж на то пошло.

Не было скабрёзности в этой истории. Была любовь. Огромная, фантастическая, рухнувшая в одночасье на двух совершенно разных людей — на бешено фанатичную красавицу темимитку и на невзрачного, но зато окутанного легендой и тайной, не верящего ни в бога, ни в дьявола Раххалю, друга, руководителя и клеветника самого Масламы. История этой поистине удивительной и поражающей воображение любви была, говорят, воспета бродячим поэтом-салуком (которого называли иногда вторым Антарой ибн-Шалдадом) в поэме «Мать запутанных созвездий», то есть «Полярная звезда». Текст поэмы, к сожалению, не дошел до нас.

Счастье их было недолгим. Саджах вернулась к себе на север. То ли влюбленный дьявол Раххаль наскучил ей, то ли политическая нужда потребовала ее присутствия в Месопотамии. Маслама потерял могущественного союзника. Хуже того, в отсутствие своей предводительницы темимиты возмутились против него. Абу-Бекр немедленно использовал все преимущества новой ситуации. На Йемаму двинулась армия лучшего тогда полководца мусульман Халида ибн-Али Балида.

И тут на сцене появляется наш знакомец Мудджа ибн-Мурара. Был он шерифом, то есть принадлежал к воинской знати Йемамы. И был он великим честолюбцем. Разночтения и нюансы ислама не интересовали его. Он хотел властвовать — спихнуть Масламу и властвовать в Йемаме.

В самом начале кампании он перекидывается к Халиду и предлагает ему тщательно разработанный план покорения Йемамы с тем, чтобы по окончании всего Абу-Бекр сделал его, Муджду ибн-Мурару, там наместником.

Этот план предусматривал не только хитроумное удаление от войска йемамцев дьявола Раххалю в самый ответственный момент, но и обеспечение добровольной покорности побежденных после окончания военных действий. Раххалю предстояло удалиться с помощью подложной записочки от его возлюбленной Саджах (а может быть, и подлинной, кто знает?). Сам Мудджа брал на себя роль патриота-страдальца, мучимого жестоким Халидом: он будет ходить закованным в кандалы, полумертвым от голода и жажды, а в нужный момент он «обманет» Халида, и Халид «попадется» на этот обман, и слава Мудджи ибн-Мурары, мученика и страдальца за свой народ, сумевшего обмануть свирепого полководца, широко распространится по всей поверженной Йемаме, и все Бену-Ханифа будут неустанно благословлять имя его, своего нового владыки.

Все прошло как по маслу. То есть замысел Мудджи реализовался целиком и полностью.

Правда, отсутствие Раххалю, противу всяких ожиданий, никакой особенной роли не сыграло. И в битве под Акрабой, и при взятии харама Масламы йемамцы бились бешено и неистово, предпочитая умереть, нежели побежать. Взаимная ненависть достигла последнего предела. Мать Хабиба (которому Раххаль несколько лет назад велел отрубить руки и ноги за шпионско-диверсионные дела), давшая клятву, что не будет мыться, пока не будет убит проклятый Мусейлима, дралась, как безумная, и в битве за харам потеряла руку и получила двенадцать боевых ранений. Шурхабил, сын Масламы, перед боем призывав-

ший войско сражаться за своих жен и за свою честь — о вере он упомянуть забыл, — так вот Шурхабил задохнулся насмерть под грудой зарубленных и заколотых им врагов. Упомянутый выше «бешеный и горячий» Бара ибн-Малик при взятии харама остервенел до такой степени, что приказал своим воинам перебросить себя через стену харама — там, окруженный воюющей толпой йемамцев, он, как безумный, пробился к воротам, впустил внутрь харама свой отряд, после чего снова запер ворота, а ключ зашвырнул в пространство...

В этих сражениях полегло десять тысяч йемамцев. Как военная сила Бену-Ханифа перестали существовать. Но и потери мусульман были ужасны: список одних только знатных, погибших на поле боя, достигает тысячи двухсот человек.

Мудджа ибн-Мурара исправно разыгрывал свою роль. Изможденный и несчастный, лязгая кандалами, подталкиваемый в спину ножами жестоких конвойных, он бродил по полям битв, опознавая тела наиболее известных врагов Халида. Он опознал труп Мухакима, командира гвардейского полка Масламы. Он опознал труп самого Масламы и опознал труп сына Масламы — Шурхабиля. И конечно же, он опознал труп Раххалю, так что весть о гибели дьявола сразу же широко распространилась по всей Йемаме.

Над телом Масламы, малорослого, желтого, тупоносого человечка, между Мудждой и Халидом при большом стечении свидетелей произошел следующий диалог.

— Вот это и есть главный враг ислама, — объявил Мудджа. — Теперь вы избавились от него.

— Быть того не может! — с хорошо разыгранным изумлением воскликнул Халид. — Неужели этот облезлый привел вас туда, куда он вас привел?

— Да, именно так оно и случилось, Халид, — сказал Мудджа сокрушенно. Но тут же гордо выпрямился и произнес на всю округу: — Однако клянусь богом, не радуйся слишком рано. Пока против тебя вышли только передовые застрельщики из самых торопливых, а по-настоящему опытные ждут тебя в крепостях, и с ними тебе непросто будет справиться.

И действительно, когда Халид подступил к Хаджру, он увидел на стенах его огромную массу воинов в сверкающих доспехах — весьма внушительное и грозное зрелище. На самом же деле это все были женщины да подростки, настоящих воинов в стенах столицы почти не осталось.

Халид картинно задумался, а затем, повернувшись к советникам, спросил: «Что скажете, почтенные?» Почтенные тут же высказались в том смысле, что, мол, хватит проливать кровь и надлежит немедленно предложить противнику условия капитуляции, а именно: желтое и белое (золото и серебро) — все, какое есть; кольчуги и кони — все, какие есть; а от пленных — только половину.

Переговоры начались. Мудджа выступил делегатом от Халида, и все закончилось даже легче, чем опасались в Хаджре. И, наконец, последняя сцена.

Ворота крепости распахиваются, Халид входит в город, и очень скоро обнаруживается, что там только женщины и дети. На рыночной площади, полной народа, Халид в великолепной ярости топает ногами, хватается за саблю и орет на Муджду: «Ты обманул меня!» — а тот, изможденный, но гордый, высоко поднимает голову и отвечает в том смысле, что да, обманул, однако поступил так исключительно во имя и ради своего народа. Буря восторгов. Все валятся ниц. Занавес.

О дальнейшей судьбе Мудджи ибн-Мурары известно немного. Он более или менее благополучно правил Йемамой, обращенной в ислам, исправно платил подати халифу и железной рукой подавлял беспоряд-

ки. Умер он как-то странно. Существует версия, будто некий колдун заранее предсказал день и час его смерти. И действительно, в назначенное время он был найден на ковре в своих покоях зарезанным. Кто его зарезал и почему — осталось тайной. Знающие люди связывали это убийство с претензиями Мудджи возглавить поход мусульман на Египет.

27. Саджах.

О Саджах!

Саджах из Джезиры!

Грудь твою...

Получив записку, Раххаль не размышлял и минуты. Записка была на арамейском: «Любимый! Я жду тебя в Басре. Спешу, ибо ты можешь опоздать». Четыре месяца он ждал этого зова и вот дождался. Даже не извинившись перед Шурхабилем, он принял из рук Молчаливого Барса драгоценный кофр, обшитый свиной кожей, и сам приторочил к седлу Белобрюхого.

Через десять минут Акраба, спящая армия и поле завтрашней битвы остались у него за спиной. Он уже забыл о них. До Басры было тридцать караванных переходов. Следовало пройти этот путь за десять суток или даже быстрее. Это было в пределах возможного. Под ними были лучшие дромадеры Аравии, и всадники были лучшими в Аравии: двадцать бывших таридов, изгоев без роду и племени, двадцать телохранителей, двадцать поэтов, двадцать побратимов, преданных друг другу до последнего и почитающих его, Раххала, как самого бога. А может быть, как дьявола. Они никогда ни о чем не спрашивали его, как никогда и ни о чем не спрашивают тебя твои руки. Он мельком тепло подумал об этих людях.

Он был безумен. Любовь старого человека производит обычно впечатление несколько комическое. Этим летом Раххалу исполнилось шестьсот тридцать четыре года. Любное безумие старика не способно вызывать уже ни улыбки, ни сочувствия. Оно вызывает только страх. Раххаль сейчас был неудержим, ничто не могло его остановить. Ни войско, ни самум, ни землетрясение. Ни даже море. Ни даже смерть. Так по крайней мере он ощущал себя. Он сам был страшнее любого самума, землетрясения или смерти. Его снова называли «любимый», и он рисковал опоздать.

Саджах.

О Саджах!

Саджах Месопотамская!

Бедро твою...

(С непривычно и неприятно стесненным сердцем следил я украдкой за Агасфером Лукичом, как он мечется по моей комнатке, то и дело сшибая плечом со стены развешанное оружие, с хрустом выкручивает себе пальцы, как он то бросается к двери и замирает, упершись слабыми ручками в косяки, то с размаху кидается в мое колченогое кресло у стола и колотит кулачками по столешнице рядом с иззубренным йеменским мечом Мудджи ибн-Мурары, маленький, нелепый, безобразный, — и говорит, говорит...)

Отряд стремительно мчался по пустыне, и шайки разбойных темимитов, уже нацеливавшиеся было наброситься, в ужасе разворачивали коней и, словно стаи испуганных уток, опрометью разлетались кто куда.

Басра.

Ее здесь нет уже. Был бой, персы отбросили ее, и она ушла на Хиру. Точно ли на Хиру? Умиравший от ран танухид клянется богом своего племени: ушла на Хиру, здорова, прекрасна, но не весела. Неужели

опоздал? Неужели я нужен был ей здесь, под Басрой? Проклятые персы!

Купцы каравана, попавшего под ноги, валяются ничком на раскаленный песок, в мыслях своих расставшись уже и с желтым, и с белым, и с мягким, и с сухим, и с жидким, и с самой жизнью в придачу. Некогда! Потом, братья, потом! Вперед!

Хира.

Она была здесь. Еще дымятся развалины гарнизонной казармы, еще причитают, исходя проклятиями, женщины на порогах своих глинобитных халуп, вывернутых наизнанку, еще болтается веревка на поперечной балке, где она распорядилась повесить ромейского попа, знаменитого зверскими своими расправами над несторианами... Слава всем богам, удача сопутствовала ей здесь, она разгромила ромеев и пошла на Алеппо... Куда? На Алеппо? Она тоже обезумела. С толпой дикарей она одна идет на всю мощь ромеев! Несомненно, это любовная тоска. Он понимает ее. Она готова сейчас грызть железо только потому, что любимого нет рядом с нею. Он вспоминает: лесная прогалина над Гангом после любовных игр пары леопардов — словно табуны диких жеребцов сутки напролет дрались там не на жизнь, а на смерть. Вот что такое любовная тоска Саджах. А любимый слишком медлителен, он еле ползет по бесконечным пескам... Коней! Где взять коней?

В двух переходах от Хиры он натывается на кочевье безвестного племени. Коня. Много коней. Но эти кочевники не понимают своего положения. Им кажется, будто их много, и они могут сделать выгодный обмен. Тем хуже для них, потому что торговаться некогда. Это безвестное племя — оно навсегда останется безвестным, больше о нем никто никогда не услышит. А мы сохраним в сердцах наших брата Шарана, брата Серого и брата Хасана Беззубого. Не хоронить! Некогда! Вперед!

Сиффин.

Она не дошла до Алеппо. Под Сиффином ее встретила бригада панцирной кавалерии под командованием генерала Аммона и пресвитера Евпраксия. Они убили ее. Им удалось взять ее живой, и вот здесь, на Бараньем Лбу, пресвитер Евпраксий предал ее ужасной смерти как еретичку и лжепророкиню.

Саджах.

О Саджах!

Саджах, дочь танух и тамим!

Лоно твою...

Тысячи и тысячи женщин были у него, он никогда не был аскетом, он был лакомка, он и сейчас не пройдет мимо сдобной булочки, несмотря на годы свои и на свою невзрачную внешность. Почему же из этих тысяч и тысяч всегда глодала его душу, мучительно гложет сейчас и, видно, вечно будет глодать память о ней одной? Почему эта любовь так болит? Ведь ее давно нет, она была тринадцать веков назад! Почему же так мучительно ноет, ломит и саднит она, словно мочка отрубленного уха в дурную погоду?

О Саджах.

Насмерть перепуганный сиффинец не только показывал, по какой дороге ушли ромеи, но и согласился быть проводником. Уже на третий день Раххаль увидел дым их костров. Дальше все было делом техники. На рассвете четвертого дня они уже скакали назад. Рядом с Молчаливым Барсом, перекинутый через спину подменного жеребца, дергался и мычал ковровый мешок, содержащий в себе пресвитера Евпраксия (взятого в полевом нужнике со спущенными штанами).

На Бараньем Лбу в присутствии стонущих от ужаса свидетелей гибели Саджах проделал Раххаль с пресвитером все то, что было проделано с любимой. Разумеется, с необходимой поправкой на мужские статьи.

Пресвитер Евпраксий кричал, не переставая, все два часа. Раххаль не слышал его. Чувства в нем отключились. Он только вспоминал.

Губы твои...

Глаза твои...

Что же все-таки произошло на самом деле с этой достопамятной запиской? Может быть, следует поверить появившимся позднее слухам о том, что записка была подложной,— умный враг состряпал ее для того, чтобы в нужный момент заставить грозного дьявола бросить все и умчаться на север, где никто не ждал его и где никому он не был нужен? Ведь и правда, если судить по всем действиям Саджах, она к тому времени уже напрочь выбросила бывшего возлюбленного из головы и сердца и жила в свое удовольствие — лихо, дерзко, кроваво. Ей и в голову не могло прийти, что он спешит к ней, а потому и не было от нее к Раххалю ни связных, ни гонцов, ни пересыльщиков. И только в любовном своем безумии способен был объяснить хитрый, многоопытный, осторожный Раххаль поступки ее как любовное безумие хитрой, многоопытной, осторожной воительницы.

Гипотеза о подложной записке долгое время утешала его. Из этой гипотезы следовало, что она вовсе и не ждала его помощи, нисколько не рассчитывала на него и в последние страшные минуты свои не искала сквозь кровавый туман на горизонте блеска его сабеля. И тогда можно было проклинать злобного врага, подсунувшего ему эту фальшивку, только за то, что фальшивка была подсунута слишком поздно. Ведь, получи ее Раххаль хотя бы тремя днями раньше, все обернулось бы по-другому.

Ну, конечно же, возлюбленный у нее был. Трезвой частью своего существа он сознавал, он знал наверняка, что возлюбленный был молодой, горячий, неутомимый. Людская молва называла одного абиссинца, старшего сына смельчака Вахшии ибн-Харба, того самого, что зарубил Масламу на пороге харама. Однако Раххаль не мог ревновать. Он точно знал: абиссинец дрался за Саджах до последнего своего вздоха,— утыканный ромейскими стрелами, иссеченный ромейскими мечами, проткнутый ромейскими пиками, залитый своей и чужой кровью так, что не видно было ни одежды его, ни лица.

А вот блестящий пустоголовый жеребец Бара ибн-Малик быть ее возлюбленным не мог. Это было совершенно невозможно. Не получалось по времени. Мудджа ибн-Мурара в своем мучительном предсмертном стремлении уколоть побольше солгал. Хотя, конечно, он точно рассчитал, что нельзя представить себе соперника, более достойного сжигающей ревности, нежели Бара ибн-Малик.

Да разве в сопернике дело? Какая разница — абиссинец, Бара ибн-Малик, еще кто-то,— они насчитывались десятками. Не было мужчины, который, увидев ее, не превратился бы в воспламененного леопарда. Ей оставалось только выбирать. И никак не Раххалю, прекрасно понимавшему свое физическое несовершенство, следовало угнетаться ревностью. Ему достаточно было и того, что Саджах выбрала его хотя бы на несколько дней...

Мудджа ибн-Мурара заскорузлым пальцем ткнул в затянувшуюся рану и сделал очень, очень больно. Потому что открылось, что письмо могло и не быть фальшивым. И вмиг воспалившееся воображение нарисовало картину поистине адскую: молодой, ловкий наемный любовник, мастер и ходок, подосланный расчетливым негодяем, диктует задыхающейся от страсти Саджах, что ей надлежит сделать и что написать.

Почему эта мысль, такая простая, естественная, не пришла ему в голову тогда, тринадцать веков назад? Он бы нашел этого наемника. А сейчас даже глины не найти, в которую обратились его кости...

Уста твои, страстной неге навстречу раскрытые,
Лоно твое, как нехоженный луг, молодыми сочащийся

травками.

Кипящая жизнью, нетронутая, нежная мягкость груди,
И затуманенный взгляд призывающий твой...

(Я смотрел, как он плачет мутными, старческими слезами, и поражался ему, и не понимал его, и думал: нет, видно, никогда не распадется цепь времен, ибо воистину, как смерть, крепка любовь, люта, как преисподняя, ревность, и стрелы ее — стрелы огненные...)

28. Я ходил в сберкассах и проторчал там в очереди три четверти часа...

ДНЕВНИК. 20 июля. Около полуночи.

Странно, мы никогда не думали о семейной жизни Г. А. Знали понаслышке очень немного, и этого нам хватало вполне. Это было для нас неважно. Знали, что жена его умерла пятнадцать лет назад. Кажется, она была эпидемиологом, заразилась во время первой эпидемии «африканки» и погибла. Знали, что у него двое детей, сын и дочь, но где они, кто они — никого это не интересовало. Г. А. для нас всегда был Г. А. — одинокий, единственный и самодостаточный. Без приложений. Мы не нуждались ни в каких к нему приложениях. Наверное, они бы даже мешали нам.

Г. А. провожал нуси к выходу, а я подслушивал. Это был безнадежный конец какого-то безнадежного разговора. И нуси сказал: «Папа, зря ты меня позвал, и зря я к тебе пришел. У тебя свои ученики, у меня — свои. У вас, папа, своя правда, а у нас — своя». Они говорили еще что-то, но я стоял, как пыльным мешком трахнутый, и ничего больше не слышал и не понимал. «Папа!» Понимаешь теперь, на что эти гниды намекали? Не знаю, что писать. В голове не помещается.

21 июля. Два часа ночи.

Это ничего не значит. Во-первых, всегда можно сказать, что в детях гениев природа отдыхает. А во-вторых, если подумать, нуси-то ведь тоже учитель — и причем самого высокого класса! Держать в подчинении такое стадо, оплодотворить эту безмозглую пустьню идей...

Неужели Г. А. угадал, и они в конце концов заставят нас потесниться, будучи в полном праве, как равные, а в перспективе, может быть, и в большинстве... Господи, бедный Г. А.

А может быть, не такой уж и бедный? Пусть даже это его педагогическая ошибка, но зато какая! Она равна открытию!

Гордись, Игорь Всеволодович, ты хорошо сказал сегодня: «Если он даже ошибается, каждая его ошибка в сто раз значительнее и важнее, чем все ваши правильные решения».

«The uncommon man wants to leave a world different from what he found; a better, enriched by his personal creation. For this he is willing to sacrifice much or all of the happiness that the common man enjoys»*.

РУКОПИСЬ «ОЗ» (28—29).

28. Я ходил в сберкассах и проторчал там в очереди три четверти часа, до самого обеда.

* Незаурядный человек хочет оставить по себе мир иным, нежели тот, в который он явился,— лучшим, обогащенным его собственным творчеством. Для этого он готов пожертвовать большей частью радостей или даже всеми радостями, которыми наслаждается человек заурядный.

Когда я вернулся, он уже сидел на кухне и хлебал из эмалированной миски югославский пакетный суп. Был он тощий, нелепый, угловатый, костлявый, с чешуйчатыми от грязи плоскостопными ножищами. Тонкая прыщавая шея, гигантский шмыгающий нос, выпученные глаза со слезой, скудный лобик под всклоченной пегой шевелюрой. Дрисливый гусенок. Лет ему было, наверное, не более шестнадцати, голос у него ломался, а унылую физиономию его покрывали «бутоны д'амур».

Когда я вошел в кухню, он шарахнул в мою сторону паническим взглядом, но, не обнаружив, по-видимому, во мне никакой опасности, провел пальцем под носом и снова вернулся к хлебу. Я только глянул на его неопиcуемый бурнус и сразу понял, где источник того странного запаха, который я почуял еще в прихожей. Этот бурнус не стирали. Никогда. И не снимали тоже. Его только носили. И днем, и ночью. В нем даже наверняка ни разу не тонули.

— Кто таков? — спросил я грозно.

Бригада моя, сочувственно окружавшая носителя бурнуса, безмолвствовала — как мне показалось, трусливо и виновато.

— Кто впустил? — продолжал я, беря тоном выше. — Почему не сделали санобработку? Инструкция не для вас писана? По холере соскучились?

Кто его впустил — так и осталось неизвестным. В конце концов, может быть, и на самом деле никто не впускал, а просто внесло его в нашу прихожую — и всех делов. Бывали такие случаи. И не раз. А вот пакетным супом (овощным со специями, тридцать семь копеек пакет, счет прилагается) его накормил сердобольный Марек Парасюхин, в коем, как известно, всегда сочетались нордическое милосердие и славянская широта натуры.

Дохлебав угощение до последней капли, он вылизал миску, да так быстро и ловко, что мы и рук протянуть не успели, а она уже была, как новенькая. Потом он принялся говорить — так же торопливо, жадно, брызгаясь и захлебываясь, как только что ел.

Вначале, кроме постоянно повторяющейся просьбы оставить здесь и спрятать, мы ничего не понимали. Какие-то жалобы. Что-то там у него было с родителями, то ли мать померла, рожая его, то ли сам он чуть не помер при родах... отец был богатый, а денег на него совсем не давал... И все его били. Всегда. Пока он был маленький, его били ребятишки. Когда он подросток, за него ввязались взрослые. Его обзывали: тухляком, прорвой ненасытной, масальгой, идиотом, дерьмочистом, дерьмодралом, дерьмоедом, сирийской рыбой, римской смазкой, египетским котом, шавкой, сывкой и залепухой, колодой, дубиной и длинным колом... Девочки не хотели иметь с ним дела. Никогда. Никогда. Даже киликийские шлюхи. И все время хотелось есть. Он съел даже протухшую рыбу, которую подсунили ему однажды смеха ради, и чуть не умер. Он даже свинину ел, если хотите знать... Ничего не было для него в этом мире. Ни еды. Ни женщин. Ни дружбы. Ни даже простого доброго слова...

И вот появился Рабби.

Рабби положил руку ему на голову, узкую чистую руку без колец и браслетов, и он почему-то сразу понял, что эта рука не вцепится ему в волосы и не ударит его лицом о выставленное колено. Эта рука источала добро и любовь. Оказывается, в этом мире еще оставались добро и любовь.

Рабби заглянул ему в глаза и заговорил. Он не помнит, что сказал ему Рабби. Рабби замечательно говорил. Всегда так складно, так гладко, так красиво, но он никогда не понимал, о чем речь, и не способен был запомнить ни слова. А может быть, там и не было слов? Может быть, была только музыка, на-

стойчиво напоминавшая, что есть, есть, есть в этом мире и добро, и дружба, и доверие, и красота...

Конечно, среди учеников он оказался самым распоследним. Все его гоняли. То за водой, то на рынок, то к ростовщику, то к старосте. Вскопай огород хозяйну — он нас приютит. Омой ноги этой женщине — она нас накормила. Помоги рабам этого купца — он дал нам денег... Опасный Иоанн со своим вечным страшным кинжалом бросает ему сандали — чтобы к утру починил! Ядовитый, как тухлая рыба, Фома для разлечения своего загадывает ему дурацкие загадки, а если не отгадаешь — «показывает Иерусалим». Спесивый и нудный Петр ежеутренне пристает с нравоучениями, понять которые так же невозможно, как и речи Рабби, но только Рабби не сердится никогда, а Петр только и делает, что сердится да нудит. Сядет, бывало, утром на задах по большому делу, поставит перед собой и нудит, нудит, нудит... тужится, кряхтит и нудит.

И все равно это было счастье. Ведь рядом всегда был Рабби, протяни руку — и коснешься его. Он потреплет тебя за ухо, и ты весь день счастлив, как птичка.

...Но когда они пришли в Иерусалим, сразу стало хуже. Он не понимал, что случилось, он видел только, что все сделались недовольны, а на чело Рабби пала тень тревоги и заботы. Что-то было не так. Что-то сделалось не так, как нужно. Что тут было поделать? Он из кожи лез вон. Старался услужить каждому. В глаза заглядывал, чтобы угадать желание. Бросался по первому слову. И все равно подзатыльники сыпались градом, и больше не было шуток, даже дурацких и болезненных, а Рабби стал рассеян и совсем не замечал его. Все почему-то ждали Пасхи. И вот она настала.

Все переделались в чистое (кроме него — у него не было чистого) и сели вечерять. Неторопливо беседовали, по очереди макали пасху в блюдо с медом, мир был за столом, и все любили друг друга, а Рабби молчал и был печален. Потом он вдруг заговорил, и речь его была полна горечи и тяжелых предчувствий, не было в ней ничего о добре, о любви, о счастье, о красоте, а было что-то о предательстве, о недоверии, о злоте, о боли.

И все загомонили, сначала робко, с недоумением, а потом все громче, с обидой и даже с возмущением. «Да кто же? — раздавались голоса. — Скажи же! Назови нам его тогда!» — а опасный Иоанн зашарил бешеными глазами по лицам и уже схватился за рукоять своего страшного ножа. А он тем временем укрادкой, потому что очередь была не его, потянулся своим куском к блюду, и тут Рабби вдруг сказал про него: «Да вот хотя бы он», — и наступила тишина, и все посмотрели на него, а он с перепугу уронил кусок в мед и отдернул руку.

Первым засмеялся Фома, потом вежливо захихикал Петр, культурно прикрывая ладонью волосатую пасть, а потом и Иоанн захохотал оглушительно, откинувшись назад всем телом и чуть не валясь со скамьи. И захохотали все. Им почему-то сделалось смешно, и даже Рабби улыбнулся, но улыбка его была бледна и печальна.

А он не смеялся. Сначала он испугался, он решил, что его сейчас накажут за то, что он полез к меду без очереди. Потом он сообразил, что его проступка даже не заметили. И тут же почему-то понял, что ничего смешного не происходит, а происходит страшное. Откуда у него взялось это понимание? Неизвестно. Может, родилось оно от бледной и печальной улыбки Рабби? А может быть, это было просто звериное предчувствие беды?

Они отсмеялись, погалдели, настроение у всех поднялось, они все рады были, что Рабби впервые за

неделю отпустил шутку и шутка оказалась столь удачной. Они доели пасху, и ему было велено убрать со стола, а сами стали укладываться на ночь. И вот, когда он мыл во дворике посуду, вышел к нему под звездное небо Рабби, присел рядом на перевернутый котел и заговорил с ним.

Рабби говорил долго, медленно, терпеливо, повторял снова и снова одно и то же: куда он должен будет сейчас пойти, кого спросить, и когда поставят его перед спрошенным. что надо будет рассказать и что делать дальше. Рабби говорил, а потом требовал, чтобы он повторил сказанное, чтобы он запомнил накрепко: куда, кого, что рассказать и что делать потом.

И когда, уже утром, он правильно и без запинки повторил приказание в третий раз, Рабби похвалил его и повел за собой обратно в помещение. И там, в помещении, Рабби громко, так, чтобы слышали те, кто не спал, и те, кто проснулся, велел ему взять корзину и сейчас же идти на рынок, чтобы купить еду на завтра, а правильное сказать — на сегодня, потому что утро уже наступило, и дал ему денег, взявши их у Петра.

И он пошел по прохладным еще улицам города. в четвертый, в пятый и в шестой раз повторяя про себя: кого; что рассказать; что делать потом, — и держал свой путь туда, куда ему было приказано, а вовсе не на рынок. И он удивлялся, почему черное, звериное предчувствие беды сейчас, когда он выполняет приказание Рабби, не только не покидает его, но даже как будто усиливается с каждым шагом, и почему-то виделись ему в уличных голубых тенях бешеные глаза опасного Иоанна и чудился леденящий отблеск на лезвии его длинного ножа...

Он пришел, куда ему было приказано, и спросил того, кого приказано было спросить, и сначала его не пускали, и мучительно долго томили в огромном, еле освещенном единственным факелом помещении, так что ноги его застыли на каменном полу, а потом повели куда-то, и он предстал, и без запинки, без единой ошибки (это было счастье!) проговорил все, что ему было приказано проговорить. И он увидел, как странная, противоестественная радость разгорается на холеном лице богатого человека, перед которым он стоял. Когда он закончил, его похвалили и сунули ему в руки мешочек с деньгами. Все было именно так, как предсказывал Рабби: похвалят, дадут денег, — и вот он уже ведет стражников.

Солнце поднялось высоко, народу полно на улицах, и все расступаются перед ним, потому что за ним идут стражники. Все, как предсказывал Рабби, а беда все ближе и ближе, и ничего невозможно сделать, потому что все идет, как предсказывал Рабби, а значит — правильно.

Как было приказано, он оставил стражников на пороге, а сам вошел в дом. Все сидели за столом и слушали Рабби, а опасный Иоанн почему-то припал к Рабби, словно стараясь закрыть его грудь своим телом.

Войдя, он сказал, как было приказано: «Я пришел, Рабби», — и Рабби, ласково освободившись от рук Иоанна, поднялся и подошел к нему, и обнял его, и прижал к себе, и поцеловал, как иного сына целует отец. И сейчас же в помещение ворвались стражники, а навстречу им с ужасающим ревом, прямо через стол, вылетел Иоанн с занесенным мечом, и начался бой.

Его сразу же сбили с ног и затоптали, и он впал в беспамятство, он ничего не видел и не слышал, а когда очнулся, то оказалось, что валяется он в углу жалкой грудой беспомощных костей, и каждая кость болела, а над ним сидел на корточках Петр, и больше в помещении никого не было, все было завалено

битыми горшками, поломанной мебелью, растоптанной едой и обильно окроплено кровью, как на бойне.

Петр смотрел ему прямо в лицо, но словно бы не видел его, только судорожно кусал себе пальцы и бормотал, большей частью неразборчиво. «Делать-то теперь что? — бормотал Петр, бессмысленно тараща глаза. — Мне-то теперь что делать? Куда мне-то теперь деваться?» — А заметивши наконец, что он очнулся, схватил его обеими руками за шею и заорал в голос: «— Ты сам их сюда привел, козий отброс, или тебе было велено? Говори!» «Мне было велено», — ответил он. «А это откуда?» — заорал Петр еще пуще, тыча ему в лицо мешочек с деньгами. «Велено мне было», — сказал он в отчаянии. И тогда Петр отпустил его, поднялся и пошел вон, на ходу засовывая мешочек за пазуху, но на пороге приостановился, повернулся к нему и сказал, словно выплюнул: «Предатель вонючий, иуда!»

На этом месте рассказа наш гусенок внезапно оборвал себя на полуслове, весь затрясся и с ужасом устоялся на дверь. Тут и мы всей бригадой тоже посмотрели на дверь. В дверях не было ничего особенного. Там стоял, держа портфель под мышкой, Агасфер Лукич и с неопределенным выражением на лице (то ли жалость написана была на этом лице, то ли печальное презрение, а может быть, и некая ностальгическая тоска) смотрел на гусенка и манил его к себе пальцем. И гусенок с грохотом обрушил все свои мослы на пол и на четвереньках пополз к его ногам, визгливо вскрикивая:

— Велено мне было! Велено! Он сам велел! И никому не велел говорить! Я бы сказал тебе, Опасный, но ведь он никому не велел говорить!..

— Встань, дристан, — сказал Агасфер Лукич. — Подбери сопли. Все давно прошло и забыто. Пошли. Он хочет тебя видеть.

29. Сегодня наступило, наконец, семнадцатое, но не семнадцатое ноября, а семнадцатое июля. Солнце ослепительное. Грязища под окнами высохла и превратилась в серую растрескавшуюся твердь. Тополя на проспекте Труда клубятся зеленью, сережки с них уже осыпались. Жарко. В чем идти на улицу — непонятно. Самое летнее, что у меня есть, это нейлоновая майка и трусы.

Прямо с утра Парасюхин облачился в свой черный кожаный мундир эсэсовского самокатчика (а также патрона «Голубой устрицы») и пристал к Демиургу, чтобы тот откомандировал его в Мир Мечты. Мир — с большой буквы, и Мечта — тоже с большой буквы. Трижды Демиург нарочито настырным, казенно-дидактическим тоном переспрашивал его: Мир чьей именно Мечты имеется в виду? Даже я, внутренне потешаясь над происходящим, почуял в этом настойчивом переспрашивании какую-то угрозу, какой-то камень подводный, и некое смутное неприятное воспоминание шевельнулось во мне, я даже испытал что-то вроде опасения за нашего Парасюхина. Однако румяный болван не учуял ничего — со всей своей знаменитой нордической интуицией и со всем своим широко объявленным внутренним голосом. Он пернапролом: Мир только одной Мечты возможен, все остальное — либо миражи, либо происки... Мечта чистая, как чист хрустальный родник, нарождающийся в чистых глубинах чистой родины народа... его, парасюхинская, личная Мечта, она же мечта родов народных...

С тем он и был откомандирован. Вот уже скоро обедать пора, а его все нет.

Явилась пара абитуриентов. Юнец и юница, горячие комсомольские сердца. Оба в зеленых выгоревших комбинезонах, исполосованных надписями БАМ-СТРОЙ, ТАМСТРОЙ, СЯМСТРОЙ, такие-то годы (в



том числе и 1997, что меня несколько удивило). Лица румянятся смущением и пылают энтузиазмом.

К стопам был повергнут проект «О лишении человечества страха». Фундамент и отец нашей цивилизации — страх... Совесть зачастую тоже базируется на страхе... и тому подобное. Вообще весь проект построен на микроскопическом личном опыте и на вычитанной где-то фразе: «Поскребите любое дурное свойство человека, и выйдет его основа — страх». (Сказано в манере Бернарда Шоу, но это не Бернард Шоу.) Страх сковывает и угнетает: чувство справедливости, прямоту-честность-откровенность, гордость сюда же, собственное достоинство, принципиальность...

Дemiург запутал их играючи. Нельзя ведь отрицать, что страх сковывает и угнетает также: садизм-мазохизм, стремление к легкой наживе, склонность к лжесвидетельству, мстительность, агрессивность, потребительское отношение к чужой жизни, склонность к анонимкам, идиотскую принципиальность... Кроме того, если поскрести кое-какие ДОБРЫЕ свойства кое-каких людей, то и в этом случае частенько вылезает наружу все тот же страх... Впрочем, сама по себе мысль не дурна, есть о чем поразмыслить, однако требуется тщательная и всесторонняя доработка. Проводить! Угостить нашим морсом! Подать пальто!

Какие пальто в середине июля! Я повел их на кухню поить морсом, и тут объявился Парасюхин.

Он обвалился в коридоре, как пласт штукатурки с потолка, и огромным мешком с костями дробно обрушился на линолеум. Я только рот разинул, а он уже собрал к себе все свои руки-ноги, заслонился растопыренными ладонями, локтями и даже коленями и в таком виде вжался в стену, блестя сквозь пальцы вытаращенным глазом. Волна зловония распространилась по коридору — то ли он обгадился, то ли его недавно окунали в унитаз, — я не стал разбираться. Я просто крикнул бригаду. Бригада набежала, и я распорядился. Парасюхина волоком поволок-

ли в санобработку: Колпаков, как обычно, с молчаливой старательностью, Матвей Матвеевич — с визгливыми причитаниями, а Спиртов-Водкин — поливая окрестности сквернословием, словно одержимый болезнью де ля Туретта.

И вот тогда-то я осознал, наконец, смутные свои опасения, отчетливо и в деталях вспомнив о своем собственном печальном опыте в Мире Мечты Матвея Матвеевича Гершковича...

Мир Мечты, назидательно сказал я юнице и юнцу, взиравшим на происходящее с трепетом и жадным любопытством, Мир Мечты — это дьявольски опасная и непростая штука. Конечно же, мечтать надо. Надо мечтать. Но далеко не всем и отнюдь не каждому. Есть люди, которым мечтать прямо-таки противопоказано. В особенности о мирах.

Юнец с юницей меня не поняли, конечно. Да я и не собирался им что-либо втолковывать, я просто собирался напоить их морсом, что и сделал под разнообразные элоквенции, явственно доносящиеся из санпропускника.

А совсем уже к вечеру объявился Агасфер Лукич, и не один.

«Эссе хомо!» — провозгласил он, обнимая гостя за плечи и легонько подталкивая его ко мне. Гость растерянно улыбался — небольшого роста, ладный человек лет пятидесяти, в костюме странного покроя. На правой скуле его розовело что-то вроде пластыря, но не пластырь, а скорее остаток небрежно стертого грима. И с левой рукой у него было не все в порядке — она висела плетью и казалась укороченной, кончики пальцев едва виднелись из рукава.

Таким я увидел его в первый раз — немного растерянным, не вполне здоровым и очень заинтригованным.

— Прошу любить и жаловать, — произнес Агасфер Лукич весело. — Георгий Ана...

(ПРИМЕЧАНИЕ ИГОРЯ К. МЫТАРИНА. На

этом рукопись «ОЗ» обрывается. Продолжения я никогда не видел и не знаю, существует ли оно. Скорее всего весь дальнейший текст был изъят самим Г. А. — например, из соображений скромности. Я вполне допускаю, что вся изъятая часть рукописи посвящена главным образом Г. А. Разумеется, возможны и другие объяснения. Их даже несколько. Да только какой смысл приводить их здесь? Все они слишком уж неправдоподобны.

Между прочим, выражение «верую, ибо абсурдно», принадлежит, по-моему, не перу Блаженного Августина, а стилю достопочтенного Квинта Септимия Тертуллиана, одного из первых епископов иберийских.)

НЕОБХОДИМОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По понятным причинам, на двадцатом дне июля мои записи прерываются и возобновляются уже только зимой. Прошло сорок лет, и я не способен сейчас подробно и связно изложить события утра двадцать первого июля. Почему мы все оказались рядом с Г. А. около его автомобиля в холодных предрассветных сумерках? Как ухитрились подняться в такую рань после тревожений предыдущего дня? Может быть, мы и вовсе не ложились? Может быть, мы догадывались, какое решение примет Г. А., и всю ночь дежурили, чтобы не упустить его одного? Не помню.

Помню, что сразу же сел за руль.

Помню, как Г. А. непривычно грозным и повелительным голосом объявляет, что девочки не поедут никуда.

Помню, как Зойка без кровинки в лице кусает себе пальцы, запустив их кончики в рот, — словно в какой-то старинной мелодраме, ей-богу.

Помню, как Иришка рвется в машину, заливаясь громким плачем, и слезы у нее летят во все стороны, будто у ревушего младенца.

И очень хорошо помню Аскольдику — как он решительно выдвигается, крепко берет Иришку зади за локти и успокаивающе сообщает Г. А.: «Не беспокойтесь, поезжайте, я ее придержу».

На всю жизнь я запомнил это: **ВЫ ПОЕЗЖАЙТЕ СЕБЕ, А Я ЕЕ ЗДЕСЬ ПРИДЕРЖУ.**

(Понимаю и догадываюсь, Аскольд Павлович, наверное, тебе очень неприятно читать сейчас эти твои слова. Допускаю даже, что ты за сорок лет успел совсем позабыть их. Допускаю даже, что ты в то время вообще не придавал значения: слова как слова, не хуже других. Однако в свете того, что произошло потом, они звучат сейчас, согласись, достаточно одиозно. Что делать? Из песни слова не выкинешь. Да и кому это нужно — выкидывать слово из песни?)

Почти совсем не помню проезда нашего по городу. Смутно брезжит только в моей памяти ощущение недоумения по поводу того, что в такую рань на улицах так много народу.

Помню скотомогильник в предрассветных сумерках.

Мне показалось тогда, что кости шевелятся. А черепа провожают нас пустыми глазницами.

Флора не спала. Множество костров догорало, и бродили между кострищами понурые-зябкие фигуры. Воняло пригорелой кашей, аптекой, волглым тряпьем. Запахи почему-то запомнились. Вот странно!

Г. А. подошел к самому большому костру и сел у огня. Рядом с нуси. Рядом со своим сыном. И сейчас же все вокруг заговорили. Ни одной фразы я не запомнил, тем более что говорили в общем-то на жаргоне, помню только, что это были жалобы и проклятия. Они проклинали Г. А. за ту беду, которую он на них накликал, и жаловались ему, как им страшно сейчас и обреченно. Г. А. молчал, он лишь обводил взглядом кричавших, плакавших, задыхавшихся в истерике.

Потом все куда-то исчезли, и у костра нас осталось только трое, и нуси принялся уговаривать отца уйти, пока не поздно. Он говорил что-то о смысле и бессмыслице, что-то о судьбах и жертвах, что-то о надежде и отчаянии. Нормальным, я бы сказал даже — нормированным, русским языком, безукоризненно чисто и правильно. Г. А. ответил ему: «У тебя свои ученики, у меня — свои. У вас своя правда, у нас — своя», — и нуси ушел.

Помню, как мне было страшно. Зуб на зуб не попадал. Наверное, так чувствуют себя перед казнью. Ни одной жилки не было спокойной в моем теле. Г. А. обнял меня за плечи и прижал к себе. Он был горячий, надежный, твердый и в то же время такой маленький, такой щуплый, такой незащищенный, и я впервые обнаружил, что я ведь на целую голову длиннее его и вдвое шире в плечах.

И тут у костра оказался этот толстенький, лысоватый, в дурацком костюме, с дурацким разбухшим портфелем под мышкой.

(Я ведь и сейчас толком не понимаю, кто он такой, — то ли в самом деле выплыл из прошлого, то ли все-таки соскочил со страниц этой странной рукописи. Ощущаю я в нем какое-то беспощадное чудо, если только не примерещился он мне тогда у костра, потому что в то утро мне могло примерещиться и не такое. Тогда же, помнится, ни о какой рукописи я и не подумал, — был он для меня просто раздражающе чудачковатый тип, не к месту и не ко времени прицепившийся к моему Г. А.)

Они поговорили о чем-то. Коротко и невнятно. Деталей не помню никаких. Помню только, что чудачковатый тип говорил голосом и тоном, совсем не подходящим ему ни по виду его, ни по ситуации. Ах, как жалею я сейчас, что не прислушался я тогда к их разговору. А запомнились мне лишь последние слова Г. А. — видимо, я тут же отнес их к самому себе: «Да перестаньте вы, в самом деле. Ну какой я вам терапевт? Я самый обыкновенный пациент...»

Солнце уже высунулось из-за холмов, и я увидел на западе, там, где проходила дорога, ярко и весело освещенную, желтую клубящуюся стену. Это была пыль. Колонна свернула с шоссе и двигалась к нам.

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА «ЮНОСТЬ»?

За последнее время в редакцию обрушился шквал телефонных звонков: люди жалуются на то, что им отказывают в оформлении подписки на наш журнал на второе полугодие. Работники «Союзпечати» ссылаются на то, что, дескать, подписываться следует не в разгар года, а с самого его начала.

Мы связались с центральным подписным агентством «Союзпечать», где Галина Аркадьевна Волкова, начальник цеха предварительной обработки заказов, с полной категоричностью заверила нас в том, что никаких ограничений

ни в Москве, ни в другом каком-либо городе страны быть не может и не должно. Видимо, местным почтовым работникам неохота возиться с подпиской в разгар летних отпусков...

Дорогие товарищи читатели нашего журнала! Если у вас истекла подписка или вы еще не успели подписаться, не волнуйтесь: вы сможете это сделать в любое время в любом почтовом отделении без всяких ограничений! Мы надеемся, что вам не откажут при подписке и на следующий год.



Мария
АВБАКУМОВА

Мутанты

А я вошла в апреле — на костях,
на черных пнях, на черепах солдатских;
я знаю, что за шапку Мономах
носил, бедняга, залихватски;
и что должно гулять в моей крови:
какие смыслы течь, какие речи...
поймете, если добредете вы
до места нашей сечи.

Здесь до сих пор портянки воронья
бросаются обвить берёзы ноги...
Здесь до сих пор не прорастаю я
сквозь тяжкий грунт задавленной дороги.
А та, что есть, — рахит, привой худой
от истинной меня, растоптанной войной.

Черная ворона

Я — черная ворона
среди белоснежных вас,
живущих просветленно
среди курчавых фраз.

Я — черная ворона,
я каркаю все то ж —
за что во время оно
костей не соберешь.

Костлявой правды шило
проткнуло и — горит.
— Почто поешь уныло? —
редактор говорит.

Сансара *

И так цепь жизни тяжела...
когда-то довлечишь до края.
Я за полжизни не нашла
тех, кто несли б ее, играя.

Но «те, кого покинул Бог» **,
те брошены собою прежде
в кольцо безвыходных дорог,
в неотмываемой одежде.

Над ними звезды не горят,
и даже голуби глумятся.
И цепи их дорог гремят
и в бесконечности клубятся,

* Сансара — колесо жизни и смерти (санскр.).

** Строка из стихотворения О. Чухонцева

Зимнее солнце

Зимнее солнце. Морозная трёпка.
Узкая звонкая страшная тропка.
Ельника треск за спиной.

Птица живет среди экого холода.
Птица мудра — объяснять ей не надо:
солнце к морозу зимой.

День тороватый. Мороз суковатый.
Птица поет (!), пролетая горбато,
как ледяной бубенец.

Кто зимовал у нас, тот понимает:
зря не поет она, зря не летает.
Если замолкнет — конец.

☆☆☆

Выдержишь ли это —
если, не дай Бог,
не догнавши лета,
рухнет средь дорог
то, что обручилось
с Родиной опять...
то, что научилось
правду излучать?

25 июля. Ваганьково

Памяти Высоцкого

Я хочу увидеть лица!
И, с собою не в ладу,
я на кладбище столицы
в воскресенье иду.

Там, любовью отогреты
не бумажной — а живой,
продолжают жить поэты,
продолжают петь поэты
после качки штормовой
на дороге столбовой.

Вы, единой правды барды,
барды жизни без вранья,
вы в стране родной бастарды
оказались средь воря;

вот и задали вам жару
так, что (Господи, прости)
ближе друга, чем гитара,
не сумели вы найти.

Но, покуда день беззвездный
в черной жиже погрязал,
в небе путь светло и грозно
ангел в джинсах прорезал.

Он светился над планетой,
не за темные грехи —
за нешадные куплеты
встречен нечистью в штыки.

...Если живы-здоровы все мы,
значит, что-то тут не так,
значит, не бросали семья,
раздражающее мрак.

Потому — исчезли лица.
Потому — не тот приплод.

...Что в России, что в столице —
весь на кладбище народ.

Вахтерша

Она-то думает, что я,
ввалясь в такой заморской шубе,
конечно, шишка черт те чья...
А я не в шубе — в черном шуме.

Она вжимается в себя,
в сиденье, в стену, в спинку стула...
и притворяется, сопя,
что разморило и заснула.

Сама ж, волнения полна,
как волны моря в миг разгона,
все осуждает — и вольна! —
несправедливость небосклона.

Я чувю — взгляд вонзен в меня,
исподтишка... недобрый, острый...
А я-то знаю — что родня,
и даже знаю больше — сестры.

Она вахтершей при двери,
а я знавала дни потверже!
Но — что теперь ни говори —
не доказать того вахтерше.

Книга

Сто лет без друга —
это, знаешь, как?!
Полюбишь крыс,
не то чтобы собак;

привыкнешь грызть
сухую корку книг
и соловей
от их медовых фиг.

На книжном дереве
не выросло пока
ни друга милого,
ни глупого шенка.

И все же книге
в пояс поклонюсь:
не будь ее?! —
подумать-то боюсь.



Владимир
ЖИЛИН

*Памяти машиниста
локомотивного депо
В. В. Фролова*

Покуда наш тополь готовился стать золотым,
в тяжелых мученьях представился дядя Володя.
При памяти полной заметно его тяготил
тупик этот вечный уже на коротком подходе.
Бывало, момента не словишь, когда непомерный состав
он страгивал с места, ни капли не расплескав
из чайных стаканов, налитых как надо — до края.
Блестел паровоз, как черт на танцуйках, надраен.
Чего же он только ни пер
и куда ни кидал поезда —
то намертво к рельсам примерз,
то вновь Сталинградское пекло.

Верховного — может, так лучше —
катать не пришлось никогда.
Других — доводилось.
В беседу вступали нередко.

Восьмой уж десяток легко в сторожах добирал,
считал — перегон не последний.
Весь в правнуках, жил на Дубинке.
Высок и костляв, никогда еще не умирал —
к чему ни привыкнешь, да только не к этой новинке.

И вся его жизнь до того убедительно шла
на пользу ему и родне, и милому дому, и саду,
депо и стране, что когда отлетела душа,
на мертвом лице я увидел большую досаду.

Полустанок

Ах, долгая жизнь наводит на размышленья!
Что отдал бы он за те молодые мгновенья,
когда они с Лилькой работали в сельской школе?
Что отдал бы он за то метельное поле,
которым бежал и падал — к ночному разъезду,
бежал и падал — встречать ее, как невесту?

Кололась метель. Стоял две минутки поезд.
Что отдал бы он за слишком счастливый возглас:
— Здесь, Эдинька, здесь я!.. — И возле последних вагонов
стояла она, и два морячка смущенно
с обоих флангов поддерживали за локти —
совсем еще мальчики, борщ, так сказать, по-флотски...

Что отдал бы он... Потом дала показанья,
что малость перебрала с дорогими его друзьями
перед отправленьем на сдвоенном дне рожденья,
а в поезде продолжались ее похождения —
под стук колес морячков она угощала
«Рябиной на коньяке» и кубанским салом.

Он принял жену от этих неоперенных
и в поле понес — ее и оба огромных,
гостинцами городскими натисканных чемодана —
и, может быть, вьюга такого еще не видала.

Что отдал бы он за ту молодую, хмельную
жену и поземку!..

Живите напропалую
и долго-долго, хоть нас это больно точит —
короче,
делает жизнь что ни день короче.

☆☆☆

Про дружбу, любовь, про снега и капли,
про рев орудийных стволов
поэты пропели — и вот поредел
запасы нетронутых слов.

Я сгинуть готов был на вечное время,
чтоб только остаться собой,
но даже и в самой заветной поэме
писал: «Небосвод голубой».

И даже про то, что стирается слово,
так много печальных стихов,
а скажут: «Не ново!» — так это «не ново» —
чета поседевшая слов...

Я губы кусаю, я строчки кромсаю —
ведь есть же такие стихи,
в которых блестят молодыми глазами
седые слова-старика.

г. Краснодар



Расул
ГАМЗАТОВ

☆☆☆

Я слово скажу, повторю его вновь,—
И небо с землею сольется...
Какая упрямая штука — любовь!
Она надо мною смеется...

Я слово скажу — велика его власть:
Волна в поднебесье взлетает...
Какая же штука упрямая — страсть:
Сама себя богом считает...

☆☆☆

Да, ты ушла, ты победила,
Нелегким оказался спор.
Себе бросаю через силу
Тебе назначенный укор...

Обезоружила умело
Меня — и скрылась, не любя.
Я сам в себя пускаю стрелы,
Что подготовил для тебя.

☆☆☆

Ученые

пласты Земли, комки
Перебирают в поисках вестей
Из древности: лопатки, позвонки,
Все кости, кости, тысячи костей...

А я пришел не мир костей открыть,
А мир любви — ему миллионы лет,
Пришел его дополнить, может быть,
Отдать ему и тень свою, и свет.

☆☆☆

Мой старый друг, я верю.
Что этот снег растает
И с честью ты вернешься
К родному очагу:
Ты слышишь голос братьев?
Года их не состарят,
И воскресить ушедших,
Увы, я не могу....

И все-таки я слышу,
Как зов их в сердце бьется:
Вернись без промедленья
К отцовскому огню!..
И в песне материнской
Об этом же поется,
И я о том же самом
Твержу сто раз на дню:

Чтоб не играл на бубне
Ты всяким проходимцам
И чтобы не пускался
В пляс под чужой кумуз.
Чтоб помнил: быть в разлуке
С семьею не годится,
Что всех чинов превыше
Любви святой союз.

...Снег сыплется... Надежда
С зимой родится вместе
На то, что снег растает
И что придет весна...
В былом не оставайся,
Чтоб не пропасть без вести,—
Кончаются дороги,
Минуют времена...

Перевела с аварского
Е. НИКОЛАЕВСКАЯ



Наталья
РЯБИНА

Сталинград. Тракторный поселок.

Эллочка,
маленькая еврейка,
спасенная поседевшей матерью
из могилы Бабьего Яра.
Толик,
с метрикой,
выколотой на левой руке.
Вся Белоруссия прятала его.
Фاشисты за ним охотились,
как за наживкой,
чтобы взять отца,
партизанского командира.
Эмма,
робкая немка,
дочь антифашистов,
замученных в концлагере.
Толстая Натуська,
родившаяся в военном госпитале
у раненой медсестры...
Дети разбитого бомбой дома,
мы были победителями в минувшей войне.
И,
как победители,
великодушно к пленным немцам,
строившим для нас новый дом.
Слушали их мучительные слова
поражения, раскаяния...
Сами несытые,
кое-как одетые
в американское барахлишко по талонам,
несли из дому горькие крохи,

карандашный огрызок,
 клочок бумаги...
 Презирали жестокость и месть.
 Наверное, не было больнее муки
 у побежденных,
 чем обжечься теплом ребячьего сердца.

☆☆☆

Боюсь живой любви.
 Боюсь, когда на «ты».
 Когда не страшно быть простоволосой.
 В ночной сорочке,
 босиком,
 к столу прошлепать,
 завести будильник.

Боюсь живой любви.
 Боюсь, что не поймешь
 лица без краски,
 а души — без тайны.

☆☆☆

Неприбранный уральский городок,
 помолвленный с весной-неряхой...
 Сугробы черные, да птахи,
 да прудика подтаявший ледок...

Обрубки стриженных деревьев...
 В березняке охапки гнезд...
 Домишки в центре, как в деревне,
 панельных небоскребов рост —
 пять этажей. Стеклашка бара...
 Да в магазине суета...
 Навеселе в обнимку пара
 у входа мается с утра.

Голубизна подбита дымом
 из жерла заводской трубы.
 В весеннем воздухе сладким
 готовы зацвести столбы.



Наталья
 ТРУЕВЦЕВА

*Дебют в
 "ЮНОСТИ"*

☆☆☆

Нет! Лучше дожди, облака.
 Чем прочный квадрат потолка.

Нет! Лучше сбивающий ветер.
 Чем стены ослепшие эти.

Нет! Лучше в пустующем сквере,
 в метро, в безразличной толпе.

Ты так в каждом шаге уверен,
 что я сомневаюсь в тебе.

☆☆☆

Апрель! Ослепление от света,
 от воздуха, выси, тепла!
 Как будто на свете на этом
 я тысячу лет не жила.

И снова деревья — большие!
 И снова огромны дома!
 А вы, вы смешны и фальшивы,
 мыслителей хмурых тома.

☆☆☆

Покой остывших век...
 Всё выплакала, спела.
 Уходит человек,
 А с ним — душа и тело.

Какая в этом грусть!
 Но я другой боюсь.

Вдруг высохнет душа?
 Вздохнет и белой станет?
 Зачем тогда дышать
 и шевелить устами?

Где истина? Где зло?
 Ей — никакого дела.
 Как страшно, тяжело
 носить пустое тело!

☆☆☆

Как дела? — крикнул бегущий.
 — Лучше некуда, — выдохнул стоящий.
 Первый поверил.
 Второй заплакал.

Долго-долго, из века в век
 к человеку идет человек.
 Только меньше не стало вины.
 Расстояния... Расстояния...
 От слезы — до войны.

☆☆☆

Запало солнце в мартовский зенит!
 И щедро плавит собственные жилы.
 Забытый свет искрится и звенит:
 «Эй, на земле!
 Проснитесь!
 Будьте живы!»

Плеснул в глаза —
 распался мир до слез.
 И канул весь в небесный купорос!
 Гудит простор. Конец стенам и крышам.
 Мне так светло!
 Я ничего не вижу!

☆☆☆

Обмены, размены, разъезды.
 Уйти бы, уехать, сбежать!
 А кто-то листок у подъезда
 от боли не смог дочитать.

Вошел — и в пустынной квартире.
 Как проклятый — в проклятом мире!
 Кружит и кружит тихой тенью...
 О чем написать объявление?

Смотрит на фото — отец!
 Смотрит на фото — мать!
 Не от кого уезжать!

Московская обл., г. Щербинка

20

КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «20-й КОМНАТЫ»

Дневник журналиста

Михаил ХРОМАКОВ

Специальный выпуск «20-й комнаты» посвящен организации Международного дискуссионного клуба по проблемам молодежи, созданного по инициативе журнала «Юность» и газеты «Софийские новости».

Всматриваясь в лицо поколения.



«Главному редактору журнала «Юность» Андрею Дементьеву. Главному редактору газеты «Софийские новости» и журнала «Болгария» Венцелю Райчеву.

ЗАЯВКА на участие в заседании Международного дискуссионного клуба по проблемам молодежи.

Я — психолог, начинаю работать в лаборатории социально-психологических проблем наркомании в НИИ общей и судебной психиатрии имени В. П. Сербского. Лаборатория только создается. Но есть несколько идей, которые хотелось бы обсудить на встрече...

Екатерина ПАТЯЕВА. Москва».

У меня в руках пачка подобных писем. Адреса на конвертах — Волгоград, Чита, Рига, Болгария, Чехословакия... Осенью прошлого года по инициативе газеты «Софийские новости» и нашего журнала в Болгарии прошло первое заседание клуба, о чем мы сообщили в январском номере «Юности». Что сделано клубом за восемь месяцев? Изданы две брошюры с материалами первой встречи. Идет работа над созданием семисерийного видеофильма о тревожных проблемах взаимоотношений молодежи и общества. О деятельности клуба рассказывалось в журнале «Болгария» и почти в каждом номере газеты «Софийские новости». Недавно несколько крупных предприятий Москвы и Софии стали коллективными членами клуба. В число сопредседателей вошел заместитель председателя правления Агентства печати «Новости» Владимир Милютенко.

В Москве с 11 по 15 июля состоится второе заседание клуба, в котором будут участвовать ученые, социологи, журналисты. Тема второго заседания: «Молодежи принадлежит будущее, ей должно принадлежать и настоящее». Заявки на участие в нынешней встрече пришли из многих стран социалистического лагеря. О ходе встречи мы расскажем на страницах «Юности».

А пока я хотел бы перелистать стенограмму первого заседания клуба, который до сих пор не обрел своего названия. Я помню, как мы придумывали и отвергали эти названия: «Отцы и дети», «Перестройка и молодежь», «Что делать с молодежью?» Ни одно не подошло... Названия не соответствовали ни содержанию, ни духу заседаний. Разговоры сразу выплескивались за рамки любой узко определенной темы. Мне вряд ли удастся в этих записках даже кратко перечислить весь спектр поднятых вопросов. Поэтому то, что я предлагаю вашему вниманию, будет не отчетом об официальных и неофициальных заседаниях клуба, а скорее — просто дневником журналиста...

— Ну, что тебе там понравилось, в Болгарии? — спрашивали, когда вернулся.

Сначала я перечислял все, что видел непохожего и интересного. Список становился все меньше. И в конце концов



осталось одно. Что понравилось? Ты знаешь, там по всей Болгарии — музеи и картинные галереи, и выставки по воскресеньям открыты настежь, бесплатно работают. «Ого! — восклицал мой собеседник. — У нас бы так!» На этом разговор о Болгарии заканчивался. Своих проблем хватало. Но именно те болгарские встречи — первые заседания клуба — показали, сколько в наших проблемах общего и как они атакуются между собой, эти проблемы.

София освободилась от лозунгов. Красный кумач и щиты наглядной агитации не заслоняли зеленых газонов. Призывы «участвовать и перевыполнять» не загромождали старые площади. В густой листве столетнего дуба у церкви Святой Софии висел древний колокол. Звук его был густ и вязок.

И еще колокола. Их было сто. Или больше. Взрослые и дети ходили мимо них. Каждый колокол звучал по-своему. Из Конго, Монголии, Норвегии, Канады, Китая, Марокко... Колокола и колокольчики диковинной формы, разноязыкие, разноголосые — в парке Мира. Взрослые и дети звонили во все колокола. Я сделал круг и нашел русский колокол. Он откликнулся гулко, словно бы вздохнул.

Мы приехали в Болгарию как раз после того, когда была изменена государственная атрибутика. Упразднились праздничные демонстрации, звания народных и заслуженных, до предела сокращался набивший оскомину официоз, и испарившиеся лозунги были тому свидетельством. Нас жадно расспрашивали о гласности, демократии, о снятых ограничениях в печати, о молодежных течениях, о децентрализации общества, о возрастных роли интеллигенции, о белых пятнах на материке истории, о духовном обновлении страны. Но, однако, думал я, не мешало бы и у нас кое-что отменить. Когда, наконец перестанут вручать ордена, как торты, ко дню рождения. Да и «незаслуженно заслуженных» что-то уж больно много на душу населения. А уж совсем удручил меня ксерокс на одной из улочек Софии. Сколько сложностей мы нагромодили у себя вокруг копировальных аппаратов: стоят они за обитыми металлом дверями, за семью печатями, за табличками «Посторонним вход воспрещен!». Копию с письма читателя снять — намучаешься. Документы размножить — без справки не суйся! А тут: проще, чем ботинок у нас отремонтировать. Зашел, спрашиваю: а кто у вас определяет, что можно размножать, а что нельзя? «Я», — сказал хозяин ксерокса. И книгу размножите? «И книгу», — сказал он. При мне вошла девушка, принесла какие-то рисунки к дипломному проекту. Заказ был выполнен тут же.

Но все это я увидел уже потом, когда заседания клуба отшумели, и я бродил по Софии один или в сопровождении переводчика Николы Крыстева, молодого журналиста, знакомясь с болгарскими «неформалами», окунаясь в их повседневную «неформальную» суету... Это было потом, а первые четыре дня помнились только столы, уставленные микрофонами и «минералкой», лица собеседников и разговоры, разговоры, разговоры...

Румен ДИМИТРОВ (Болгария), научный сотрудник Института проблем молодежи: Мы в институте, по мере продвижения наших исследований, уже боимся говорить о молодежи, как о чем-то целом.

Что же касается взаимоотношений между поколениями, на мой взгляд, они приобретают сейчас политический характер. По нашим исследованиям, оказывается, что критика у молодежи направлена к верхам общества, а альтернативы, которые они предлагают, относятся преимущественно к микроуровню, к личному интересу, к организации, которая бы защищала интересы молодого человека. Возникает вопрос о новой форме комсомольской организованности. И как логичное продолжение — вопрос о перестройке всей политической структуры, и не только одних молодежных организаций.

Нам кажется второстепенным вопрос о том, придет ли на смену

много молодежных организаций или одна плюралистская. Важнее, что в нынешний момент произошло отчуждение молодежной организованности от молодежного движения. Традиционно молодежная организация исполняла компенсационные функции. Например, если у молодых людей не было жилья, то делом комсомола становилось проведение строительной инициативы, которая позволяла бы вести дополнительное строительство жилья для молодых семей. Я имею в виду МЖК. В равной степени и НТТМ — система научно-технического творчества молодежи — это попытка компенсировать не самую радужную ситуацию существования молодого человека в науке. Если внимательно всмотреться в эту систему, можно прийти к выводу, что молодые люди ценят в комсомоле то, что как раз в меньшей степени является комсомольским.

Новая молодежная организация должна сделать несколько ходов вперед. Если положение молодого человека в науке плохое, то молодежная организация обязана начать политическую борьбу за изменение науки в целом. Если жилищная проблема среди молодых семей продолжает обостряться, то молодежная организация должна бороться за ликвидацию жилищной проблемы вообще. Но хочу предупредить: не надо выдумывать какую-то специфическую молодежную политику. Молодежь — это всегда индикатор того, в порядке ли политика вообще.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ, писатель: Есть в нашем обществе черта, которая вызывает раздражение, а иногда просто ненависть. Это его медлительность, порой переходящая в тупость. Мы живем по пословице «Пока гром не грянет — мужик не перекрестится». Иногда наше общество не реагирует на происходящее в жизни, пока его не ударит обухом по голове, а подчас — и острием топора. Мы не начали всерьез заниматься сельским хозяйством, пока оно не пришлось на грань развала (или даже перешло эту грань...). Вот и платим за то, что вовремя не перекрестились... На наших глазах разваливается семья, а мы только и говорим без конца, что семья должна быть прочной, как для этого надо воспитывать молодежь, вводим в школах «этику семейной жизни», надеясь этими припарками поднять на ноги умирающего. А ведь могли бы лет тридцать назад изучить, какие меры помогут сохранить семью. Молодежные проблемы я не считаю предельно драматичными, но думаю, и с молодежью произошло нечто подобное.

Меня очень волнует проблема контакта с молодежью: у нас, людей старших поколений, нет для этого элементарного языка. Мы говорим об аполитичности молодежи, но это вовсе не молодежная проблема! Это проблема общая. Многие десятилетия у нас была непомерно раздута роль политики. Нигде в мире никогда этого вообще не происходило. А нам казалось, что сама жизнь стала придатком политики. Это привело к тому, что у нас колхозами руководили люди, якобы разбиравшиеся в политике, но от этого ни хлеба, ни мяса не прибавлялось. Театрами руководили политики, но зрители из зала уходили... Молодежь не обязана говорить на нашем языке. И я не против политики как сферы деятельности, но не надо подменять одну сферу другой. Мы знаем, что у нас фактически был разогнан журнал «Новый мир», которым руководил Твардовский, за «аполитичность», за «непонимание» и т. д. Сейчас ясно, что это был в полном смысле слова партийный журнал, существовавший в антипартийной обстановке.

Для меня на сегодня самое опасное — общественное мнение, резко настроенное против молодежи. Общество не понимает, например, парадоксов неформальных молодежных движений. Быстрая, хаотичная и, на взгляд взрослых, бессмысленная смена ориентиров вызывает раздражение общественного мнения из-за непонимания происходящего. Никакой нет логики в том, что на смену хиппи приходят любители шейка, а их сменяют футбольные болельщики, которые на всех стенах рисуют названия любимых команд. В свою очередь, с ними борется... металлорок, их поклонников сменяют панки с торчащими волосами, а их — брейкеры и так далее.

Но есть вещи, не понимать которые мы не имеем права. Я имею в виду отношения неформальных объединений с комсомолом. Нам предстоит понять и объяснить обществу неизбежность прекращения деятельности комсомола в тех формах, в каких оно существовало многие десятилетия. Ничего обидного и оскорбительного для комсомола в этом нет. Комсомол был политической организацией молодежи. И пока в цене была политическая и идейная борьба, он имел смысл. Потом идейных противников не оказалось. И комсомол стал работать как всеобщий помощник: сам ни за что не отвечает и не пользуется никакими правами. Но наша вечная попытка возложить на бесправного человека обязанности заранее обречена, хотя я убежден, что, если завтра комсомол будет распущен, погоды спустя он начнет создаваться вновь. Потому что действительно ряд конкретных проблем не может решить ни одна малая организация. Значит, нужно понять, в чем сегодня комсомол может быть полезен и молодежи, и обществу, и провести в нем перестройку бескровно, определив четкую и для всех понятную сферу его деятельности.

Что такое для нас идеал современного молодого человека? Хорошо учиться, скромно одет, скромно подстрижен, вежлив, уважает старших, чтит традиции. Иными словами, идеален молодой человек, который позволяет нам его не замечать. Но гораздо современнее молодой человек, с которым пока еще идет у нас обмен взаимными оскорблениями. В молодежной среде сейчас развито явление, которое я бы назвал «новая ложь». Я был единственным человеком, который определил в печати довольно скромное место честному и ярко талантливому фильму Ю. Подниекса «Легко ли быть молодым?». В этом фильме великолепная камера, но публицистическое мышление на среднем уровне. Монологи ребят иногда искренни, но нередко с экрана идет самое обычное вранье. Три-четыре года назад молодой человек любимым литературным героем называл Павку Корчагина и говорил, что хочет ехать на БАМ. И все были довольны: он знал, как врать старшим. Сейчас ребята сориентировались и поняли, как надо врать **сегодняшним** старшим. Надо говорить: мы ни во что не верим, мы пессимисты, циники, вы нас сделали такими. Но это та же самая ложь. Мы пытаемся воспитывать молодежь вслепую, не понимая происходящего. Мы выступаем в роли мамы, которая говорит дочери: не дружи с ним, он хулиган, хотя мама-то его не знает, а дочка — знает. Маме кажется, что она управляет дочерью. Но это все равно, что завязать глаза человеку и дать ему руль автомашины: авария неизбежна.

Игорь КОН, профессор, социолог: Я отклонил бы постановку вопроса: что делать с молодежью? Представьте себе, что где-то собирается другая компания, которая обсуждает вопрос, что делать с нами, взрослыми. То, что мы называем «проблемами молодежи», часто вовсе ими не является. Вообще, когда старшие узурпируют право говорить от имени общества, разговор о проблемах молодежи, по существу, превращается в разговор людей о самих себе. Приятнее проецировать собственные проблемы на молодежь: нам легче так, у нас самоуважение не страдает. Но не они, а мы — в тупике, в кризисе, и молодые — лишь часть некоего общего «мы». Размышлять так — гораздо драматичнее и до недавнего времени требовало гораздо большей смелости, и не только интеллектуальной.

Нам надо обсуждать реальные проблемы нашего общества, болевые точки, в которые в большей или меньшей степени включена молодежь. У нас есть общесоциалистический стереотип, заданный нашим Отечеством: свои проблемы мы обсуждаем, как если бы остального человечества, его истории не было. Это воспринимается очень патристично. Но и симптоматично: когда отмечали, что в какие-то десятилетия объем грудной клетки и рост увеличился, к примеру, у молодежи города Горького, говорили, что это — достижение социализма. Намеренно «забывая», что акселерация происходит везде. А теперь с той же убежденностью говорим о своих сложностях: «Такого безобразия, такого бедлама нигде в мире нет и быть не может. Это может быть только у нас». На самом деле и эти вещи оказываются универсальными и всеобщими. И если мы определяем место молодежи в обществе, надо четко понять, идет ли речь о вечных универсальных проблемах взаимоотношений поколений или это проблема вне всякого общества.

Кстати, слово «проблема» потеряло у нас смысл, стало синонимом слову «вопрос». Давно известно, что один дурак может задать больше вопросов, чем семь мудрецов в состоянии ответить. Но дурак никогда не поставит ни одной проблемы по той простой причине, что проблема — это формулировка условий.

Возрастные отношения есть на самом деле отношения власти. История языка и история культуры свидетельствует, что на первом плане — отношения иерархические, и лишь потом — хронологический возраст. Политические аспекты молодежной проблемы заключаются в том, что старые способы удержания власти терпят банкротство. Между тем власть никогда даром не отдадут, за нее всегда держатся. Например, педагогика сотрудничества у нас сейчас стала расхожим лозунгом. Словосочетание принимают охотно, а суть дела вызывает страшное сопротивление масс бездарного учительства. Потому что диалог с молодежью поддерживать труднее, чем авторитарные отношения, основанные на дисциплине и подчинении.

Неформальные группы — господи, они во всем мире существуют! — только у нас приобрели сенсационный характер. Никаких молодежных проблем тут нет. Ситуация выглядит драматичной, потому что связана с заорганизованностью и стационарностью самого нашего общества. Мы хорошо помним слова Маркса о том, что история повторяется дважды — первый раз в виде трагедии, а второй раз в виде фарса. Но наш исторический опыт показал, что фарс может с незначительными вариациями повторяться многократно. Длительный период застоя сам по себе ничего нового не породил, но усугубил беззаконие, авторитаризм, тоталитаризм, культ личности, которые существовали раньше. В результате общественная жизнь замерла. Политика подменилась бюрократической организацией, политической там только фразеология была — деятельности не было никакой.

Помню, в 1965 году в ЦК ВЛКСМ у меня всерьез спрашивали, можно ли считать комсомол политической организацией. Я им сказал, что у нас в стране нет политических организаций. В том числе и партия, в рядах которой мы



с вами состоим, тоже ею не является. Потому что политическая организация — это организация, которая обсуждает политические вопросы, принимает какие-то решения, но мы же с вами этого нигде не делаем. Мы только голосуем «за» в политических вопросах — и этим все ограничивается. Нынешние исследования Научно-информационного центра Высшей комсомольской школы говорят о том, что наблюдается политизация молодежного сознания, но сегодня в это вкладывается особый смысл.

Мария ДИНКОВА (Болгария), научный сотрудник Института проблем молодежи: Наши исследования показывают, что 90 процентов молодых людей до 30-летнего возраста не могут содержать себя без помощи своих родителей. 90 процентов! Это страшная цифра. Я сказала бы даже, что до 35-летнего возраста свыше 50 процентов не могут содержать себя без помощи своих родителей. А мы требуем от молодежи, чтобы она была на уровне исторического периода, который сейчас переживаем. Требуем, чтобы молодежь была полноценным субъектом социального времени, социальной деятельности. Однако каким субъектом социального действия может быть человек, когда он не может себя содержать? Когда он не может обеспечить материальное положение своих детей? Когда нет экономической независимости? Мы исследовали и то, что думает молодежь о своем материальном положении. Часть страдает от этого, чувствует себя угнетенной. Другая часть молодежи, к сожалению, большая, — поскольку помощь родителей является нормой, а не исключением, — считает, что родители обязаны им помогать. И даже считает, что ничего плохого, если они иногда просто заставляют своих родителей помогать им даже сверх своих возможностей. Такая ситуация рождает двух постоянных спутников поколения. Два феномена. С одной стороны — инфантилизм, с другой — цинизм. Сама молодежь не найдет выхода из этого положения. Здесь нужны социальные идеи... А молодежь наша пока до социальных идей не дозрела и не знает, что делать со своим зависимым положением. Согласно опросам, у нее никаких идей на этот счет не существует. Институт молодежи кое-что успел сделать. Во всяком случае, предложил здравые идеи, которые можно использовать в социальной практике. Комсомол тут поддержал нас. Могу сказать, что нынешняя социальная политика, касающаяся молодой семьи, появилась не произвольно — мы подсказали, что нужно делать. И, к счастью, наш голос не ушел в песок. Бывают и чудеса...

В этих фрагментах стенограммы сразу обозначился дефицит наших представлений о поколении. Спор о том, какая нынче молодежь, хорошая или плохая, — всегда представлял собою скорее демонстрацию взаимных предубеждений и заблуждений, нежели аргументированные доказательства. К тому же реальные молодые люди никак не хотят укладываться в прокрустово ложе теоретических постулатов. Не так давно в «20-ю комнату» пришло письмо фарцовщика: «Когда я пошел на сделку с собственной совестью, то думал: сейчас чуть-чуть пофарцую, а потом начну жить честно. Но поскольку деньги таковы, что чем больше их зарабатываешь, тем больше тратишь, то я так и остался фарцовщиком. И, видимо, буду всю мою оставшуюся жизнь фарцевать». А дальше в письме шла речь об идеалах: «Я, как и все, хочу стать человеком, о котором бы помнили еще долго после смерти. Мой идеал — Владимир Ильич Ленин. Он уже не для многих остается человеком. Из человека сделали символ. Но вот представляю себе его, Ленина, живым. Как бы он со мной заговорил? Мы привыкли видеть его лишь на



плакатах с неизменными надписями. Да, конечно, это не просто лозунги и слова, но, поймите, когда я вижу, как десятиметровым плакатом — **ЛЕНИНЫМ!** (это написано большими буквами и подчеркнuto. — М. Х.) — закрывается облезшая стена дома, мне хочется кричать. Но знаю, что не услышат».

Где суть этого человека? Когда он предлагает нам «варенку» по двести рублей или когда пишет эти слова? И как с ним бороться? Как его перевоспитывать, если двуликая «дабл-мысль» — по Оруэллу! — сопровождала его всю жизнь, начиная с октябрьской «звездочки». Чего же сейчас ахает, что двойная мораль стала его сутью? А что мы хотели в результате иметь, когда на глазах нашей умной, образованной молодежи проводили, например, шумную газетную кампанию за спарывание «лейблов», ярлыков иностранных фирм с одежды, вместо отважной борьбы против уродливой, негибкой экономической системы, неспособной производить модную одежду. Сколько с жевательной резинкой боролись? Под снисходительные усмешки молодого поколения доказывали со страниц газет, что «жвачка» — буржуазная привычка. Что она развращает — младшеклассники спекулируют «жвачкой» в школе. Приводились убийственные примеры: началось со «жвачки» — закончилось исправительно-трудовой колонией. И опять-таки вместо того, чтобы самим научиться производить «жвачку». Научились-таки! В каждом киоске лежит. И никто не умер. И устои государства не пошатнулись. Но травма уже была нанесена. В результате подобных манипуляций сознанием молодой человек начисто разучивался верить средствам массовой информации. Ведь все переворачивалось с ног на голову. Заказывалось, например, исследование, насколько патриотичен молодой человек. А когда результат не сходился с желаемым ответом, то искали виноватых совсем не там: прежде всего виноватым оказывался социолог, который «неправильно опросил молодежь».

В числе постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятых в застойные годы, — а были ведь правительственные постановления даже по выпуску тары! — мелькали и так называемые постановления о молодежи. Последнее возникло во времена Черненко, прошлестело газетно-протокольной кампанией и благополучно погасло. Что естественно...

Мы не знаем нашу молодежь. Не знаем, чего и сколько в ней имеем. Мы говорим о неформальных объединениях, но у нас нет никакой службы, которая посчитала бы, сколько у нас этих пресловутых «металлистов». Спорим о хиппи — но попробуйте где-нибудь выяснить, сколько у нас в Советском Союзе хиппи. Попробуйте спросить, сколько среди советских проституток комсомолок. Не знают. И еще не скоро знать будут. Я уж не говорю о нежелании понять новые процессы, происходящие в молодежной среде сегодня. С разных трибун категорически заявляется, что организации, альтернативные комсомолу, — бред воспаленного воображения.

Невольно тут вспоминается притча Даниила Хармса о том, как человек надел очки и выглянул в окно. Напротив на дереве сидел мужик и показывал ему кулак. Человек снял очки, снова выглянул в окно — мужика вроде не было. Надел очки — опять сидит и кулак показывает. Тогда он снял очки: раз не вижу — то его нет. Как-то в «20-й комнате» я беседовал с группой комсомольских работников. Двое из них долго доказывали, что неформальные объединения — отпрыск общества, плесень. Потому что настоящие люди ни в коем случае не слушают рок, а строят заводы,

повышают производительность труда. А в прежние времена не жевали «жвачку» и не носили джинсов. Тем более не слушали «АББУ», тем более не слушали «Машину времени», тем более не слушали Высоцкого и так далее, — полистайте публикации молодежных изданий прошлых лет. Этот успешно пропагандируемый стереотип представления о советской молодежи как о цельном монолите столь же успешно разрушал и расслаивал сознание едва ли не каждого из молодых людей. А впрочем, не только молодых.

В одном из номеров мы опубликовали письмо рабочего Алексея Новикова. Ему 25 лет. «Значит, — писал он, — почти вся моя сознательная жизнь прошла в застойные годы. Мы — потерянное поколение, потому что мы потеряли в себе что-то святое, что уже не возродить». Письмо очень оптимистичное, с верой в перестройку. И сразу же пришло письмо от ветерана. Он обращался к автору: «Зачем ты клеветашь на свое поколение? Ты — строитель БАМа, ты — воюешь в Афганистане, ты — осваиваешь Тюмень. Разве ты — «потерянное поколение»? Зачем вы, — обращается автор далее к главному редактору, — помещаете клевету на советскую молодежь?» По-человечески его можно понять. Мы долго его убеждали телевидением, газетами, радиовещанием, что молодежь именно такая, какой ему хотелось ее видеть. И вдруг за последние два-три года на него обрушивается новый образ «племени молодого, незнакомо-го». Он хватается за голову: соседка приносит статью, что в Советском Союзе завелась проститутка. Кошмар! Вдруг, оказывается, в соседнем подъезде живет наркоман. Боже мой! И этот человек, естественно, делает вывод, что эти негодяи-журналисты вместо того, чтобы писать про вдохновение комбайнера, занимаются подтасовкой информации, «клеветают на молодежь».

«Я, ты, он, она — вместе целая страна», — прокричать просто. Но как же трудно разобраться, кто — я. кто — ты, кто — он, кто — она... На одно из наших заседаний в Софии пришла болгарская молодежь, ученики Национальной гимназии древних языков и культур. И «неформалы», работающие под панков, пришли. Мы сели за «круглый стол», и со-здалось ощущение, будто два поколения сели за стол переговоров.

Венцель Райчев, сопредседатель нашего дискуссионного клуба, радушно принимавший нас в Софии, наверное, тоже почувствовал, так сказать, торжественность момента. «Сейчас нам, — произнес он, — предстоит самое главное. Мы должны попытаться найти открывенный тон. Говоря от имени членов нашего клуба, хочу подчеркнуть, что мы не собираемся ни поучать, ни морализировать. Если Советский Союз и Америка нашли путь к пониманию друг друга, то тем более мы, представители двух поколений, должны попытаться понять друг друга, поскольку мы живем в одной жизни».

Евлогий*, ученик гимназии: В любой стране взрослое поколение возводит барьер между собой и молодыми. И существует взаимное непонимание между этими двумя государствами в государстве. По-моему, в большой степени это обусловлено немалой дозой фальши, которую молодежь замечает во взрослых. Нас обвиняют, что у нас нет идеалов, что мы не ставим перед собой высокие цели. Однако мы видим, что взрослые тоже не ставят перед собой высокие цели и не имеют идеалов. Они поучают нас, что мы должны стремиться к материальному благополучию, должны бороться против вещемании, однако мы видим, что они сами стремятся к материальному благополучию, что давно утратили те идеалы, за которые боролись в молодости. А сейчас пытаются обвинить нас в том же.

Георгий НЕДЯЛЧЕВ, ученик гимназии: Мне кажется, что в нашей стране, как и в Советском Союзе, властвует один и тот же принцип: запрещено все, что не разрешено. Что такого, если трое молодых людей станут на углу с гитарой и будут петь песни, которые им нравятся? Но их сразу же приберут, куда надо, и начнут выяснять, кто разрешил. То есть необходимо иметь разрешение на то, в чем я не вижу ничего плохого. Я чувствую подсознательный страх во всех молодых, кто меня окружает. Молодежь боится даже обсуждать проблемы общества, в котором живет.

Атанас СЕМОВ, ученик гимназии: Когда начались дискуссии по поводу эпохального поворотного съезда нашего комсомола, очень много говорилось о свободе инициативы, о правах молодежи. Но вот странная вещь. По-моему, до сих

* Автор приносит извинения, что не удалось уточнить некоторые фамилии гимназистов.

пор не выяснен статус комсомола. Что это такое — вспомогательная организация партии, вспомогательная школа будущих членов партии или свободная и массовая молодежная организация? На мой взгляд, сейчас болгарская молодежь испытывает крайнюю необходимость в своей собственной трибуне. В молодежных изданиях работают журналисты, которые хоть и не далеки от проблем молодежи, но видят свою задачу не в том, чтобы дать свободу молодежи высказывать мнение по существующим проблемам, а в том, чтобы преломить отношение молодежи к обществу через призму своей идеологии. Некоторое время назад я отправил один материал в газету. Но мне ответили, что газета должна сочетать мнение молодежи с курсом комсомола и партии, а не быть просто трибуной молодежи.

Разве нужна какая-то особая смелость — публиковать острые письма? О какой «смелости» может быть речь, когда и съезд партии, и съезд комсомола призывают к гласности, инициативности, демократии? Зачем же говорить о свободе вообще, если у меня нету даже свободы публично высказать свое мнение? Я хочу вас спросить: может ли человек со связанными руками вымыть лицо? Вы упрекаете нас. Но можем ли мы, не имея каких-либо реальных свобод, стать лучше? Ругая нас, вы напоминаете строителя, который, встав перед построенным им домом, возмущается тем, что никогда не видел более скособоченных домов. Вы призываете нас к перестройке. Но ответьте, откуда возникла нужда в этой перестройке? Не вам, а нам на своем пути «к светлому будущему» преодолевать пропасти и препятствия, оставленные старшим поколением в ходе строительства социализма. Вы ведете дискуссии о «неформалах», но подобные дискуссии — просто способ избежать обсуждения более острых проблем. Проблемы «неформалов» так или иначе безобидны. Давайте все же говорить о более существенном для нас — о сути комсомола, его смысле или бессмысленности, его месте в обществе.

Тут шла речь о диалоге, который пытается наладить Институт молодежи, возглавляемый профессором Петром Митевым. Лично его я очень уважаю, читал его замечательный доклад, но, к сожалению, институт не может вырваться из цепей комсомольской ограниченности и бюрократизма. И как ни пытаются отдельные журналисты из молодежной прессы наладить этот диалог, они тоже не могут избавиться от уз формализма комсомольской работы. Что можно ждать, если о перестройке, самоуправлении и демократии говорят как раз те, кто лишает нас ее, по крайней мере в жизни молодежи.

...Гимназисты были юны. Самым жарким спорщикам было от силы лет 15. Но речь их была жестка, аргументы точны. И если говорить об идеалах, то, видимо, это и был желаемый идеал. Человек думающий, сомневающийся, жаждущий изменить мир, в котором живет. Оценки были пристрастны и резки. Но радовало и то, что когда мы встретились с первым секретарем Димитровского союза молодежи Андреем Бунжоловым — человеком тоже энергичным и молодым, в своих речах он не предстал перед нами функционером. Он прекрасно ориентировался в нынешней комсомольской ситуации, произносил примерно те же слова, что и эти ребята на встрече, и так же горел желанием перемен. График дня его был плотен...

Васил ГИРОВ, солист рок-группы: Тут кто-то сказал, что у молодых людей в последнее время появилось много свобод. Ну, насчет свободы мысли — согласен. Потому что в голову к тебе никто не может залезть. А что касается свободы веры и свободы слова — то это вранье. Откровенно говоря, у ваш Институт молодежи ни в грош не ставлю. Потому что смешно даже название: молодежь — не химия и не физика, не какая-нибудь наука, чтобы ее исследовать. А если задать вопрос, какой средний возраст сотрудников института, очевидно, мы совсем далеко уйдем от молодежи. От ЦК комсомола зависит деятельность всей организации, а средний возраст работников там тоже, наверное, немалый. И именно та молодежь, о которой мы тут спорим, которая представляет массу, не имеет доступа в ЦК. Командные посты — я имею в виду ключевые посты, влияющие на ход молодежных процессов, — заняты совсем не молодежью. Вы называете тысячи проблем, но не предлагаете ничего конкретного. Так вот я вам скажу: конкретное предложение — дать трибуну для молодежи, которая представляет массу.

Христо ПЕЕВ (Болгария), журналист: Я отношусь к поколению, которое пережило самый застойный период в истории нашей страны, так называемому «купонджийскому» по-



колению. «Купон» — термин, который был очень популярен в свое время и обозначал вечеринки, обычно у кого-нибудь на квартире с магнитофоном и танцами. Нам приходилось прятаться, таиться, потому что могла нагрянуть милиция и создать массу неприятностей. Это было время молодости рок-н-ролла. И время, когда на улице дружинники запросто могли у тебя распороть джинсы, а чуть более длинные волосы были синонимом того, что их носитель — хулиган и враг общества.

Глубоко убежден, что мы относимся к молодежи как к особому типу граждан, имеющих по конституции все права, но не до конца. Мы плывем с ними в одной лодке, однако весла у нас, и они не имеют права спросить нас, куда мы плывем. Мы, обособливая себя как общество и выделяя молодых, как глину, как некую массу, которой можем манипулировать, забываем, что мы сейчас фактически создаем и страну, и ее культуру, и ее будущее.

Необходимость той трибуны, о которой говорил Васил, назрела до такой степени, что если мы не создадим ее сами, молодежь создаст ее без нашей помощи, только мы останемся вне этой трибуны. Нам останется трибуна на пустой площади, где нас никто не слушает...

Здесь я прерву болгарского коллегу, чтобы сказать о той трибуне, которую в нашей стране молодежь в принципе уже создала. По рукам ходят многочисленные выпуски рукописных журналов «Рокси», «Ухо», «Урлайт», «Рок-фронт» — заполняется ниша молодежной субкультуры, практически отсутствующей в официальной прессе. Создается так называемое параллельное кино — и сразу же возникает рукописный журнал «Синема-фантом». В моей коллекции есть даже газета «Пугачевская правда», издаваемая в Минске поклонниками творчества народной артистки РСФСР Аллы Борисовны Пугачевой. Молодежь идет дальше. Сейчас создает собственные «телевизионные» программы о себе на видеокассетах. В годы перестройки произошла политизация молодежных процессов, создались Федерация социалистических общественных клубов, Клуб социальных инициатив, Всесоюзный заочный социально-политический клуб по переписке, множество других политических клубов: «Община», «Перестройка», Группа Спасения — их более ста, занимающихся вопросами экологии культуры, развитием идей перестройки, защитой прав молодежи. Впрочем, на июльском заседании мы поговорим об этом подробнее. А сейчас я хочу подчеркнуть, что и эти клубы создали собственную трибуну, издавая журналы «Свидетель», «Левый поворот», «Меркурий», литературные альманахи. Наблюдая за этим, думаю, что Христо Пеев прав. В этом соревновании мы можем остаться на пустой площади.

Христо ПЕЕВ: Молодые люди не говорят о свободе вообще, о свободе моды, о свободе слова — они говорят о свободе, которая выражается в праве принимать участие в управлении обществом, в праве самим распоряжаться своей судьбой, как они сочтут нужным. Не говоря уж о чисто экономической основе перестройки, социализм как общественный строй должен защитить свое право на существование, на выживание, защитить после чудовищной аморальности культ свое моральное право перед человечеством — быть.

Мы находимся в центре процесса, который касается всего мира, — процесса возрождения личности. Молодой человек вырастает как личность. Мы внушаем ему, что он — личность, а с другой стороны, когда он становится полноправным членом общества, заявляем ему: поскольку он — член



общества, он уже не личность. Когда я говорю о месте молодого человека в обществе, я всегда спрашиваю: а знает ли он, молодой человек, что такое общество? Идентифицирует ли себя с ним? Считает ли это общество своим? Что общество: государство ли общество? Или милиция — общество? Комсомол ли — общество? Партия? Ворчащие пенсионеры? Что и кто? Опасаюсь одного, что подобно тому, как комсомол, идентифицируя себя с обществом, оказался в стороне от молодых людей, мы можем дойти до того, что само общество окажется чуждым молодежи.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ: Вы говорите, что молодежи нужна трибуна? Если объявят воскресник для строительства такой трибуны, я на тот воскресник не пойду, потому что боюсь, что вы выйдете на эту трибуну и скажете то же самое, что говорим мы. Вот сейчас сижу и жду — ну, когда же, наконец, у меня волосы на голове встанут дыбом от ваших речей? Не встали. Все права, которые вы сейчас требуете, я бы не глядя дал бы вам мгновенно и ничего не опасаясь. Знаете, почему? Вы правильно говорите, старшее поколение забюрократилось. Но, ребята, знаете что — а не проникли ли эти вирусы в вашу кровь?

Гласность, сменяющая безгласность и полугласность, — вещь довольно сложная. Чтобы ругать комсомол — много смелости не нужно. Более того, мы просто привыкли, что он есть. Как привыкли к тому, что есть заводы, которые выпускают плохую продукцию, и театры, куда не ходят зрители. Но когда у нас будет разработан механизм социалистического банкротства (говорят, в Венгрии, в Китае он уже разработан), появится возможность закрыть завод, выпускающий некачественные изделия. Может, сам комсомол решит, каким ему быть. Оставьте эти дебаты комсомольскому съезду.

У нас сейчас гласность оглушительная. Какая-нибудь девочка пишет, сколько было у нее молодых людей: пятьдесят или сто. Пишет, как ей это не нравится и как она хочет стать другой или, наоборот, как ей это нравится. Ну и что? Это было всегда — и десять лет назад, и сорок. Раньше об этом говорили в подворотнях, сейчас — со страниц газет. Жизнь от этого не меняется. А вот что, скажите, из молодых людей серьезно реализовал себя к 20 годам? Что-то я в искусстве не замечаю ныне ни одного Элвиса Пресли, который в шестнадцать стал знаменитым. Мы ждем молодого поэта, молодого музыканта, который мог бы выразить свое поколение, — этого не происходит. Пока я наблюдаю лишь, как фарцовщики, спекулянты приобрели высокую квалификацию. Криминальную, рискованную, порочную, как хотите назовите, каким угодно образом, но они ощутимо противопоставили себя обществу. Даже скорее не противопоставили, а просто делали свое преступное дело, не без корысти обслуживая общество. Они себя как-то выразили. Они взрослые люди в свои восемнадцать, в свои семнадцать. Понимаете, о чем я говорю? Разговоры так и останутся разговорами, а дело — делом.

Вот напротив меня сидят молодые ребята, парень и девушка, я на них с удовольствием смотрю, потому что мне такую прическу уже никогда, видимо, иметь не суждено. Но неужели они отличаются от меня только этим? Тогда какого дьявола мы здесь собрались? Тогда нашу дискуссию надо перенести в парикмахерскую. Если наши с вами разногласия ограничиваются музыкой или стилем прически, то давайте поставим точку. Строить трибуну для споров о том, кому на какой лад причесываться, я отказываюсь.

Васил ГИРОВ: Трибуна, о которой я говорил, — это не трибуна для ораторствования. Я занимаюсь музыкой,

и буду говорить о том, что меня волнует. Мне нужна возможность самовыражения. На радио произведения музыкантов до 20 лет (а для меня это самый ценный возраст) просто не в состоянии «пробиться», не говоря уж о цензуре. Я могу привести имена очень талантливых, даже, на мой взгляд, гениальных молодых людей, которые просто загнаны дома, не имея ни к чему доступа. Не только к радиовещанию — даже к сцене. Я видел, как на концертах таких людей просто стаскивали со сцены. Конкретных предложений хотите? Я предлагаю организовать хотя бы раз в год форум, где дали бы возможность выступить абсолютно всем желающим — без цензуры и предварительного отбора.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ: У нас в стране таких групп десятки тысяч. Недавно из Курска, где я когда-то работал, приехал ко мне молодой человек и сказал: «У меня есть ансамбль. Я считаю, он мог бы представлять наше искусство даже за границей. Везде говорят: надо выдвигать молодых, а мне никто не помогает». Я спросил: почему из 30 ансамблей, которые есть в Курске, из 30 тысяч в Российской Федерации нужно поддерживать именно тебя? Гениев всегда мало, их несколько на всю страну. В Америке или во Франции, например, из корыстных интересов подхватывают все любопытное, но, однако, мы знаем всего несколько имен. Это процесс абсолютно нормальный: никогда в искусстве люди не «пробивались» по возрастному принципу.

Петр МИЛАНОВ, молодежная редакция газеты «Софийские новости»: Когда я приглашал на заседание нашего дискуссионного клуба нестандартных молодых людей, то воочию убедился, что трибуну молодежи не очень-то жаждет получить. Группа хард-рока отказалась прийти: им предстоит запись на радио, и они опасаются, что их не запишут, узнав об участии в этой встрече. Группа «металлистов» решилась прийти, но полчаса назад они позвонили и сказали, что их не пускают учителя, дабы они не наговорили глупостей и не опорочили репутацию школы.

Петр, ученик гимназии: Недавно я предложил молодежной редакции телевидения провести дискуссию, подобную сегодняшней. Сделать прямую передачу. Пригласить руководящих деятелей комсомола, спросить: что значит демократизация комсомола? Что значит перестройка комсомола, если комсомол так или иначе за нее выступает, и что требуется от нас в этой перестройке? Хотели высказать позиции, найти общий язык, чтобы не было конфликтов. Чтобы не вышло, как сейчас: об Институте молодежи говорят, как о переднем фронте перестройки, а мы воспринимаем его как передний фронт, обернутый в целлофан. Передний фронт, который не ощущает запаха проблем. Вопреки готовности молодежной редакции телевидения идея развалилась. Наша суть, конечно, не в прическах. Пока не существует другой организации, занимающейся молодежью, нам крайне важно обсудить, что в нашем комсомоле димитровское, что в нем коммунистическое, что молодежное, что ненужное. Так что же остается? Ждать, пока самоуправление и демократия сами по себе выскочат из документов?

Ей было скучно. Мы говорили горячо, но ей явно было скучно. Она не произнесла ни слова. Одета так, что на нее обязательно оглянутся на улице, с огромными металлическими пластинами в ушах, она слушала нас скорее не терпеливо, а снисходительно. Временами легким движением накрашенных капризных губ она сдвигала в сторону прядь волос, цекотававшую ей лицо. Потом в маленькой комнате под чердаком большого дома она покажет мне обложку журнала: она в толпе. Под фотографией — надпись: «Панки — это пустота».

Заглянем в пустоту...

Ее зовут Милена. Вечером после наших заседаний я нашел их в студенческом кафе. Милена, Васил и Вьлко — это рок-группа «Милена». Микрофоны, гитары, цветные прожектора... Родители ее — бухгалтеры. Отец — ревизор, мать — счетовод, брат — тоже бухгалтер. Брату 27 лет, и он часто отчитывается Милену за то, что у нее не идет трудовой стаж. Ей двадцать. Она говорит: «Зато я сама зарабатываю себе на жизнь». Зеленый лак на ногтях, широкий красный пояс. «Мне говорят на телевидении: если хочешь, чтобы мы тебя показывали крупным планом, прищись, как все, будь, как все. Один композитор, когда узнал, что меня не показывают по телевидению, бросил меня. А я не хочу, как все. На дискотеке у меня была кличка «Бэби», ну, грудной ребенок. Я была самая маленькая. Это шестой класс. Я тогда что-то выкроила из авоськи и прицепила большую булавку, потому что хотела идти в ногу с модой. Учительница вызвала маму все время в школу и говорила, чтобы я шла в ногу со всеми. Отец закрывал дверь, грозился отправить меня в колонию и жаловался на меня квартальному милиционеру.

— Ну все старшие ворчат на молодых. И ты в старости такая же станешь.

— Нет, я буду, наверное, современная старуха. И никогда не буду ворчать на молодых. Я много размышляла, какая я в старости буду.

— Может, ты и о смерти думала?

— Очень часто. Это моя боль.

— Разъясни. Я не понял.

— Понимаешь, это единственная вещь, от которой я испытываю зверский ужас, страх.

— Ты не хочешь, чтобы жизнь быстро кончилась? Отсюда страх?

— Да. Это очень часто со мной случается, когда я ложусь спать. Первая мысль сама собой приходит, что ничего не вечно. Что даже земля не вечна, не вечно ничего, что на ней происходит. Как удержаться невечному человеку на невечной земле? Я немножко даже задрожала. Отвратительное чувство. Есть такие моменты, когда я отчетливо понимаю, что смерть — вещь безвозвратная и вечная, и она когда-то должна произойти. Эта мысль меня может легко вывести из равновесия.

— Ты говоришь так, словно бы уже встречалась со смертью.

— У нас в классе учился парень, который повесился. Он был странным. Когда мы встречались, он говорил, что ночевал в парке на могиле. Всякий раз, когда мы встречались, он говорил это. Он говорил, что было ужасно холодно. Там было возвышение, земляной холм. Я видела дерево, где он повесился. А другой парень застрелился, когда делали облаву, и он побоялся, что его застукают с наркотиками. У него был пистолет, и он застрелился. Я чувствую, что исчезаю постепенно. Это, может быть, смешно, но когда я обрезаю ноготь и выбрасываю его, я думаю, что именно такими способами человек умирает. Так же просто и невозвратно, как состричь ноготь. Ничего не остается.

Она подобрала прилупную собачку. Назвала ее Габриэлой. А когда стала «панковать», выкрасила собачку в lilовый цвет. Габриэлла была очень рада. Другие собаки тоже не шарахались от Габриэллы. Потому что, в отличие от людей, собаки не различают цветов.

— Что тебе больше всего не нравится в людях?

— Бесцельность. Тут в Софии много девочек, приехавших сюда со всей Болгарии. Им кажется, что если родители далеко, то уже стали дико самостоятельными. Завели свои квартиры, считают, что можно делать все. Неделями не ходили в школу, комнаты превращались в притон. Они воображали себя центром вселенной и думали, что так и надо жить. Это мои одноклассницы. Я приходила к ним на день рождения. Они спали на полу, в раковине валялась немытая посуда. Боже, как я ненавижу эту грязь!..

— Что для тебя самое главное?

— Самая большая проблема в том, что мне не позволено делать то, что я хочу. Я — рыба на суше. Нет личной свободы.

— Что для тебя означает личная свобода? Это связано с музыкой?

— Да. И только.

— Хорошо. Если бы тебе предоставить всю свободу, какую только пожелаешь, что бы ты сделала?

— Сразу бы — студию звукозаписи с моими единомышленниками. Стала бы записывать вещи, в которые бы никто не совал свой нос. У меня в голове целый концерт. Я его так сделала бы, что все сошли бы с ума. Я всегда этого хотела. Даже когда пела в школьном хоре. Если ты ходил в хор, тебе ставили отличную оценку по пению, даже если ты без голоса. А если не ходил, то ставили двойку. Мы пели что-то вроде «Нам милы родные горы, по их вершинам — красные флаги...» Кто это запомнит? Но эти штатки всадили нам в головы, и они крутятся в голове. И ты начинаешь думать, словно по подсказке.

— Какие у тебя планы на жизнь?

— Я хочу сделать классную рок-группу. Чтобы у нас был свой язык и чтобы мы не были ни на кого похожи. Сейчас я коплю на машину, у меня уже есть несколько тысяч левов. Мне нужна машина, чтобы возить мою рок-группу на гастроли по Болгарии. Так мы быстрее завоеваем популярность. Мы хотим сделать национальный рок.

— Ну, вот, представь, у меня в руках не диктофон, а микрофон, и тебя сейчас услышат пять миллиардов людей. Что бы ты спела?

— Что спела бы? Вот что: «У каждого своя революция, моя уже началась».



— У вашей рок-группы есть такая песня?

— Да. Эти стихи были опубликованы в газете «Студенческая трибуна», но нам не разрешили их петь.

— Почему ты не произнесла ни слова на нашей встрече?

— Не люблю разговоры, которые ничего не решают. Комсомол?! Бьюсь об заклад, что никто по желанию ни копейки не даст. В школе еще заставляли платить. Мне просто странно, почему надо с такими усилиями создавать его искусственно. Я об этом никогда не говорю. Это, конечно, является моим минусом, моей социалистической моралью.

— А что, разве социалистическая мораль подразумевает ложь?

— Между прочим, если кто другой услышит, что я говорю здесь, это мне повредит. Я не попаду за границу. Впрочем, наверное, это страхи прежних лет. Меня страшно беспокоит, чтобы не случилось чего-либо непредвиденного в Советском Союзе, чтобы не повернулось все, как прежде.

Комнатка — ее мир — с усилителями, микрофонами, афишами, располагалась прямо над квартирой родителей. Заперев дверь, она спустилась на этаж ниже. Процаясь у лифта, она снова капризным движением губ соднула прядь волос, закрывавшую ей лицо. Я вспомнил фотографию на обложке: «Панки — это пустота».

И тут позвольте мне небольшое отступление, касающееся рок-музыки, которую в большинстве своем я не приемлю и не люблю. Равно, как многих других, меня пугает, когда многотысячный зал орет, вскинув пальцы «козой»: «Ты — дрянь!» Эта песня вообще-то про любовь. Беснуясь, зал повторяет рефрен из нее. Убежден — разрушение души при этом происходит. Но в той же степени убежден: запреты страшнее. Убежден, что молодежь наша, как, впрочем, и НЕ наша, нравственно сильна и способна в такой же степени, как и мы, зло отличать от добра, справедливость от корысти, ненависть от любви. Я вижу, как рок-группы, пользующиеся огромной популярностью в «андеграунде» — системе подпольных концертов — превращались в мыльный радужный пузырь, едва запретный плод снимали с ветки.

Рок-музыканты и Высоцкий находились в неравнозначных положениях, хотя подчас говорились: Высоцкого тоже не издавали, а его знала вся страна. Рок-музыкантам нужна огромная аудитория, чтобы пять — десять тысяч человек вставали на дыбы. Кто эту аудиторию предоставит? Где взять аппаратуру, которая стоит бешеные деньги? Где на эту аппаратуру заработать? Песни, которые поются на большую аудиторию — больше трех человек? — надо литовать. Какие критерии «литовки» текстов? У меня в папке — листок с детской считалкой: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана: буду резать, буду бить, все равно тебе водить». Не так просто было поставить печать, что это разрешено к исполнению. Стоит ли решать нам, людям, зачастую не разбирающимся в рок-культуре, и на свой вкус, далекий от молодежных вкусов, определять, какую рок-группу поддерживать, какую нет? Я думаю — их вообще не надо поддерживать. Это мое глубокое убеждение. А надо поступить проще: дать каждой группе свободный счет в банке, пусть они сами на своих выступлениях зарабатывают какое угодно количество денег в свободной конкурентной борьбе. Молодежь сама выберет, кто нравится, кто не нравится. Если так уж вы хотите, чтобы родился новый Элвис Пресли, дайте ему возможность родиться.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, главный редактор журнала «Юность»: Шаляпина не приняли в хор, а Горького — приняли, когда они туда поступали. Я это к тому, что талант всегда реализуется. Вы хотите, чтобы мы для вас создали этакую оранжерею. Нет, жизнь — это борьба. Вот мы с Леней Жуховицким вместе учились в Литературном институте, знаем много примеров, как наши ребята, сокурсники, ушли в песок, так сказать. Почему? Потому что не туда поступили, не тем занимались. Дело не в поддержке или неподдержке. Мы устроили эту «поддержку» и приняли десять тысяч человек в Союз писателей. Но не может быть даже в такой стране, где 270 миллионов, — десять тысяч писателей. Это противоестественно, потому что это штучный товар. Если вас, простите меня, не пускают на радио или не пускают на телевидение, потому что там сидят бюрократы — ну, и черт с ним, с этим радио и телевидением! Скажем, такой поэт, как Артур Рембо, написал свои стихи от 15 до 19 лет. Их еще никто не знал. Потом больше ничего не написал. Мировая известность... Если человек — личность, он себя утвердит. Он может погибнуть, обливаться кровью, слезами, может сломаться в двадцать лет — это судьба. Но я бесконечно люблю тех фанатиков, одержимых ребят, которые прорываются сквозь все.

Если говорить о музыке, я вырос в двух эпохах. У меня в семье пели, у нас классическая и народная музыка звучала все время. А сейчас несколько лет живу в другой эпохе — рок-н-ролла, джаза, металлического рока... Мой сын служит в армии, но, начиная с его 13 лет, у меня в доме — музыка вашего поколения. Мне это тоже интересно. Знаю имена знаменитостей, истории групп — все через сына. И вот что: Запад умеет создавать условия, которые напрочь исключают взлет бездарности. Там конкуренция, звезды там — истинно даровитые люди. Я хочу, чтобы вы это поняли, и поэтому пробивайтесь и не жалуйтесь нам.

Вам — восемнадцать. Когда мне было восемнадцать, я не имел права сказать и сотой доли того, что вы говорите нам сейчас. Нам жизнь не позволила стать такими, как вы. Поэтому в вас мы видим себя, нереализованных. Тогда выгоняли из институтов за какое-нибудь неосторожное высказывание. А сейчас я вас слушаю и прикидываю, как это печатать в журнале «Юность». Ведь мы с вами не просто собрались продемонстрировать друг другу, что каждый из нас достаточно умен и достаточно образован. В конечном счете весь разговор и вся эта встреча направлены только к одному: как сделать жизнь лучше. Перестройка дала нам шанс, давайте все-таки не упустим его.

Скажу вам честно, мне не очень нравится слово «застой», которым мы определяем последнее десятилетие. Скорее это похоже на скрытую «контрреволюцию». Потому что было постоянное разрушение идеалов, тех завоеваний, которые принес Великий Октябрь. Был период страшный, когда наши поступки напрочь расходились с нашими словами. И поэтому естественно, что души многих молодых людей, тогда еще совсем юных, разошлись с нами. Я считаю, что мы потеряли молодежь. Не просто часть молодежи, а, может быть, ее лучшую часть. Думавшую, творческую. И сейчас пытаемся ее обрести.

Петр, ученик гимназии: Почему вы молчали тогда? После XX съезда вы имели возможность осуществить ту перестройку, к которой нас призываете сейчас.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ: А кто вам сказал, что мы молчали? Нынешняя перестройка подготовлена как раз нашим «молчаливым» поколением. Айтматов, Астафьев, Вознесенский, Высоцкий, Рождественский, Шукшин — мал список? А публицисты? Обоим имен не меньше. А Любимов в театре? Ведь и он своими спектаклями продвигал страну к перестройке. А Тарковский в кино? Это — молчаливое поколение? Помню, как Никита Сергеевич Хрущев, совершив великий, как я считаю, подвиг на XX съезде, осудив культ личности, потом под влиянием подхалимов и людей, которые не могли стать иными только потому, что прошел XX съезд, создал свой собственный «маленький» культ. Помню, в Калинин, где я тогда жил, на районной партийной конференции выступил полковник из военной академии, доктор экономических наук, и сказал: «Товарищи, мы только что покончили с культом личности Сталина, но не мы ли сами возродили новый культ?». Сразу вся конференция под воздействием начала «бить» этого смелого человека. Вскоре он умер от инфаркта, ибо очень переживал. А через несколько дней колхозница мне в деревне сказала: «Ты слышал, Никита-то уже больше не Хрущев!» В любые времена находились люди, которые оставались верны своей

совести и в конечном счете верны идеалам революции. Вы упрекаете наше поколение в случившемся. Хорошо. Мы упреки ваши принимаем. Но помните, что гарантии того, что перестройка не повернет вспять, заключены не столько в нас, а скорее в вас, молодых.

Атанас СЕМОВ, ученик гимназии: Я согласен с вами, перестройка готовилась исподволь. Но лишь только после того, как появился Горбачев, она началась всенародно. Согласен: многое зависит от нас. Через десяток лет мы составим основное действующее ядро общества. Если вы нам предоставите трибуну, мы можем наговорить с нее много правильных слов. Но весь вопрос состоит в том, какую власть в государстве имеем мы, молодежь, чтобы подкрепить то, что говорим, делаем. А у нас лишь совещательный голос, да и тот не принимают всерьез.

Около отеля меня поприветствовал за рукам валютчик, ровесник Атанаса. «Ченч,— сказал он,— доллары, марки? Инглиш? Испань-ол?» «Советский», — ответил я. «Отлично! — обрадовался он.— Рубли! Меняю один к одному». Он довольно сносно говорил по-русски. В Болгарии русский язык изучают в школах, и поэтому нет проблем у любого встречного расписаться дорожку. И на грохочущей дискотеке, под всплески пляшущих огней, парни диск-жокеи рассказывали мне истории, в общем-то схожие с нашими дискотечными делами. И замечательный фильм «Дом № 8» Николая Волева об интернате для олигофренов, слабоумных детей, мог быть снят, думал я, где-нибудь у нас с такой же мрачной силой беспощадного взгляда. И ваялая, до предела заорганизованная встреча с молодой, так сказать, творческой интеллигенцией, где перед телекамерами и иностранными гостями (то есть перед нами) произносились скучно-правильные суждения, — все это было до боли узнаваемо. И на том разговоре с неформалами и гимназистами у меня не раз возникало ощущение, что я перенесся в Москву, в «20-ю комнату», где точно так же спорили наши ребята. Отвергали и опровергали, и, наверное, чем больше возникает общих проблем, тем более человечество становится единым.

В маленьком журналистском кафе недалеко от редакции газеты «Софийские новости», куда стекались по мере подписания номера сотрудники, было шумно и дымно. Здесь спорили, кричали, пили сухое вино. Обстановка была домашней. Мы говорили о литературе. Здесь с такой же жадностью, как и у нас, читают «Новый мир», «Знамя», «Дружбу народов», «Московские новости», «Огонек», «Юность» — читают, знают, передают с рук на руки. А уж привычный журналистский треп, видимо, одинаков на всех боках нашей круглой планеты. Встреча была позади, мы подводили итоги и думали о будущем. Еще предстояли многочисленные хлопоты, создание фонда, поиски денег для организации следующих встреч, переписки, поездки «шефа» (как по-дружески называли тут за столом Венцеля Райчева коллеги) и нашего многодеятельного ответственного секретаря клуба Игоря Альтера в Москву, еще впереди утверждения устава, программы и статуса клуба. Но и после первой встречи уже можно было предположить, что ждать от его деятельности. Возможность собрать под крышей Международного дискуссионного клуба воедино людей, занимающихся молодежными проблемами в самых разных аспектах, найти единомышленников... А впрочем, важнее даже соединить людей с полярными точками зрения, чтобы на этом перекрестке взглядов рождались парадоксальные, неожиданные суждения, которые помогут отыскать выход из тупиков.

«Тупик»... — это слово произнес Тони, наркоман в суходольской клинике доктора Филиппа Лазарова, красивый, стройный парень с густой шевелюрой, не раз бывший чемпионом республики по фехтованию и пытавшийся в восемнадцатый раз вырваться из наркоода. Его свободная речь, манера держаться, тонкие черты лица выдавали в нем человека, который мог бы стать незаурядной личностью... «Что может остановить наркомана?» — спросил я. «Только одно: восемьдесят процентов нас надо расстрелять». Руки его были в шрамах. В состоянии абстиненции, когда наркотиков нет, боль жуткая, и они рвут себе вены. «Я хочу остаться здесь», — сказал он, — потому что хочу остаться живым. Вы не знаете, что это за мир. Даже если бы я знал, что у моей матери есть наркотики, я бы ее убил за две-три дозы». «Оставить Тони у себя мы не можем», — сказал доктор Лазаров. — Мы выпустим его. Он вернется к нам вновь. Или умрет там. Под иглой...»

— Что тебе запомнилось? — спрашивали, когда я вернулся.

— Национальная картинная галерея, бесплатно работающая по выходным, — отвечал я.

И вспоминал лицо Тони...

Болгария

Второе заседание Международного дискуссионного клуба по проблемам молодежи, проходящее в Москве с 11 по 15 июля, подготовлено добровольными помощниками «20-й комнаты». За что мы их искренне благодарим. Спасибо! Наш телефон 251-02-30.

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

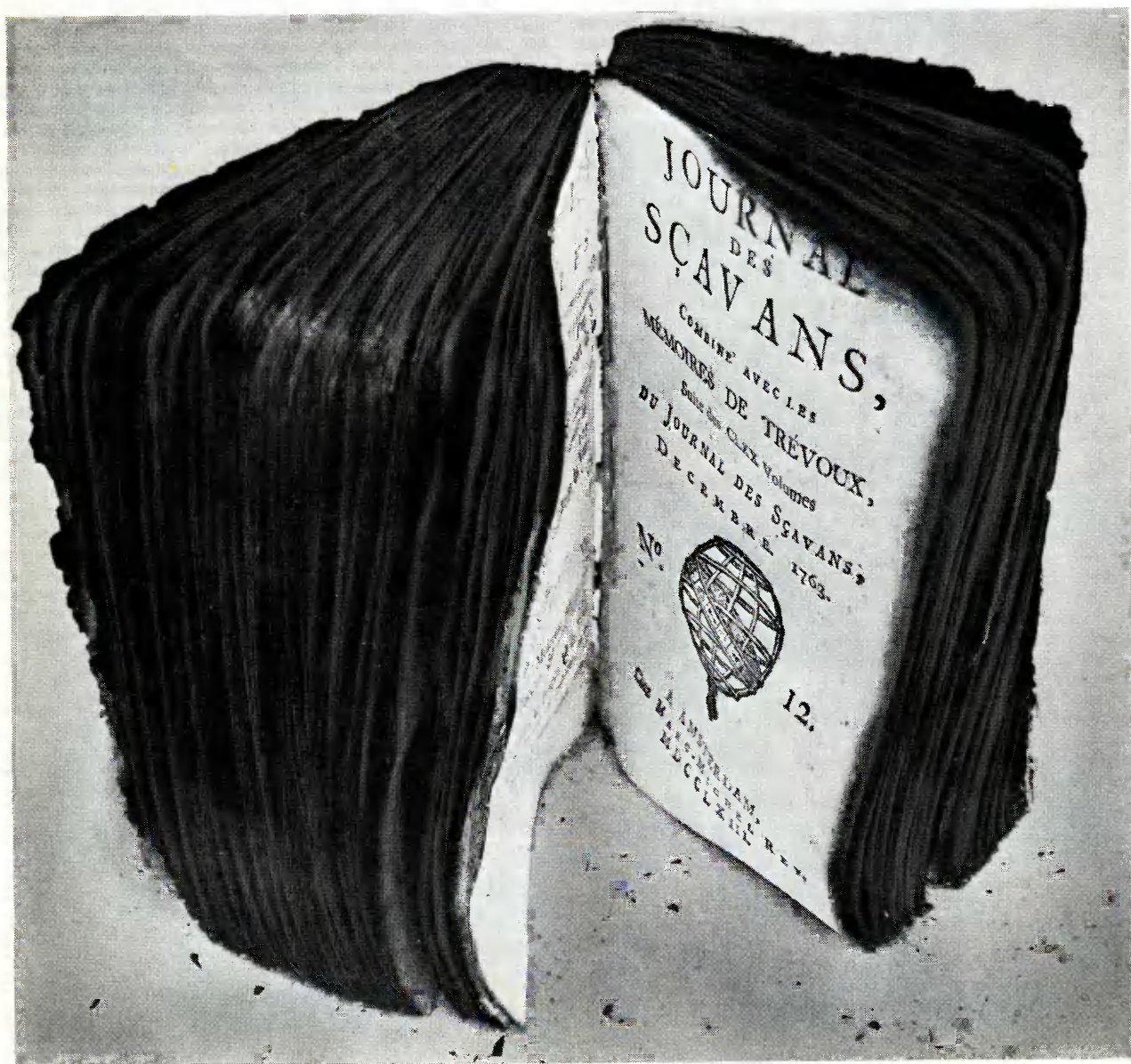
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЛЕНИНГРАДЕ

На снимке: «Газета ученых»,
изданная в Амстердаме в декабре 1763 года,
хранящаяся в фонде Бэра.
Фото И. Потемкина

Я приехал в Ленинград в конце марта — спустя полтора месяца после того, как пожарные, пустив в ход наконец двадцать три ствола «Б» и два лафетных, щедро залили водой пылавшие книгохранилища Библиотеки Академии наук СССР. Пожар, как известно, начался в газетном хранилище, где имелась уникальная периодика и первых лет Советской власти, и конца двадцатых годов, и тридцатых... Долгие годы эти газеты были доступны лишь избранным — самым «благонадежным» — читателям, и вот, когда жесткие ограничения спецфонда наконец пали, тут-то эти газеты и загорелись... Пошел слух, который продолжал бытовать в городе и в конце марта, что это «сталинисты», дескать, «заметая следы», подожгли подшивки старых газет!

Отнюдь не случайно этот слух оказался так живуч. Через месяц после пожара, когда газета «Советская Россия» опубликовала печальной памяти призыв преподавателя Ленинградского технологического института Андреевой спасать социализм от демократии и гласности, поборники сталинского произвола воспрями духом и всячески принялись поддерживать, заполучив даже телеэкран (и это в городе, носящем имя Ленина!), спасительный для себя призыв. Ах, как жаль вчерашним людям освободить насиженные должностные кресла, а если учесть, что цель для них по-прежнему оправдывает средства, то... Словом, любой — даже самый немыслимый — слух произрастает лишь на почве, вдоволь удобренной ложью и фарисейством.

В истории Библиотеки Академии наук, первой русской фундаментальной библиотеки общественного пользования, открытой в Петербурге в 1714 году, это уже второй гранди-



озный пожар. Предыдущий случился под утро пятого декабря 1747 года и, как свидетельствует историк, тоже повлек «невосполнимые убытки». Служители Кунсткамеры, под крышей которой располагалась академическая Библиотека, взялись первым делом спасать восковую фигуру Петра Первого, а горящие книги выбрасывали из окон на снег. И в прошедшем феврале книги и газеты выбрасывались из окон прямо на снег, и на библиотечном дворе образовалась куча высотой в двухэтажный дом. Но еще разительнее другая «перекличка времен». Небезызвестный гонитель Ломоносова Шумахер, которому высочайшим повелением было поручено «смотрение за Библиотечкой», спешил всячески преуменьшить убытки, а президент Академии наук Разумовский в рапорте, поданном императрице, уверял, в свою очередь, что библиотеке, как и экспонатам Кунсткамеры, причинен лишь самый малый ущерб. Точно так, увы, повели себя и люди, которые ныне «смотрят за Библиотечкой», — директор В. А. Филов, его заместитель по науке В. П. Леонов...

Ущерб, причиненный пожаром отечественной культуре, они пытаются оценить в 297 тысяч рублей. Первоначальные три тысячи (!) рублей уже не фигурируют, но и последняя цифра анекдотична. Горели три хранилища, но при тушении пожара были залиты водой еще двадцать два, в которых, по предварительным данным, подмокло около трех с половиной миллионов единиц хранения. А почти 400 тысяч книг сгорели!!!

Так вот, эти книги оценивались по средней балансовой стоимости нормативов конца пятидесятых годов (а газетный фонд вообще не стоит на балансе, и стоимость сгоревших подшивков — среди которых были уже невозполнимые — в эти 297 тысяч не включена). И получается, что средняя стоимость погибшей книги равна 66—68 копейкам! Даже книги советских лет — а их сгорело более двухсот тысяч — согласитесь, стоят сегодня гораздо дороже. Но погибло и около двухсот тысяч книг иностранного фонда — бесценных книг так называемого фонда Бэра.

К каким только ухищрениям не прибегают заинтересованные лица, чтобы преуменьшить потери именно этого фонда и приглушить голос академика Лихачева: взывая к общественности, Дмитрий Сергеевич сопоставляет этот пожар в Ленинграде — по последствиям для отечественной культуры — с катастрофой в Чернобыле. Бесценность же фонда Бэра определяется тем, что он включал свыше полумиллиона изданий на иностранных языках, из них около двадцати тысяч — семнадцатого века, ста тысяч — восемнадцатого...

Горели книги из библиотеки Аптекарского приказа и знаменитой частной библиотеки Радзивилов, книги, собранные сподвижниками Петра и курляндскими герцогами... Все эти книги и были в 1840 году систематизированы академиком Бэром, принявшим обязанности библиотекаря II отделения (Иностранного фонда). И вновь напрашивается сравнение — Бэр, как и нынешний директор библиотеки Филов, тоже работал по совместительству.

Вернадский ставил Карла Максимовича Бэра, известного естествоиспытателя, основоположника эмбриологии позвоночных животных, в один ряд с Ламарком, Кювье, Дарвином и выделял его, вместе с Ломоносовым и Эйлером, даже из блестящей плеяды творческих умов и создателей духовного уклада Российской Академии. Приведу и оценку, принадлежащую современнику Бэра: «Он жил не для себя, не для своей семьи, он жил для науки, для отечества, для цивилизации. Он не был коренным русским, но редко приходится встречать людей, которые так бы были преданны России и ее интересам, как он». Бэр посвящал себя и педагогике, и исследованиям Новой Земли и Каспия (это он доказал, что каспийская сельдь не только пригодна в пищу, но и не уступает голландской), вошел в историю и нашего библиотечного дела, создав систематический каталог академического собрания.

А пример сегодняшний — пребывание в должности директора библиотеки онколога Филова — лишний раз убеждает в том, что высокий принцип «жить не для себя, но для Отечества» требует в нашем обществе скорейшей реанимации. Год назад корреспондент «Ленинградской правды» В. Тверитина в статье «Директор... по совместительству» обнажила корыстолюбие Филова и угодных ему людей, объявившихся в библиотеке. А результат? Филов расчетливо поменял окружение, и дирекция — даже после пожара! — продолжала игнорировать мнение библиотечного коллектива, его признанных лидеров — парторга Л. А. Петровой и профорга В. Б. Лазуркиной.

Поучительно проследить, как дирекция и иные заинтересованные лица «спасали» фонд Бэра.

Через пять дней после пожара заместитель директора Леонов успокаивал ленинградцев в информационной программе «Телекурьер»: «Залита водой часть бэровского фонда, но предпринимается все возможное, чтобы его спасти...»

А еще через пять дней к дезинформированию общественности подключился и «Вечерний Ленинград» (на партийно-профсоюзном собрании в Библиотеке этой публикацией в городской газете дирекция пыталась «крыть» тревожную корреспонденцию в «Известиях»), где утверждалось, что хотя огонь и ворвался в хранилище фонда Бэра, но антикварные издания находились у самого пола и были залиты потоками воды, что и спасло их... от огня, да и вообще большая часть этого фонда давно перекочевала, оказывается, в другие отделы... «Так что сведения о том, что фонд Бэра сгорел, несостоятельны», — уверяла газета.

А в конце марта на Невском я купил «Ленинградскую правду», в которой прибывший на место пожара заместитель председателя объединенного информационно-библиотечного совета АН СССР академик В. А. Виноградов попрекал столичных журналистов в одностороннем понимании гласности: дают слово, дескать, в своих изданиях лишь Д. С. Лихачеву, хотя нет необходимости «излишне драматизировать ситуацию»... А вице-президент АН СССР академик П. Н. Федосеев, также прибывший в Ленинград, предложил совсем новую версию судьбы фонда Бэра: «Что же касается судьбы фонда Бэра, то во время пожара он находился в другом хранилище. Пострадала часть иностранного фонда, составленного по классификации академика, именуемого обычно тоже как фонд Бэра.

Эти книги представляют, безусловно, значительную, но все же меньшую ценность, чем его личный фонд».

Я попросил прокомментировать эту версию старшего научного сотрудника отдела рукописной и редкой книги академической Библиотеки, ведущего специалиста по западноевропейской книге XVII—XVIII веков Е. А. Савельеву. Она предоставила мне свое официальное заключение: «В состав Иностранного отделения личная библиотека Бэра никогда не входила, и по своей значимости для истории русской науки она никак не может равняться с собранием книг Иностранного отделения». А личная библиотека Бэра, как выяснилось, в основном хранится в... Тарту; та небольшая часть ее, что находится в Ленинграде, является достоянием Зоологического института.

Елена Алексеевна благодурила судьбу: в день, предшествующий пожару, она перенесла из фонда Бэра в свой отдел десять исторических книг, подаренных Библиотеке в тридцатые годы XVIII века Лиссабонской Академией наук. Она сдержанно оценивает и публичное высказывание академика Виноградова, что с помощью крупнейших советских и зарубежных библиотек можно будет полностью восстановить погибший книжный фонд (особенно пострадали разделы классической литературы, истории школ и университетов, энциклопедических словарей...). В прошлом году в фонде Бэра была обнаружена книга с суперэксlibрисом (эксlibрисом, тисненным на кожаном переплете) Петра Первого. А кожаный переплет книги, принадлежавшей сподвижнику Петра Брюсу, обгорел... Восстановимы ли книги, хранящие эксlibрисы и заметки славных деятелей русской культуры и науки былых веков? Полтора миллиона рублей, которые выделяет Академия наук на ближайшие годы для восстановления утраченного фонда, тут не выручат. Да и вообще эта сумма — капля в море, если учесть, сколько и каких книг погибло и каковы цены международного аукциона...

Но как удалось затеять и так долго длить эту игру с цифрами и предвзятыми оценками вокруг погибших книг и газет — вокруг фонда Бэра прежде всего? 25 февраля в Библиотеке состоялось партийно-профсоюзное собрание, где было решено для скорейшей ликвидации последствий пожара обратиться в ЦК КПСС и Совет Министров СССР. Однако дирекция воспротивилась этому: библиотека, дескать, академическая, а не государственная... А городские власти, как и власти академические, которые не приняли своевременных мер, чтобы предотвратить случившееся (в столь же аварийном состоянии продолжает оставаться и Пушкинский Дом), первым делом стремились не раздувать (терминология академика Виноградова) «мрачный ажиотаж». Ясно?

На лестничной площадке третьего этажа Библиотеки — в хранилище этого этажа вовсю полыхал пожар — я увидел сидящего с книгой в кресле бронзового академика Бэра.

А кресло было деревянное, с обломанным подлокотником. Бронзовый памятник присел в деревянное кресло? Но после той вакханалии, которая творилась здесь в связи с судьбой фонда Бэра, я готов был уже ничему не удивляться. И все же Бэр именно здесь бронзовеет, а не там, где находится его личная библиотека! Правда, как выяснилось, памятник Бэру работы знаменитого А. М. Опекушина был сооружен в 1886 году по всенародной подписке как раз в Дерпте (нынешнем Тарту), но в 1925 году дочери скульптора сочли своим долгом принести в дар Библиотеке Академии наук хранившийся у них первоначальный — уменьшенный — проект памятника в гипсе. И эту гипсовую модель, которая покрыта теперь бронзовой краской, Опекушин расположил в своем кресле. Вот и разгадка. Коробит, однако, здешнее отношение и к Бэру-памятнику. Деревянное кресло следовало бы подремонтировать — подлокотник не вчера отломился. Но ведь и пожарная сигнализация в том хранилище, которое загорелось первым, была не в порядке...

На входной двери Библиотеки уже красуется яркий щит, который уведомляет читателей, что они, как обычно, могут прийти сюда с 10 до 20 часов, кроме воскресенья. Демонстрируется видимость благополучия. И лишь подойдя поближе, обнаруживаешь в уголке, мелкими буквами, уточнение: «Пока открыты только выставка новых поступлений, зал для чтения микрофильмов, журнальный зал». А первая попытка сделать вид, что все в порядке (работникам Библиотеки объяснялось, что это вопрос политического значения!), была совершена уже на третий день после пожара — в одном из главных читальных залов на шестом этаже, еще не занятом под просушку книг, спешно разместили выставку новых поступлений. Но лишь последний циник мог бы уютно, при мягком свете настольной лампы разместиться с книжечкой посреди пепелища. Таких читателей не нашлось. Те, которые пришли в тот день в Библиотеку, спешили предложить свою помощь в спасении обгоревших и подмоченных книг.

Каждый добровольный помощник работников Библиотеки достоин высоких слов признательности. Тысячи ленинградцев — и людей науки, и людей от академической науки далеких — восприняли случившееся как беду в собственном доме.

Первыми взяли книги домой, чтобы высушить их, сотрудники ПО «Пигмент». У Наташи Беляевой, которая пришла работать в Библиотеку после школы и еще в начале февраля оставалась каждый вечер в читальном зале, готовясь к экзаменам в университет, на филологический, естественно, факультет, в «Пигменте» работает брат Алексей. И сразу после пожара, когда Наташа, забыв и о предстоящих экзаменах — она библиотечкарь как раз того раздела, который ведал фондом Бэра, — поздно ночью привезла домой первые подмокшие книги, брат и его институтские друзья тоже вызвались сушить книги. Но отнюдь не сразу Наташа убедила свою дирекцию, что ребята из «Пигмента» можно доверить гибнущие книги («Кто такие? Пусть принесут характеристики!»). А на свое имя Наташа взяла пятьсот книг, раздавала их знакомым и совсем незнакомым людям, если с первого взгляда они вызвали доверие. И никто не подвел ее — все книги возвращены идеально высушенными.

До сих пор в хранилищах, которые вдруг обернулись для книг идеальными крематориями, стоит сладковатый угарный дух. А в первые дни самоотверженные библиотечкари, выживая здесь книгу за книгой из воды и пепла, не раз теряли сознание. И никто не заболел о том, чтобы снабдить их хотя бы марлевыми масками, я уж не говорю о респираторах. Теперь, правда, им предлагают путевки в профилакторий, молоком отпаивают... Жаль, забыл поинтересоваться: выдают ли молоко дирекции? Академик Карл фон Бэр, я убежден, случись в его бытность вдруг подобный пожар, собственноручно, сбросив сюртук, днем и ночью спасал бы книги. А тут и тележек не доставало, чтобы вывозить мокрые книги из задымленных хранилищ, Наташа, например, приспособилась катить тележку без одного колеса...

Подмоченным книгам угрожал теперь плесневый грибок. Была бы создана, как требовала общественность, государственная комиссия, — нашлось бы, думаю, в Ленинграде достаточно сушильных установок, чтобы в кратчайший срок «оздоровить» пострадавшие книги. Однако лишь 21 марта — почти через сорок дней после пожара! — решением исполкома Ленсовета была создана наконец хотя бы городская комиссия. А до этого рядовые сотрудники Библиотеки (директор в конце февраля лег в больницу, а его заместитель по научной части улетел в Швейцарию, хоть и позвало его

неотложное дело, но все же...), организовав добровольных помощников, вели титаническую борьбу за спасение книг.

Та же Наташа Беляева сама поехала (читатель Библиотеки — известный ученый, инвалид войны — был рад предоставить ей свою машину) к директору городского холодильника № 4—5 и получила две камеры для временной консервации книг и газет. Но она увидела в этих камерах огромных крыс... А через день на камерах были сбиты замки... Какое, вы думаете, было вчерашней школьнице и борьбу с крысами организовывать, и новые замки изыскивать? Она взялась и за доставку книг в холодильник. Мешки с книгами укладывали в машину добровольные помощники. Но однажды дежурные «грузчики» запоздали, а напротив главного входа в Библиотеку — на торце здания Двенадцати коллегий — готовилось открытие мемориальной доски. Наташа не знала, на открытие чьей доски и студентов собрали, и приехало телевидение, — просто подошла к ребятам, попросила помочь ей. Дважды просить не пришлось, однако университетский преподаватель, заправивший церемонией, вернул студентов: «Какие книги? Я студентов с лекций снял!». На следующий день Наташа приостановилась около этой мемориальной доски и прочитала: «Великий русский натуралист и мыслитель Владимир Иванович Вернадский учился и работал в Петербургском университете в 1881—1897 годах». Знал бы Владимир Иванович, который в 1928 году в связи со 100-летием избрания Бэра академиком возглавлял юбилейную комиссию, что он «не позволит» однажды спасти наследие Бэра...

А теперь — о злополучной куче, которая образовалась в библиотечном дворе из вышвырнутых на снег во время пожара более или менее обгоревших, а порой и почти совсем не обгоревших газет и книг. Через десять дней после пожара на партийно-профсоюзном собрании в Библиотеке рабочий Валерий Черкашин сказал, что его послали во двор загружать самосвал пеплом, а в этой огромной обледеневшей куче полным-полно цельных книг и газетных подшивок, но три контейнера уже загружены и вывезены за город — на Новоселовскую свалку...

И лишь в этот день очередной контейнер не был наполнен «пеплом». Рано утром во двор проникла группа неформального объединения «Эра» («Экология рядовой архитектуры») — «боевики», уже ложившиеся под бульдозеры у «Англетера»...

Лидер группы Катя Колесова (работает на заводе уборщицей) мне рассказала:

— В три часа ночи мне позвонил Сергей Васильев из «Спасения» и сказал про книги — что их на свалку вывозят. Нас собралось восемь человек. Двор еще был заперт, когда мы приехали к Библиотеке. Стоим. Ждем. У ребят длинные волосы — выглядят подозрительно. Какой-то библиотечный хозяйственник: «Что вы тут делаете?». Отвечаем: «Пришли на субботник...» А когда подъехал небольшой экскаватор, мы сказали водителю: смотри, мол, потом на тебя все свалят... Тот усмехнулся: «Не надо мне пудрить мозги». А хозяйственник закричал: «Что вы ему говорите! Я милицию вызову!». И тут открыли ворота, мы проскочили во двор и встали под ковш. «Отходи!» — кричит этот «библиотечкарь». Но мы стоим. «Грузи!» — кричит он экскаваторщику. А тот подождет минуту и выключил мотор. Красивый парень такой — усы, ковбойская шляпа. Стоит с неспрогнозируемым лицом около своей машины. И вдруг спрашивает меня: «Думаешь, «сталинские» газеты подожгли нарочно?». Ему велели вывезти со двора уголь, но, возвратившись, он сказал, что будет теперь помогать нам. Многие библиотечные работники уже приняли нашу сторону и принесли нам рукавицы, ящики для книг. А экскаваторщик не сказал даже, как его зовут. Сказал только, что «афганец» он...

Валерий Черкашин после собрания стал главным на куче. И за месяц удалось раскопать двести берзовских книг, у которых пострадали разве что обложки, а все страницы — от первой до последней — сохранились, и две тысячи газетных подшивок. Какую бесценную информацию продолжает хранить, например, «Бюллетень Коммунистического Интернационала» за 1921 год, даже если угол подшивки слегка обгорел!.. Да и многие обожженные книги — а их набралось на куче до пятидесяти ящиков — будут ждать реставраторов...

Не только неформалы из «Эры» или «Спасения» приходили каждый день помогать Черкашину. Я познакомился с «блокадницей» Валентиной Казимировной Наумовой, у которой хватило сил выбрать из кучи две старые книги на немецком языке. А в блокаду она — спортсменка, стре-

лок — состояла в отряде, который готовили на случай, если фашисты войдут в город, к уличным боям. Рассказывала мне, как пожары гасила, как откапывала засыпанные бомбоубежища. Бомбы и снаряды попадали и в здание академической Библиотеки. Но даже в первую — самую страшную — зиму, которую не пережили пятьдесят библиотекарей, ни одна книга не сгорела, и продолжали работать (без громогласных объявлений) читальные залы...

На третий день моих хождений по следам пожара я позвонил Евгению Артемьевичу Щекотихину, заместителю председателя наконец-то созданной городской комиссии, но, помня крепким словом моих коллег, которые, по его словам, ведут себя беззастенчиво и пишут о пожаре не то, что надо, он не захотел со мной разговаривать, пока не увидит моего удостоверения. Но поздно вечером администратор гостиницы передал мне записку от Щекотихина с просьбой позвонить ему домой. Мы долго говорили. Я узнал, какие серьезные меры наметает комиссия по борьбе с плесневым грибом. Но мы не нашли взаимопонимания, когда я спросил, ждет ли благодарность рабочего Валерия Черкашина.

Щекотихин заговорил о школьниках и студентах, которые приходили во двор к Черкашину и, выкапывая старые газеты, принимались читать их — не рапорты героев первых пятилеток читали, а выискивали — подумайте только! — заметки Бухарина, Каменева, Троцкого... И я понял, что опасения Черкашина за судьбу «крамольных» газет, которые он возил сушить и на исторический факультет университета, и в Горный институт, более чем основательны.

Я побывал и на Новоселовской свалке. Видел, где погребены — уже под основательным слоем зловонных отбросов — те три контейнера «пепла», и узнал, что некий парень, промышляющий на свалке, набрал здесь в конце февраля целый рюкзак старых книг. Остается надеяться, что тот ценитель антиквариата, который приобрел книги из этого рюкзака, сочтет своим долгом подарить их академической Библиотеке...

Вечер тридцатого марта я провел с ребятами из группы «Эра», которые встали под ковш экскаватора на библиотечном дворе, и понятия не имел, что в это время по Ленинградскому телевидению идет обсуждение в Выборгском райкоме КПСС письма Нины Андреевой, опубликованного «Советской Россией». Эта передача заранее не планировалась. Двадцать девятого вечером телевидение, мобилизовав в спешном порядке все свои возможности, отсняло обсуждение в Выборгском райкоме и спустя сутки выдало его в эфир. Титр на телеэкране гласил: «Навстречу XIX партконференции».

Наутро весь Ленинград (единомышленников Андреевой и смиренных обывателей в расчет не беру) обсуждал встревоженно: как расценить этот телепарад сталинистов и бывлой челяди Романова? И, как вы догадываетесь, не последний российский император имелся в виду, а недавний «хозяин» города... Мне рассказали, что досталось и «Юности» — нашла дама, которую чрезвычайно огорчило, что в нашем мартовском номере Владимир Амлинский назвал нравственной деформацией, дух которой не изжит и сегодня, романтизацию доноса в сталинские времена. Но когда я заметил, что эту даму остается лишь пожалеть, то услышал в ответ: «Тебе что? Завтра возвратишься в Москву».

«Откровения» химика Андреевой, как мы знаем, поспешил перепечатать целый ряд местных газет. Но я знаю, например, что еженедельник «Ленинградский рабочий», которому первоначально, еще в январе, Андреева вручила свою пухлую рукопись, не ухватился за нее...

Ленинградские газеты, заметим, не перепечатали «Советскую Россию», но и не спешили дать высказаться своим читателям, которые полемизировали с Андреевой, пока — спустя три недели — в «Правде» не появилась известная редакционная статья... Но разве лишь в Ленинграде так обстояло дело? Однако лишь в Ленинграде к попытке вновь оболванить и обезличить каждого из нас активно подключилось и телевидение.

А знаете, как сам Сталин оценил однажды, на что способно телевидение? С. В. Новаковский, в прошлом главный инженер Московского телецентра, рассказывал мне, как в 1949 году для московских радиозрителей (телевидение в ту пору пребывало в ведении Радиокomiteта, для руководства которого слово «телезритель» не звучало) готовилась первая внестудийная передача. И начать решили с показа первомайского парада на Красной площади. Свою громоздкую тогдашнюю технику телевизионщики установили под крышей нынешнего ГУМа, а на крышу вывели антенну, но в ночь под

Первое мая им приказали немедленно очистить помещение. Новаковский вспоминал, как Пузин, руководитель Радиокomiteта, взволнованно объяснял ему, что Сталин не захотел, чтобы целое утро за ним бесконтрольно «подсматривала» телекамера и чтобы все увидели, какой он старый уже... И пришлось первомайский парад заменить футбольным матчем на стадионе «Динамо» — так в то лето москвичи впервые увидели на своих крохотных телеэкранах футбол...

Но возвратимся в сегодняшний Ленинград. Лишь через десять дней после редакционной статьи в «Правде» Ленинградское телевидение показало, как оценивают позицию Андреевой и ее сторонников неформалы из «Перестройки». Поучительный урок на тему неотделимости социализма и нравственности дал клуб «Перестройка» функционерам из Выборгского райкома. Но история этой — второй — передачи не менее поучительна.

31 марта, на следующий день после передачи из Выборгского райкома, редактор главной редакции информации и пропаганды Сергей Сергеевич Дегтярев сказал своим коллегам, что считает эту передачу постыдной, что процесс перестройки, гласности вызвал открытую консолидацию сил сопротивления.

Пятое апреля не наступило, а коммунист Дегтярев, дав заявку на теледискуссию, взывал к руководству Ленинградского телевидения: «надо заметить, что сама Н. Андреева свою личную точку зрения на послеапрельские события в стране весьма вольно превращает в собирательное «мы — ленинградцы». Эту минувших времен претензию — мнение определенных кругов и инстанций выдавать за мнение всех, а значит, и за конечное мнение — поддержать сегодня никак нельзя. Апрель все-таки состоялся. Но в нашем городе состоялись и тщательно подготовленные обсуждения письма Н. Андреевой. В частности, последнее — в Выборгском райкоме КПСС. Наше телевидение в сверхоперативном режиме обеспечило «публикацию» этого обсуждения, поддерживая иллюзию «единства ленинградской общественности» в идеологической оценке заявленных Н. Андреевой принципов. Однако реальное общественное мнение по сути письма в «Советской России» далеко не однозначно и требует более полного демократического представительства при обсуждениях».

Дегтярев успел обзвонить и получить согласие на участие в предполагаемой дискуссии писателей Д. А. Гранина и Ю. А. Андреева, журналистов И. О. Фоякова («Литературная газета»), А. С. Ежелева («Известия») и В. Е. Костиенко («Ленинградский рабочий»), рабочих А. Н. Алексеева и Л. В. Кулешова, актера О. В. Басилашвили, ученых М. Е. Салье и Э. В. Соколова, представителей ленинградского клуба читателей «Советской России» и межпрофессионального клуба «Перестройка». Академику Д. С. Лихачеву Дегтярев дозвониться не успел, но не сомневался, что он также примет участие в этой передаче, на которую намечалось пригласить, естественно, и Н. А. Андрееву.

Дегтяреву возвратили эту заявку на доработку. Он попытался смягчить тон, убрал, например, оценку «сил сопротивления», но и это не помогло — третьего апреля ему окончательно сказали, что нет необходимости в такой передаче. Тогда он вовлек в борьбу за передачу клуб «Перестройка», а тут и пятое апреля наступило.

Старший преподаватель Ленинградского инженерно-технического института Виктор Монахов, один из лидеров «Перестройки», рассказал мне, что к ним в клуб на теледискуссию «Куда дальше? Уроки обсуждения письма Нины Андреевой» была приглашена и сама Андреева, но она сослалась на то, что в этот вечер встречается как куратор со своей студенческой группой... Передача по заявке Дегтярева была показана 15-го апреля — началась в 17 час. 40 мин., а завершилась в 19 часов. А предыдущая передача, из Выборгского райкома, шла с 19 час. 30 мин. до 21 часа, когда Ленинградскую программу смотрит уже и Москва!

Юрий Карякин пишет в «Огоньке», что, по его убеждению, еще будет воссоздана («день за днем, во всех драматических и комических подробностях») хроника событий между 13 марта и 5 апреля, когда никому неведомый химик обернулся вдруг авторитетным идеологом («Не стоит ли за ним какая-то алхимия?»). Как раз ради этого — по горячим следам — я и наведывался в Ленинград.

Побывал и в Технологическом институте, где преподает химию Н. А. Андреева. 21 апреля в институтской многотиражке «Технолог» появился, наконец, разворот, озаглавленный, как и редакционная статья «Правды»: «Принципы перестройки: революционность мышления и действий». Но

в этой подборке откликов я бы выделил оценки студента-первокурсника Михаила Воронкова, ибо он принес в редакцию свою «Гласность «до востребования» еще до пятого апреля — до статьи в «Правде»...

«Уверен, что большинство студентов Технологки,— пишет Миша Воронков о публикации в Москве преподавателя своего института Андреевой,— даже не слышали об этой статье!! И дело не только в том, что статью невозможно было достать даже в нашей библиотеке, что гласность у нас существует как право «до востребования», но и в том, что ни партийная, ни комсомольская организации института не решились ввести студентов в курс дела».

А вот что пишет студент Воронков о самом первом в Ленинграде обсуждении письма Андреевой, которое было организовано Ленинским райкомом партии:

«Сидящие ближе к президиуму в мягких креслах практически встали на позицию Андреевой и уверенно защищали и даже «углубляли» эту статью. В основном их выступления можно разделить на три основные группы. Во-первых, очень многие говорили о заслугах Сталина, смягчая и уменьшая его преступления, используя универсальный аргумент: «Какой страна была в 20-х и какой стала в 37-м!»,— или же ссылаясь на Черчилля: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с водородной бомбой».

Во-вторых, резкая критика писателей, которые идут действительно в авангарде литературы 80-х,— Шатрова и Рыбакова, привешивание к ним ярлыков типа «конъюнктурщики». И, в-третьих, всевозможные вздохи по поводу того, что наша молодежь, т. е. мы, пропиталась духом нигилизма, излишне «политизирована». Лично у меня с последними выступлениями ассоциировалась одна прекрасная фраза из фильма «Курьер». Помните, когда одна из пожилых героинь высказывается про молодежь: «Я очень хорошо знаю нашу молодежь, я каждый день смотрю телевизор...» — очень верное наблюдение».

На это обсуждение, в котором участвовала и сама Андреева, прошли, хотя и не без труда, представители клуба «Перестройка» и записали все выступления на магнитофон. Я прослушал пленку.

Сходкой холопов, которых страшит, что они не найдут себе места в новой — вольной — жизни и которые с яростью кляли «растлителей-волюндумцев», смеющих называть их недавнего барина жестоким крепостником, представилось мне это собрание. Особенно доставалось сегодняшним газетам, журналам и даже телевидению — как смеют, дескать, сплошь чернить славную нашу историю? — от самой Андреевой. Войдя в роль новоявленного трибуна, заурядный преподаватель химии поведдал собравшимся, что была непримиримым борцом и в период застоя и даже пострадала за это — ее исключали из партии. Что ж, во времена Романова в Ленинграде действительно могли исключить из партии подлинного поборника правды и справедливости — такова история рабочего-социолога А. Н. Алексеева. Но что касается Андреевой, то в партбюро Технологического института меня познакомили с десятилетней давности актами криминалистической экспертизы, которые не позволили Андреевой отрицать, что она фабриковала анонимные письма и рассылала их в различные инстанции... И теперь, когда Андреева — уже в открытую и в масштабах страны — вновь взялась выявлять врагов, ее мужу, заведующему кафедрой философии Технологического института В. И. Клушину в кабинете ректора в присутствии секретаря партбюро и его заместителя был задан (задан, к сожалению, лишь после пятого апреля) вопрос, как он оценивает публикацию своей жены, а в ответ было дано понять, что публикация эта была кем-то одобрена наверху. Лет десять назад такой ответ пресек бы дальнейшие вопросы, но сегодня даже ссылки на высокого покровителя — мнимого или подлинного — не освобождают от личной ответственности.

А Миша Воронков хотел выступить на том обсуждении, тянул руку, но ему не передали микрофон — от имени молодежи было запланировано лишь выступление десятиклассницы 304-й школы Веры Левченко. Она говорила, молодежь считает, что статья Андреевой нужна, что пресса только чернит личность Сталина, а на чем же в таком случае воспитывать молодое поколение? Мишу особенно задело, что десятиклассница говорила не от своего имени, а как бы от имени всей молодежи. Публично ответить ей ему не удалось, и тогда он решил познакомиться с Верой, понять, что ею руководило.

В 304-й школе его встретили настороженно. И заместитель директора, и сам директор сделали все возможное, чтобы не

допустить студента из Технологки в комитет комсомола, но он не ушел из школы, пока не узнал домашний телефон Веры.

Она не удивилась его звонку — пошутила даже, что предвидела подобный интерес к своей личности. Вечером они встретились и часа полтора прогуливались, выясняли взгляды на жизнь. У Миши осталось впечатление, что Вера умна, начитанна, стремится быть в центре внимания и привлекла беспрекословно слушаться старших, от которых зависит ее судьба. Она призналась в конце концов, что заместитель директора школы, выполняя пожелание Ленинского райкома комсомола, сняла ее с уроков и послала в райком, где ей дали прочитать ксерокопию письма Андреевой в «Советской России» и предложили выступить от молодежи. И она согласилась, хотя и не сразу, и говорила только о Сталине, который, по ее мнению, действительно олицетворял порядок. А на вопрос, как она решила говорить от «мы», Вера так и не ответила, умело перевела разговор на другую тему и была довольна, уличив Мишу в недостаточном знании творчества Сальвадора Дали.

А знаете, где побывал Миша на следующий день? В Ленинском райкоме комсомола. Второй секретарь, который звонил в 304-ю школу, там уже не работал. Но Миша, представившись нештатным корреспондентом многотиражки «Технолог» (что соответствует, заметим, действительности), не отступился. И в конце концов получил сбивчивое объяснение, что Вера, очевидно, пришла в райком просто так, но прочитала ксерокопию статьи в «Советской России», заинтересовалась и захотела выступить...

На следующий день в институте, в комитете комсомола, Мишу спрашивали: «Звонили из райкома. Что ты там натворил?»

Миша Воронков писал в «Технологе», что такие статьи, призывающие, как в известные годы, всюду искать врагов, будут появляться и впредь, если, как и на этот раз (упрек адресован им прежде всего своему поколению), многие будут молчать.

В клубе «Перестройка» кто-то высказал мысль, что если бы не было статьи Андреевой, ее следовало бы придумать. А действительно, после этой статьи все вчерашние люди — и те безликие, которым, увы, уже не дано обрести чувство собственного достоинства, и те циники с запятанной совестью, которые и не мыслят о покаянии, — мгновенно расконспиривались и стали дружно выкрикивать свой «перестроечный» лозунг: «Наше будущее — в нашем прошлом!» Словом, в ожидании партийной конференции статья Андреевой помогла выявить «пятую колонну» в наших рядах.

Но давайте представим, что ответная статья в «Правде» задержалась бы, а корреспонденты «Советской России», которые прибыли в Ленинград на обсуждение письма Андреевой в Ленинском райкоме, успели бы подготовить там полосу откликов? Удалось бы тогда, как вы думаете, нашим коллегам из белорусской молодежной газеты «Знамя юности», о принципиальной позиции которых рассказали «Московские новости», по-прежнему удерживать своего редактора от этой постыдной перепечатки «Советской России»? Заметим, что даже редакционная статья «Правды» не сразу образумила вчерашних людей (с их тонким-то нюхом на конъюнктуру). И в ленинградском партийном журнале «Диалог», подписанном в печать уже 8 апреля, были обнародованы рассуждения доцента Ленинградского университета М. Попова, спешившего «углубить» Андрееву, призывавшего поднять «знамя диктатуры пролетариата» ради торжества настоящей социалистической демократии?! (Бедный Попов рассчитывал на пьедестал вскарабкаться, а попал в конечном счете в фельетон.)

И давайте признаемся себе, что сегодня, когда мы уже начали забывать о злосчастной публикации в «Советской России», стоит крикнуть в любой винной очереди: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина!» — многие ли откажутся? Помнится, еще недавно, когда на телеэкране Гришин оживленно «беседовал» с Черненко и был восстановлен в партии Молотов, «Песняры» срывали аплодисменты, предлагая москвичам выпить за Сталина — благо, что и проблем в ту пору с выпивкой не было. Так что, сами знаете, вчерашним людям есть на кого опереться и карта их будет окончательно бита лишь в том случае, если каждый из нас, оказавшись паче чаяния вдруг в меньшинстве (ситуация и Дегтярева и Воронкова), не спасует.

Владимир
ЛИТОВСКИЙ

ГЛОТОК РОДНИКОВОЙ ВОДЫ НА ТОМСКОЙ СЦЕНЕ



На снимках в сценах
из спектакля (слева направо):
С. Хрупин (Сталин)
и Л. Усов (Зиновьев).

А. Голкачев (Троцкий),
А. Дмитриенко (Каменев),
А. Колемасов (Бухарин),
С. Хрупин (Сталин),
Г. Голубецкий (Ленин),
В. Оствальд (Дзержинский).

Фото В. Русского

Перед отлетом из Москвы в Томск во мне боролись два начала. В местном ТЮЗе впервые в стране поставили пьесу М. Шатрова «Дальше... Дальше... Дальше!». Сидящий в каждом из нас скептик нашептывал: «Ну и что? Разве в Москве дел мало? Только успевай пиши...» Оптимист отвечал: «Не скажите, в этом что-то есть. В Томске должна скрываться интрига!»

СКЕПТИК. Какая там может быть интрига? Боюсь, дежурный отклик на злобу дня. Пьеса ведь вызвала большой шум.

ОПТИМИСТ. Разведка донесла, что интерес к спектаклю велик, билеты раскуплены до конца сезона.

СКЕПТИК. ТЮЗ решил стричь купоны на историческом буме. Люди жаждут знать доподлинную правду, потому готовы простить массу недочетов и натяжек.

ОПТИМИСТ. Если все сводить к тому, что не по Сеньке шапка...

СКЕПТИК (разгорячась). Как может молодой рядовой актер, всю жизнь игравший во второстепенных пьесах, взяться за такую фигуру, как Сталин? И актеров в роли Ленина я повидал на периферии. Жалкое зрелище! Картавость, парик, стремительная поступь, а зритель зевает в зале или убегает в буфет.

ОПТИМИСТ. В любом случае от спектакля должны разойтись круги по воде.

СКЕПТИК (поучающе). Запомните — духовной ситуацией на периферии владеют градоначальники, а не молодежь.

ОПТИМИСТ. Послушайте, а как же быть с гласностью?

СКЕПТИК (с видом человека, услышавшего несусветную глупость). Ради бога, поприкусите язык в Томске! Больше слушайте, мотайте на ус.

ОПТИМИСТ (в отчаянии). Вы вконец меня запутали!

СКЕПТИК. Томск — это Томск... Скажу одно — воду пить из-под крана запрещается!

ОПТИМИСТ. ???

СКЕПТИК (монотонным голосом лектора). Содержание фенола в питьевой воде, чему виной большая химия Кузбасса, превышает все мыслимые и немыслимые нормы. Пейте сок!

ОПТИМИСТ. Что же пьют градоначальники?

СКЕПТИК (без тени сомнения). Я думаю, они нашли способ пить чистую воду...

Томск — город студенческий, где старейший в Сибири университет. Город удивительно разноплановый, застрявший на азах архитектурного дизайна. Двух-трехэтажные ветхие дома, сложенные из бревен, соседствуют со стандартными девятиэтажками. Тут же рядом — добротные, сработанные на века купеческие здания, занятые ныне под различные хозяйственные и культурные службы. ТЮЗ — перестроенный кинотеатр «Интимный», также воздвигнутый купечеством.

Утром 20 апреля, в день спектакля, я провел на проспекте Ленина социологический мини-опрос. Вопрос был один: как пройти к ТЮЗу? Первый неофит с прилипшей к губе «беломориной» недоуменно пожал плечами. Второй — рабочего вида паренек — поскреб в затылке и переспросил:

— Что это?

— Театр юного зрителя.

— Честное слово, не знаю.

Я вынужден был просветить его, что ТЮЗ находится рядом, в пяти минутах ходьбы, и, утешившись тем, что беседовал с далеко не передовой частью молодого поколения, поспешил в театр.

Главный режиссер театра, заслуженный артист РСФСР Олег Афанасьев рассказывает о себе: «Я пришел в ТЮЗ полтора года назад. До этого в качестве очередного режиссера поставил около сорока спектаклей. В начале шестидесятых окончил Щепкинку. Да, «шестидесятник». Коренной москвич, на волне общественного подъема тех лет уехал в Павлодар, стал актером местного театра. Там образовалась сильная труппа. Замечательное было время! Много ездили, давали концерты и спектакли для целинников. Здоровьем бог не обидел, мог играть и репетировать сутками. Потом горизонт стали затягивать тучи. Реформы закончились, не успев начаться... Пошли творческие паузы, губительные простои. Апрель 1985 года воспринял как сигнал к действию. Томск на театральной карте — город не из последних. Труппу ТЮЗа знал, они знали меня, долго присматриваться друг к другу не пришлось. Я знал, что в 1980 году ТЮЗ открывался спектаклем по пьесе Михаила Шатрова «Красные кони на синей траве». И когда в январском номере журнала «Знамя» прочел его «Дальше... Дальше... Дальше!», сразу решил — буду ставить. Работали поэтом, перерыли горы литературы. Устроили своеобразный исторический ликбез. Актеры удивлялись, удивлялись понине ресурсами, о которых я не подозревал. Премьера состоялась 15 марта. Интерес к спектаклю расцениваю как логическое продолжение интереса к нашей недавней истории. Главным направлением в работе считаю ломку стереотипа в отношении к ТЮЗу. Хотел бы расширить рамки репертуара, выйти за пределы узкой юношеской направленности».

В программе сказано: театр перечитывает пьесу Михаила Шатрова. Жанр потребовал отказа от портретного грима и прочих натуралистических подробностей. Все последние вещи Шатрова дают такую возможность, почему бы ею не воспользоваться? Я увидел среди зрителей немало молодых лиц и не преминул заговорить с молодой парой, студентами третьего курса истфака.

— Чего вы ждете от спектакля?

ОНА. Правды. Исторической и художественной.

— И на чьей стороне ваши симпатии?

ОН. Только не на стороне историков!

— Не бойтесь за честь мундира?

ОНА. Шатров действует намного смелее.

— У вас в роду были репрессированные?

ОН. Чаша сия нас миновала.

— Ваше отношение к Сталину?

ОН. Маньяк, что с него взять!

— Вы довольны уровнем преподавания истории в университете?

ОНА. Нет, перестройкой у нас и не пахнет. Есть, правда, профессор Плотникова. Неординарная фигура.

И завлит ТЮЗа И. Травина говорила мне: «Большую помощь в работе над спектаклем оказала профессор М. Е. Плотникова, крупнейший в сибирском регионе специалист по сталинской эпохе».

На сцене — лишь ряды трансформирующихся стульев, черный задник. Настороженно притихший зал вслушивается в самоаттестацию героев. Как они непривычны — Деникин, вполне интеллигентного вида господин, и Троцкий, лишенный эффектных революционных поз и прочей дурной театральщины. В Керенском нет ни грана от кокотки и плакальщицы, чувствуется ум, страсть и даже английский шарм. По залу проходит тихое гудение, когда на фоне черного задника, почти сливаясь с ним, появляется Сталин с начальной репликой: «Представляться мне не надо». На актере С. Хрущине цивильный костюм, черный свитер. Набившей оскомину трубки нет и в помине. Ясно, что театр читает пьесу, напрямую апеллируя к залу. Ясно, что пьеса подверглась основательным купюрам. Пожертвовали рядом действующих лиц — Свердловым, Даном, генералом Марковым... Ленин (Г. Голубецкий) выведен как человек, положивший жизнь на переубеждение неправого большинства. Напор ленинской мысли захватывает зал.

СКЕПТИК. Опять Ленина рассматриваете, как икону. Грешите упрощениями! И театр ими грешит. А опустившийся на колени перед Сталиным Зиновьев — поверхностный режиссерский ход.

ОПТИМИСТ. Театр доказывает этой мизансценой, что вся страна была поставлена на колени. И призывает нас — хватит оставаться политическими недорослями.

СКЕПТИК. Сколько мы их слышали, этих призывов!

ОПТИМИСТ. Таких призывов мы еще не слышали, особенно со сцены...

Диалог в антракте. Майор войск связи. В Томске — проезд. Преподает в одном из высших военных училищ.

— Вы разделяете точку зрения Шатрова на Сталина?

— Ощущение двойственное. Все сделано под документ, но где гарантии, что он не высосал это из пальца? А актер в роли Сталина хорош. Убедителен.

— Разве не вправе художник выдвинуть свою версию событий?

— Вправе-то вправе, но Шатров ведь не Лев Толстой...

Было ясно одно — спектакль задел его за живое.

Во втором акте выходит Бухарин (А. Колемасов). Тонкий, с мальчишески ломкой пластикой, чем-то похожий на романтического гимназиста, Бухарин противостоит Сталину с яростью обреченного. Перед нами — последний идеалист в сталинском окружении. Я увидел на сцене и Олега Афанасьева. Сильное впечатление оставляет дуэль его Орджоникидзе со Сталиным. В Орджоникидзе с первой реплики угадывается запредельная решимость поставить все точки над «i». Но бурный поток слов и проклятий падает в пустоту, маховик репрессий запущен на полную мощь...

К рампе выходит Ленин. Последние минуты спектакля. За спиной Ленина — Сталин, остро всматривающийся в зал.

СТАЛИН. Я хотел бы поговорить с вами, объясниться.

ЛЕНИН (жестко). Нам не о чем говорить с вами. (Залу). Надо идти дальше... дальше... дальше!

Долгая звенящая тишина, зрители не спешат расходиться...

Будущие историки ждут меня — продолжаем разговор.

— Что задело вас более всего в спектакле?

ОНА. Одиночество Ленина.

ОН. Я — рационалист, меня привлекло обилие исторического материала. Исполнение роли Сталина — лучшая актерская работа в спектакле. Местами Сталин просто устрашающ...

— В чем, по-вашему, суть сталинизма?

ОНА. В слепом следовании догмам.

— Спектакль дает энергию к поступку?

ОНА. Безусловно. Этот спектакль — единственная примета перестройки в Томске.

— Вы решили после спектакля что-то изменить в своей жизни? Я не отождествляю театр с жизнью, но все-таки? Например, поставить вопрос в университете о допуске в спецхран?

ОН. Пробовать прошибить стену лбом? Едва ли... Мы можем только посоветовать сокурсникам посмотреть этот спектакль.

— Надеемся, перестройка свершится без вас?

ОНА. Мы разочарены. Дон-Кихотов единицы.

ОН. Я скажу вам, только не поминайте наши фамилии. В университете все еще царит дух казармы. В прошлом году на первомайской демонстрации студенты подняли у трибуны лозунг: «Карьеристов — вон из партии!» Через десять шагов лозунг отобрали, потом такое началось... Расценили как бунт. При таком давлении трудно рассчитывать на изменения к лучшему. Я могу встать, что-то заявить, а на сессии в отместку подловят — и прощай, стипендия. Какое-то потепление в атмосфере есть, но не более. Администрация стала чуть лояльней, но узда всегда наготове.

Я перестала упорствовать, и мы прощаемся. Хорошие, чистые лица, а в глазах — смятение. Прекрасно понимают, что надо поднять голос именно сейчас, иначе будет поздно, но...

СКЕПТИК. Мы склонны преувеличивать роль искусства. Вы им про идеалы Октября — а для них важнее стипендия! Вы беседовали с потерянными для перестройки поколениями.

Слово — вновь Олегу Афанасьеву: «Я ставил спектакль не ради сомнительной пальмы первенства. Рекорды спорта неприменимы к искусству. Хотелось пробудить город от спячки, запалить бикфордов шнур. Сегодня, после четырнадцатого по счету спектакля, я убежден, что ни одна другая пьеса не возбудила бы так сильно гражданственный дух труппы. Для меня на данном общественном отрезке гораздо важнее не Сталин, а Ленин. Я — за скорейший возврат к ленинским нормам и принципам, а не за топтание вокруг Сталина. Пьеса о тех, кто стоит на капитанском мостике. Она обращена и к тем, кто стоит на нем сегодня.

Диалог с исполнителем роли Сталина С. Хрупиным. Артисту 33 года, стаж работы в ТЮЗе — семь лет.

— Что послужило основанием для назначения вас на эту роль?

— Я всегда играл злодеев. Таков типаж (улыбается совсем незлодейской улыбкой). Поначалу испугался, долго отказывался. Сами понимаете, такой масштаб очень сложно осилить. В сознании блуждал кинотрафарет — усы, державная осанность, акцент. Примерялся к нему со всех сторон, хотя с самого начала решили с постановщиком — монстра не лепить.

— Есть претензии к тексту, вложенному драматургом в уста Сталина?

— В этом была сложность для всех актеров. Речь однотипна у всех персонажей, ни у кого нет присущей только ему словесной изюминки.

— От чего вы шли в постижении образа?

— Искал доброго там, где он злой. Исходная посылка — поверить в то, что он прав. И только потом — разоблачать.

— Кем для Сталина является в вашем понимании Ленин?

— Соперником. Сталин уже тогда, в начале 20-х годов, примерял мундир генералиссимуса. Он превосходно усвоил уроки «Государя» Макиавелли.

— Что значит для вас и для труппы эта постановка?

— Мы поверили в свои силы. Спектакль — четкое выражение нашей позиции сегодня. Гражданский акт, который нужен Томску.

СКЕПТИК. Местная пресса до сих пор молчит о спектакле. Первая в стране постановка — и тишина... Я думаю,

консервативные верхи не прочь бы прикрыть спектакль. Звучал же вопрос: «Кто вас инспирировал из Москвы?»

ОПТИМИСТ. Вполне возможно, так бы и произошло, будь они чуть поувереннее в своих силах. Но момент упущен, время работает на Афанасьева.

СКЕПТИК (прибегнув к последнему аргументу). Но ведь люди уходят из зала! Значит, где-то недотянули, не убедили до конца.

ОПТИМИСТ. Уходят единицы. И с «Диктатуры совести» в Ленком уходят. Но разве это говорит о слабости спектакля?

СКЕПТИК. Согласитесь хотя бы, что насчет питьевой воды я попал в точку.

Что верно, то верно... Тут скептик положил оптимиста на обе лопатки. Потребление воды за время командировки я сократил до минимума. Жители города в подавляющем большинстве добывают воду из родников и артезианских скважин. Но кто поручится, что и в родниковой воде нет доли фенола? На этикетках бутылок с газированной водой даже ставят успокаивающую надпись: «Вода из артезианских скважин». По Томску ходит неумирающая фраза одного из градоначальников: «Фенол — в норме!» Как может быть в норме опасный для здоровья яд?! В Кемсрове продолжают отравлять Томь выбросами, а Томск пожинает плоды цивилизации. По злой иронии судьбы, между городами ширится социалистическое соревнование. Может так случиться, что в этом соревновании победителей не будет...

22 апреля, в день рождения Ленина, спектакль прошел на одном дыхании. Но, два отзвучали аплодисменты, какой-то молодой человек вручил цветы Хрупину, что можно было считать сталинистской выходкой, хотя сам Хрупин был иного мнения...

Перед началом обсуждения цветы вручили и Афанасьеву, составив таким образом справедливость. А вот два высказанных мнения:

«Мой отец строил Магнитку. Во время войны шел в бой за Сталина. Чудом остался жив. Сталин был для него символом Родины. Жаль, что отец сейчас не со мной. Уверен, посмотрев этот спектакль, он бы многое пересмотрел в жизни и, может быть, проклял бы Сталина на склоне лет. Одно дело, когда читаешь о его преступлениях в газетах, а когда видишь его на сцене живьем, правда театра действует сильнее всяких слов».

«Я рабочий. Постановка берет за душу. Сколько потоков вранья, фарисейства выливали на наши головы «верные ленинцы». Жили как в тумане. Штурмовщина, водка, сквернословие... И вдруг — Ленин, какого я не знал раньше. О Сталине мы уже знаем немало, а вот Ленина только сегодня стали открывать».

На самой высокой точке обсуждения вдруг прозвучал вопрос: «Ходят слухи, что спектакль закроют! Это правда?» Все зашумели — на дворе, дескать, не те времена...

СКЕПТИК. Что скажете?

ОПТИМИСТ. До встречи на следующей премьере!

Игорь
КОХАНОВСКИЙ

СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ



Когда 1 сентября 1952 года я вошел в свой класс 8-й «В», то увидел много «новеньких», вернее, тех, кто раньше учился в нашей школе, но в других, параллельных, 7-х классах. Тогда многие после «семилетки» поступали в техникумы, и в результате реформирования в нашем 8-м «В» среди «новеньких» появился Володя Высоцкий.

То ли потому, что мы с ним действительно чем-то внешне похожи, или по какой-то другой, необъяснимой причине, но мы сразу же сели за одну парту. Так началась наша дружба.

До сих пор меня не оставляет чувство горечи. Как же рано он умер... Как жаль, что при жизни он не познал даже намека на то официальное признание, которое пришло сегодня (хотя и при жизни его популярность и слава не имели аналогов, но ему до жути хотелось «газетно-телевизионного» тому подтверждения). Как жаль, что многое понимается и трактуется сегодня не так, как было на самом деле... «Нет, ребята, все не так, все не так, как надо», — невольно вспоминается иногда строчка одной из лучших его песен. Все появившиеся за последнее время (кроме воспоминаний Марины Влади) многочисленные публикации о Володе Высоцком грешат в лучшем случае полуправдой, идеализируют и искажая его неровный, довольно противоречивый и не всегда симпатичный характер. Оброненная как бы в шутку фраза Марины Влади в телефильме Н. Крымовой и А. Торстенсена, тоже, кстати, страдающем неточностями, о том, что Володя был и таким, как один из героев его песен — «врун, болтун и хохотун», смывает тот «хрестоматийный глянец», который наводят на него многие воспевающие. Особенно возмущает та личина трагичности, в которую столь упорно стараются его обрядить. Вздор все это! Главное в нем — Актер. Актер по своей природе и, как говорится, до мозга костей. Игра была его стихией, его истинной натурой. Именно с игры, или, как он любит говорить, «оригинальности ради, забавы для», началась его песенная стезя. Вначале как очередная затея, придуманная только для того, чтобы встречи «нашего круга», в который «не каждый попадал», были веселее и разнообразнее. Лишь много позже из игры выросло явление, о котором еще спорить и спорить. К сожалению, и в серьезных вещах Володя часто играл и даже заигрывался, что приводило его нередко к, казалось бы, безвыходным ситуациям. Но легкость, с которой он принимал очередные «жизненные катаклизмы», всякий раз выносила его, целехонького и невредимого, на берег «тихой гавани», что он считал само собой разумеющимся. Вообще же Володя был слишком сам в себе, несмотря на всю явную открытость, распахнутость и доступность — качества, которые зачастую были лишь своеобразным щитом для всего сокровенного, очень личного, а потому и свято оберегаемого. И надо было действительно, как говорится, пуд соли (и не один) съесть с ним вместе (а моя и его жизни 20 лет шли тесно бок о бок и только где-то с 1973 года стали расходиться в стороны), чтобы узнать его настоящего. Но речь не об этом. Сегодня я хочу рассказать о том, с чего все началось. Тем более, что именно начало обросло многими легендами, не имеющими ничего общего с тем, что было в действительности.

Литературой, и в частности поэзией, мы увлеклись в 10-м классе. Узнав от учительницы о существовании В. Хлебникова (помню, нас совершенно потрясла строчка: «Русь, ты вся — поцелуй на морозе»), И. Северянина, Н. Гумилева, мы стали ходить в читальный зал Библиотеки им. В. И. Ленина, брать книги этих писателей, что-то выписывать, заучивать. (Но вообще читальный зал Ленинки в те годы пользовался популярностью у старшеклассников Москвы еще и потому, что был своеобразным местом встреч и знакомств.)

Больше всего нас интересовали неожиданные образы, метафоры или сравнения. Так что, скажем, строчка «шампанского в лилию, в шампанское лилию» или «золото с кружев, с розоватых брабантских манжет» вызывали в нас и восторг, и удивление, и бесконечные, вероятно, очень наивные рассуждения. Помню поразившие нас пять строк И. Северянина:

В двадцать лет он так намуштрил:
проституток всех осестрил,
астры звездил, звезды астрил,
погребя перерестрил.
Оставалось только — выстрел.

Однажды Володя принес в школу тоненький сборничек Саши Черного, и нам так понравилось стихотворение «Обстановочка», что мы тут же накропали что-то, подражая его быговизмам и аллитерациям: «Я сжимаю тебя, обожая, жар желанья зажегся в груди...»

Потом как-то на несколько дней к нам попала книжечка стихов Н. Гумилева, из которой мы кое-что выучили, в частности «Капитанов» и «Рабочего», а когда Володя достал сборник рассказов И. Бабеля и книжка эта была у нас почти месяц, мы под очарованием одесских рассказов стали говорить «языком» Бени Крика и Фроима Грача, к месту и не к месту вставляя «потому что у вас на носу пенсне, а в душе осень», «пусть вас не волнует этих глупостей» и т. д. и т. п. Спусти много лет я понял, как много из всего прочитанного и заученного в то время отозвалось в песнях Володи. Гумилевский «изысканный жираф», к примеру, стал прототипом «героя» песни «В желтой жаркой Африке», а бабелевская строчка «чую с гибельным восторгом» полностью вошла в небольшой шедевр под названием «Кони привередливые». Но все это будет потом. Тогда же нам действительно «жизнь представлялась зеленым лугом, по которому бродят женщины и кони», а увлечение словесностью подталкивало на робкие попытки сочинить что-то самим. Сначала это были какие-то дурацкие эпиграммы друг на друга или на наших одноклассников. В день «последнего звонка» нам взбрело в голову написать что-то вроде «отчета» за десятилетку, написать о школьной жизни и обо всех наших учителях, и за четыре урока накатали шуточную поэму аж в двадцать онегинских строф.

Потом мы поступили в один институт — в МИСИ имени В. В. Куйбышева. Но Володя проучился в нем только первый семестр.

«Поворотным пунктом» в решении уйти из этого вуза стала новогодняя ночь 1956 года. Встречали мы наш самый любимый праздник весьма своеобразно: засели на кухни

у Володи на 1-й Мещанской, чтобы сделать чертежи и сдать их 2 января. В противном случае к экзамену по химии 3 января нас не допускали.

В 12 часов мы все же откупорили шампанское, наполнили бокалы, чокнулись, сказали «с Новым годом» и, едва пригубив, опять засели за чертежи.

Где-то к двум часам закончили чертить. Допили шампанское, выпили по чашечке кофе, закурили. И тут только я посмотрел на то, что вычертил Володя. Сдержан смех было просто невозможно. На последнем из восьми форматов, на которые был разделен чертежный лист, должны были быть образцы всех шрифтов, употребляемых в черчении. Идиома «как курица лапой», казалось, нашла еще одну графическую интерпретацию в исполнении Володи. Он тоже засмеялся, но как-то грустно, словно впервые увидел свое творение со стороны. Потом взял чашечку, из которой пил кофе, и стал медленно-медленно поливать свой чертеж остатками кофейной гущи.

— Ты что, спятил?

— Я больше в институт не пойду. Мне там неинтересно.

— Да ты с ума балдел? (Это было наше выражение.)

— Нет... Все. Буду готовиться, еще есть полгода, попробую поступить в театральный. А это — не мое...

25 января я приехал к Володе — был его день рождения, а я к тому же сдал свою первую сессию. Он болел — сильно простудил горло, был закутан в оренбургский платок и говорить старался тише. Мы вдруг вспомнили все, что произошло с нами за последнее время, и написали об этом песню — как сдавали выпускные экзамены, как готовились поступать в институт, как поступили, как сразу же через неделю учебы нас послали на картошку, как мы «помогали» колхозникам выполнить госплан, как Васёчек бросил институт (Васёчек — так мы называли друг друга, это было что-то вроде пароля или взаимной клички) и вот как он теперь заболел, а ему и говорить ни к чему, и как он болеет вместо того, чтобы готовиться к поступлению в школу-студию МХАТ. Песня была очень длинная (на мотив одной из песен популярной тогда радиопостановки «Поддубенские частушки» по рассказам С. Антонова) и почти забылась, но последний куплет был таким:

А копь во МХАТ не попадет,
раздавим поллитровочку,
Васёк в солдатики пойдет
носить ружье-винтовочку.

Песня была тут же исполнена нами под мой аккомпанемент на гитаре (Володя тогда еще только учился этому немудреному искусству) его соседям по квартире и даже вызвала смех.

Он поступил в школу-студию МХАТ, и так как там учатся только четыре года, то мы одновременно закончили каждый свой вуз. Володя был принят в театр имени А. С. Пушкина и тут же уехал в Ригу на летние гастроли. Через несколько дней он позвонил и спросил, не хочу ли я приехать. — можно прекрасно отдохнуть на Рижском взморье. Свободного времени у него навалом (всего три ввода в малюсенькие роли), так что будем купаться и загорать от души. Я согласился и через день выехал в Ригу.

Володя и еще несколько молодых актеров жили в гостинице «Метрополь», на первом этаже которой был очень уютный небольшой ресторан. Почти каждый вечер мы скромно ужинали там (денег у нас было в обрез), но засиживались часенъко допоздна, когда музыканты, уже собрав свои инструменты, освобождали сцену.

Однажды Володя попросил разрешения у метрдотеля «побренчать» на пианино, тем более что ресторан к тому часу был уже полупустой. Тот разрешил. Но прежде, чем рассказать, что произошло затем, небольшое отступление.

Нельзя сказать, что Володя «умел играть на пианино» в привычном понимании этих слов. Скорее «садился он за клавикуды и брал на них одни аккорды». Зачастую просто дурачился — пел какие-то смешные песни типа «Придешь домой, махнешь рукой, выйдешь замуж за Васю-диспетчера, мне ж бить китов у кромки льдов, рыбным жиром детей обеспечивать» или что-то Вертинского, которого мы оба очень любили, но опять-таки пел не всерьез, а как-то занятно переснявая его (помните эпизод из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Жеглов — Высоцкий поет «Где вы теперь, — кто вам целует пальцы?»). Когда он приходил ко мне домой, то сразу садился за пианино и начинал что-нибудь бренчать. А так как со второй половины пятидесятых мы буквально «заболели» джазом, который тогда преследовался за «буржуазность», то «бренчания»

Володи с некоторых пор стали не чем иным, как вольным переложением популярных джазовых песен. Любимым нашим певцом в то время был Луи Армстронг. И Володя стал петь «под Армстронга»... Он достиг таких вершин имитации, что начинало казаться, будто поэт знаменитый негритянский трубач. И это при том, что Володя абсолютно не знал английского языка, ни единого слова, кроме «ес» (в школе он учил французский). Но как он имитировал! Люди, знавшие язык, в первый момент терялись и не могли ничего понять: вроде бы человек поет по-английски, и в то же время невозможно уловить ни слова. И когда, наконец, до них доходило, в чем дело, смеялись до слез. Кстати, этот тренаж «под Армстронга», видимо, выработал в дальнейшем ту удивительную хрипотцу, что придавала неповторимую силу и красоту тембру его голоса.

Итак, метрдотель разрешил «побренчать», Володя поднялся на эстраду, сел за пианино, взял пробно несколько аккордов и запел («Кисс оф файз» («Огненный поцелуй»), один из шлягеров Армстронга. Люди за столиками сначала перестали «выпивать и закусывать», потом перестали разговаривать, а потом в ресторане наступила тишина, как в зале консерватории. Официанты застыли там, где их застало пение, сидевшие за столиками развернули свои стулья так, чтобы удобнее было слышать и видеть, мы, подыграв общей реакции, сидели молча, улыбаясь. Когда он закончил, ресторан разразился аплодисментами... Володя лишь на миг растерялся от такой «реакции зала», но тут же сделал жест, мол, «не надо оваций», и, улыбаясь нам, снова запел что-то «под Армстронга». А когда примерно через полчаса он встал и собрался спуститься со сцены к нам, эстраду окружило несколько человек, каждый кричал что-то свое, называл какие-то песни, имена каких-то певцов, короче, его «не отпускали»... Володя был явно польщен и согласился еще на «один номер». Потом повторилось то же самое, и кто-то из ресторанных завсегдатаев даже протягивал неуклюжий лоскут тогдашней сторублевки. Володя вежливо отвел руку с деньгами, сказал «на сегодня — все» и, наконец, оказался за нашим столиком.

В дальнейшем, когда Володя и наша компания только появлялись в дверях ресторана, официанты начинали бегать быстрее, напоминая кадры старой кинохроники, чтоб к тому моменту, когда начнется «концерт», работа уже не отвлекала от удовольствия слушать необычного певца.

Написав последнее слово, я вдруг поймал себя на мысли, что оно к Володе не имеет, пожалуй, прямого отношения. Он всегда исполнял, играл песни, а не просто пел. В то время, о котором пишу (да и позже, считай, до осени 1961 года), своих песен у него еще не было, и, казалось, ничего не предвещало их появления. На втором или третьем курсе, уже не помню точно, в школе-студии решили устроить «капустник». Как-то Володя забежал ко мне между репетициями (я жил на Неглинной, в 5—7 минутах ходьбы от Художественного театра, и мы виделись почти ежедневно) и говорит, что вот, мол, будет «капустник», он что-то хотел написать смешное, но ничего не выходит. Может, у меня получится? Я «попробовал» и через день написал ему куплеты Чарли Чаплина, которого Володя очень любил «показывать» и делал это удивительно смешно — походка, жесты, мимика, выражение глаз — все это игралось так, что и без усов и тросточки сходство было поразительным. Ну а в гриме и костюме (ему достали даже чаплинский котелок) этот номер в «капустнике» стал центральным. Тем более что тема куплетов была для студентов школы-студии МХАТ, что называется, «животрепещущей». Дело в том, что сниматься в кино им разрешали, если я не ошибаюсь, только на последнем, четвертом, курсе или начиная с третьего, точно не помню. А так как стипендия была мизерной, то зарабатывать отнюдь не лишние деньги (в молодости, по-моему, лишних денег вообще не бывает) да еще и попробовать свои актерские силы в кинематографе каждый студент был, понятно, не прочь. Но руководство студии считало, что кино может испортить еще не до конца «вылепленную» актерскую индивидуальность. Посему исполненные Володей куплеты приняли на «ура».

Я на экран столичный
с лицом фотогеничным
и в образе комичном
хотел попасть, друзья.
«Мосфильм» меня заметил
и гонорар наметил.
Директор же ответил:
— Куда? В «Мосфильм»? Нельзя!

Смотрел я фильмы «Сестры»
и «Огненные версты»,
в них неокинозвезды
проводят свой дебют.
А я бы дал экрану
второго Ив Монтана...
Но мне сказали: «Рано!»
Сниматься не дают.

М. Володина и Н. Веселовская, снявшиеся соответственно в «Огненных верстах» и в «Хождении по мукам», были двумя курсами старше Володи, но еще учились, и это придавало куплетам дополнительную узнаваемость и актуальность.

Итак, своих песен пока не было, но зато как исполнялись те, что мы пели тогда!.. Так как это было 30 (!) лет назад, то я приведу здесь хотя бы первые куплеты из некоторых песен, чтобы было яснее, про что они. Это поможет кое-что объяснить в дальнейшем. Вот что пелось: «Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела и в старом парке музыка играла, и было мне тогда еще совсем немного лет, но дел уже наделал я немало». «Стою я раз на стреме, держусь за карман, как вдруг ко мне подходит незнакомый мне гражданин». «Алеха жарил на баяне, гремел посудой шалман, в дыму табачном, как в тумане, плясал одесский шарлатан». «Здрасьте, мое почтение, вам от Васи нет спасения, я приехал вас развеселить. Зухтор малый я бывалый, расскажу я вам немало и прошу покорно «браво» бить». Эти песни — лишь малая толика нашего тогдашнего репертуара. Ну, и, конечно, пели Вертинского. Это на первый взгляд странное соседство «блатной» романтики и изысканно-элитарных тем аристократа «до ногтей» на самом деле прекрасно оттеняло и дополняло друг друга, так как в первой просто не могло быть того благоговейного и в то же время порой немного снисходительного отношения к женщине, которое у «бедного маэстро» чувствовалось чуть ли не в каждой песне и которое так импонировало нашему восприятию «прекрасного пола». Мы просто веселились, как веселятся в молодости, просто «валяли дурака», не придавая абсолютно никакого значения всем этим уркам, шалманам, стремам и прочим словечкам, от которых требовалось, чтобы они были пошлейшей да позаковыристей.

Двумя классами старше в нашей же школе учился Анатолий Утевский, или Толян, как мы его звали. Жил он в доме напротив школы, в котором жил и отец Володи. Так что не только по школе, но и по дому они знали друг друга. Толя был из тех, к кому в определенном возрасте всегда тянет как к старшим. Он принадлежал к московской «золотой молодежи» середины пятидесятых, бывшей для нас тогда недоступной и, казалось, загадочной. Естественно, мы пытались подражать представителю «молодого авангарда» хотя бы узкими брюками, прической «под Тарзана» и ботинками на толстой подошве. Ну, а когда мы прочли в одной из центральных газет фельетон «Плесень», «бичевавший» некоторых приятелей Толяна за «порочный» образ жизни (вся «порочность» которых заключалась в том, что они танцевали буги-вуги и многие вечера проводили в «Коктейль-холле» — ныне кафе «Московское» на улице Горького, называвшейся в молодежной среде тогда Бродвеем), он в наших глазах вообще превратился в легендарную личность. Увы, то были годы, когда ширина брюк и модная прическа отождествлялись с чуждым нам мировоззрением, а придерживавшихся подобного «стиля жизни» называли презрительно «стилягами».

Компанию нашу «возглавлял» давнишний друг Толи Утевского Лева Кочарян (он умер в 1970 году). Ко времени, когда мы с Володей окончили вузы, Толя, закончивший юридический, работал следователем, а Кочарян уже успел попробовать себя в качестве помощника режиссера в картине С. А. Герасимова «Тихий Дон». Короче, строчка из Володиной песни «в наш тесный круг не каждый попадал» имела невывдуманный адрес.

Душой компании как-то само собой стал Володя Высоцкий. Более веселого, остроумного балагура и рассказчика, скомороха, придумывающего вечно какую-то ерунду, чтоб только бы нам всем было не скучно, я в жизни не встречал. Откуда он брал и приносил нам все эти байки про Костика Капитанаки или про Марио дель Монако, уже не говоря о бесконечных анекдотах и каламбурах, никто никогда не мог понять. А чего стоил хотя бы его коронный этюд, когда он на улице разыгрывал «серьезного» сумасшедшего, разговаривающего с фонарным столбом. Притом «держал» публику до тех пор, пока вокруг него (мы стояли чуть в стороне,

как бы тоже зрители, чтоб не испортить «роль») не собралось человек 30—40 или пока какой-нибудь бдительный страж порядка не раздвигал толпу, чтобы «выяснить, в чем дело. Тогда Володя говорил нам «ну ладно, ребята, пошли», и все собравшиеся, поняв, что их дурачили, взрывались хохотом.

Да, мы были молоды, беззаботны и несуетливы. Последнее, видимо, стало причиной того, что эта пора жизни особенно четко сохранилась в памяти. Нам, только что окончившим вузы, просто некуда было спешить. Дни, недели и месяцы сменялись неторопливо, словно нехотя, а не летели как безумные, забывая, затмевая и вытесняя друг друга. Впрочем, может быть, так видится сегодня, издалека, из второй половины восьмидесятых годов... Взгляды героев Хемингуэя, которым мы зачитывались, исподволь становились нашими взглядами и определяли многое: и ощущение подлинного товарищества, выражавшееся в формуле «Отдай другу последнее, что имеешь, если это другу необходимо»; и отношение к случайным и неслучайным подругам, с подлинно рыцарским благоговением перед женщиной; и темы весьма темпераментных разговоров и споров; а главное — полное равнодушие к материальным благам бытия и тем более к упорочению и умножению того немногочисленного, что у нас было. Не могу сказать, что мы вели жизнь богемы, но какие-то черты ее, безусловно, просматривались.

С осени 1961 года Володя стал писать песни. В это время я на месяц примерно потерял его из вида, так как в очередной раз переходил с одной работы на другую, долго что-то не мог найти, тем более что свою «инженерную стезю» я тихо ненавидел. А когда мы встретились, он мне спел уже пять или шесть своих песен.

О появлении «на свет» первой, «Татуировки», рассказал мне много лет спустя Володя Акимов. Он с Высоцким поехал провожать на Курский вокзал Инну, жену Левы Кочаряна. Они посадили Инну в вагон, у Володи была с собой гитара, и он решил «на дорожку» спеть Инне одну песню, которую, как сказал, сам написал сегодня утром. Спел «Татуировку» и очень сокрушенно посетовал, что никто, кому он уже успел исполнить, не верит, что это написал он (Инна вроде бы сразу поверила).

Помню, когда в один из вечеров осени 61-го я услышал «Татуировку», «Синие, зеленые, желтые, лиловые», «Их было восемь», «Город уши заткнул и уснуть захотел», «Что же ты, зараза, бровь себе подбриваешь» и что-то, кажется, еще из этой серии, я был страшно удивлен. Ведь до этого времени вроде бы ничего не предвещало подобного «взрыва творчества». В основном писались довольно смешные эпиграммы на друзей типа:

Красавчик, сердцеед, гуляка,
Всем баловням судьбы под стать.
Вообразил, что он Плевако,
А нам на это — наплевать.

Это на Толю Утевского, который, став юристом, проходил стажировку на Петровке, 38, и ужасно был горд «черным пистолетом», который ему иногда выдавался. (Помните, «Где твой черный пистолет? На Большом Каретном».)

Под впечатлением впервые услышанных мною Володиных песен, неожиданных, остроумных, бесшабашно-веселых и очень похожих этим на своего создателя, я прожил все последующие дни. Впервые со мной произошло нечто, потом случавшееся не раз, когда я слышал, видел или читал такое, что не отпускало от себя, не отпускало подолгу. Меня словно что-то подстегивало, словно упрекало: «Что же ты сидишь, бездельник? Посмотри, как другие вкалывают, а ты баклуши бьешь». Короче, мне безумно захотелось написать песню, притом такую, чтобы она понравилась всем нашим. И в первую очередь — Володе.

А листья под окнами почти опали. Недавно они еще горели, особенно на кленах, каким-то невероятной пламенем, и вот их почти нет. Столь же невероятной казалась мне в ту осень встреча с Леной, которую Володя сразу же назвал Марокканкой — за смуглый цвет кожи и иссиня-черные волосы короткой мальчишеской прически. Она и стала героиней уже безжизненных во мне стихов. Я сел и, по-моему, за полчаса написал:

Клены выкрасили город
колдовским каким-то цветом.
Это снова,
это снова
бабье лето,
бабье лето.
.....

Только вот тревожно маме,
что меня ночами нету,
что я слишком часто пьяный
бабым летом,
бабым летом.

Я кружу напрапалую
с самой ветреной из женщин.
Я давно искал такую —
и не больше,
и не меньше.

Мелодия к стихам родилась без особого труда.

На следующий вечер собрались у меня дома. Шум, гам, анекдоты. Наконец Володя взял гитару. Кажется, у него тогда было десять — двенадцать песен. Пел и еще какие-то, не свои. Где-то через час решил сделать «передых», как он говорил. Я как бы между прочим потянулся за гитарой, мол, настал и мой черед.

Запел как можно спокойнее, задавая себе четкий ритм. Окончил. Тишина. После паузы Артур Макаров, он пользовался репутацией домашнего мэтра, лукаво-одобряюще сказал: «Давай еще раз». Я понял, что песня получилась, она понравилась.

Вскоре «Бабые лето» стало у нас чуть ли не своеобразным гимном. И Володя часто пел его, не давая этого сделать мне, что было своего рода признанием песни с его стороны.

Потом я услышал запись одного из концертов Высоцкого: «Сейчас я спою песню, не свою, ее написал мой друг Игорь Кохановский. Он поэт, сейчас работает в Магадане, в молодежной газете... Эту песню еще поет Шульженко — там музыка профессионального композитора, но наш вариант, по-моему, симпатичнее...» Но это было уже потом, много лет спустя, когда я уехал работать в Магадан и он мне в связи с этим написал одну из своих песен («Мой друг уехал в Магадан»).

Итак, Володя стал писать, притом лихорадочно, запойно, иногда чуть ли не каждую неделю он показывал нам что-то новое. Наши «посиделки» стали еще веселее. Он любил веселить людей, потому что сам был удивительно, фантастично веселым человеком, который словенко нашел, наконец, выход своему остроумию и юмору, выплескивая их в свои песни.

Почему же «блатная» романтика, а не что-то другое, скажем, лирика, как у Булата Окуджавы (о котором, кстати, я и Володя услышали чуть позже, где-то в конце 62-го) питала темы первых его песен?

Ну, по-первых, потому, что и у Булата Окуджавы, и у Александра Городницкого, и, скажем, у Новеллы Матвеевой все сразу было всерьез. У Володи же — все в шутку, все на хохме, и ухарство, и бравада, и якобы устрашающая поза («Я в деле и со мною нож, и в этот миг меня не трожь, а после я всегда иду в кабаки»). Все это было несерьезно, все это игра и бесшабашность повесы. Ну, а для всего этого «блатная» тематика — материал, пожалуй, самый благодатный.

Во-вторых. Я уже говорил о том, что мы пели до появления Володиных песен, и написанные им стали теперь своеобразным продолжением тех, предыдущих. Почему мы пели такие песни, а не другие? Да потому, что они были тем запретным плодом, который всегда сладок. И еще — в них не было тех муляжных героев с их занудным бодречеством и штампованным переживанием, которыми кишмя кишели песни эстрады и эфира и уже одним этим отталкивали от себя.

Отчего же, увлекаясь Вертинским, не пошел Володя, условно говоря, в его русло? Да потому, что Володино остроумие было попросту несовместимо с образной и стилистой системой «желтого ангела».

Ну, и в-третьих. Какой жизненный опыт был у 23-летнего актера, чтобы подкачать ему более «благородную» тематику? Что видел он в жизни? Говоря словами И. Бабеля, «пару пустяков»: школу и вуз.

И, конечно, не следует забывать, что Володя был актер. Игра была для него так же естественна, как дыхание. И вот одной из ипостасей этой игры, безотчетной и не осознанной до поры, стала «блатная» песня.

...Лето 68-го. Короткий телефонный диалог:

— Васечёк, привет. Ты видел сегодняшнюю «Советскую Россию»?

— Нет. А что?

— Там жуткая статья про меня. Сейчас приеду.

Когда я открыл ему дверь, то увидел все того же улыбающегося Володю, каким он был, верней, казался почти всегда. Правда, улыбка на сей раз была грустноватой. А когда он закурил и немного пришел в себя, стало заметно, как он разозлен и расстроен.

Статья называлась «О чем поет Высоцкий». Была она написана тем, как говорится, бойким пером, моментально выдающим заданность и тенденциозность темы. За всем этим прямолинейным и псевдопатриотическим пафосом обличений четко просматривались демагогия и ограниченность ангажированного автора, получившего, видимо, задание приструнить не в меру смелого и откровенного барда. А когда я вспомнил, что не так давно в этой же газете была аналогичная разгромная статья о Г. Горбовском, то стало ясно, что началась очередная кампания на неугодных, не поддающихся укрощению администраторам от идеологии.

Но судьба и на этот раз была милостива к Володе. Дело в том, что главным «обвинительным пунктом» публикации, вокруг которой организовывалась и велась атака на певца, было уличение В. Высоцкого в якобы оскорблении и насмешательстве над всем, «чем гордится коллектив» (говоря словами одной из Володиных песен). И в подтверждение этой мысли автор статьи цитировал строчки из песни... Ю. Визбора о технологе Петухове: «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». (Конечно, добродушная ирония этих строк была явно за пределами понимания зашоренного критика.)

— Васечёк, они прокололись! И этим ты спасен. Сейчас едем в газету, — сказал я возбужденно.

— Куда едем? Зачем?

— Объясняю...

Дело в том, что тогда в «Советской России» (не помню только, в каком отделе) работал Владимир Новиков, бывший главный редактор «Магаданского комсомольца», в котором я трудился в то время, о котором пишу.

Я позвонил В. Новикову, объяснил в чем дело. В ответ услышал: «Приезжайте».

Когда мы приехали, он уже все узнал. Да, очередная кампания припугнуть, приструнить. Последствий никаких не будет, тем более что в статье такая грубая ошибка. Так что, как говорится, можно спать спокойно...

Мы поблагодарили, попрощались и поехали ко мне обсудить «по спокухе» (наше выражение) все случившееся. «Господи, кто бы мог подумать, — размышлял я про себя, — что бесшабашное балагурство, подтолкнувшее однажды к сочинительству остроумных и озорных песен, в конце концов приведет к тому, что случилось сегодня. Ведь если вспомнить, с чего все началось...»

Где-то к концу 64-го — началу 65-го года «блатная» тема элементарно надоела. Стало уже не смешно, а поэтому и неинтересно. Приблизительно к этому времени пришло и самосознание того, что игра уже не игра, что она становится работой, творчеством, требующим «полной выкладки всерьез». К этому, я думаю, Володя тогда готов еще не был, как и не был готов к неожиданной, свалившейся на него славе, которую он воспринял поначалу очень уж по-мальчишески.

— Васечёк, а ты знаешь, что мои песни поют португальские партизаны? — сказал он мне как-то зимой 65-го. — Один человек приехал из Португалии, сам, говорит, слышал.

— И ты веришь этой чепухе? Да они наверняка и русско-го-то не знают. А если кто-то и знает, то все равно ничего не поймет, потому что простого знания языка тут мало.

Володя как-то задумчиво сказал «да-а» и больше к этому не возвращался.

Когда почти одновременно со славой пришло и самосознание того, что он делает, Володя понял, что у него почти ничего нет. Вот строчка из письма, присланного мне в Магадан 20 декабря 1965 года: «Моя популярность песенная возросла неимоверно. Приглашали даже в Куйбышев на телевидение как барда, менестреля и рапсода. Не поехал. Что я им спою? Разве только про подводную лодку. Новое пока не сочиняется».

Конечно, «Подводная лодка» — это было уже всерьез. И я думаю, что именно эта песня заявила о том, что пора творческой юности кончилась.

Лично я весь «блатной» период в песнях В. Высоцкого считаю периодом становления его как «многоборца», по весьма точному выражению одного критика. Ну а почему его «начало» было таким, а не иным, я и попытался рассказать в этих воспоминаниях.

ЕСТЬ ХОРОШЕЕ НАРОДНОЕ СЛОВО...

**Открытое письмо
писателю Анатолию Иванову,
главному редактору журнала
«Молодая гвардия»**

В майском интервью «Литературной России»¹ Вы, Анатолий Степанович, коснулись известного письма одиннадцати литераторов «Против чего выступает «Новый мир»?» («Огонек» № 30, 1969 г.). Об этом письме, ставшем символом духовного, нравственного застоя, много сейчас говорят, пытаются разобраться в процессах торможения, которые свели на нет перестройку, начатую XX съездом партии.

Вы, Анатолий Степанович, один из авторов письма, положившего начало согласованной кампании против «Нового мира», кампании, которая должна была окончательно решить «новомирский вопрос». Восемь из одиннадцати подписавших его и сегодня активно работают в литературе, трое возглавляют литературно-художественные и общественно-политические ежемесячники. Ваших слов ждали со вниманием.

Почти одновременно с Вами высказались и Ваши соавторы, главный редактор журнала «Москва» Герой Социалистического Труда М. Алексеев — по Центральному телевидению, и писатель Н. Шундик — на конференции писателей и историков. Все трое сошлись на том, что «письмо одиннадцати» было направлено не против А. Т. Твардовского, и даже не против его журнала, а против критика А. Дементьева², напечатавшего тогда, двадцать лет назад, статью, грубо оскорбившую патриотические чувства одиннадцати писателей.

«В письме одиннадцати», — объясняете Вы, — ни имя Твардовского, ни его произведения даже не упоминаются, не касаются писатели и личной жизни (?) поэта, и его общественной деятельности. Речь там идет о статье критика А. Дементьева «О традициях и народности»³, где он делает откровенные попытки развенчать определенные народом и временем литературные, историческо-культурные ценности, стремится размыть извечные и высокие нравственные идеалы и критерии... То есть письмо было по тем временам самым обычным (курсив мой.— И. Д.) публицистическим, полемическим выступлением...»

...«Речь шла именно о статье Дементьева, о нем самом, как о критике, — продолжает член редколлегии «Молодой гвардии» М. Лобанов в четвертом номере «Нашего современника» за этот год (кстати, главный редактор этого журнала С. Видулов — тоже из «одиннадцати»). «Нст, в обиду Твардовского никогда не давали, — и как поэта, и как главного редактора «Нового мира»... Так что слова о гонении на А. Твардовского, на «Новый мир» не более чем плод призрачного воображения».

Хотелось бы избежать определений, но нельзя «оставлять в неполноте такую речь». Вы, Анатолий Степанович, призываете всех нас стать «засединщиками» в борьбе с чуждой

идеологией и объясняете, что есть такое «хорошее народное слово — засединщина». В живой жизни, каюсь, не встречала, но у Даля — «товарищи... особенно в тайном замысле». Позвольте и мне воспользоваться воскрешенным Вами словом.

В Ваших с «засединщиками» ответах все неправда. Сегодня Вы рассчитываете на неосведомленность читателей: большинство из них ни статьи А. Дементьева, ни «письма одиннадцати» не помнят — все-таки почти двадцать лет прошло. Но и тогда, когда этот номер «Нового мира» был доступен, вы писали такую же неправду.

Вы писали: «Мы полагаем, что не требуется подробно читателю говорить о характере тех идей, которые давно уже проповедует «Новый мир», особенно в отделе критики... Именно в «Новом мире» появились кощунственные материалы, ставящие под сомнение героическое прошлое нашего народа и Советской Армии..., глумящиеся над трудностями роста советского общества... В критических статьях В. Лахшина, И. Виноградова, Ф. Свстова, Ст. Рассадина, В. Кардина и других, опубликованных в «Новом мире», *планомерно и целеустремленно* (курсив мой.— И. Д.) культивируется тенденция скептического отношения к социально-моральным ценностям советского общества, к его идеалам и завоеваниям».

Это о Дементьеве?

Вы писали, что борьбу с «опасностью проникновения к нам буржуазной идеологии» в журнале подменяют «столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группирующихся вокруг «Нового мира», космополитическими идеями». Вы писали, что в «провокационной» тактике «наведения мостов», сближения или, говоря модным словом, «интеграции идеологии» они словно бы не хотят видеть диверсионного смысла и «выступают против таких основополагающих морально-политических сил нашего общества, как советский патриотизм, как дружба и братство народов СССР».

Это что — полемика? Даже по тем временам обычной ее не называли.

Стоило бы, право, перепечатать все «письмо одиннадцати» из того, двадцатилетней давности, «Огонька». Так прозрачна цель, так испытаны методы, а язык, стиль... Только собравшись вместе, одиннадцать русских писателей могли сочинить такое: «культивируется тенденция отношения... «планомерно и целеустремленно культивируют»...

Но тогда о стиле думать не приходилось, приходилось думать об ином качестве и жанре документа.

И тогда и тем более теперь не найти столь наивных людей, чтобы могли поверить, будто одиннадцать литераторов только по своему желанию расправились с «Новым миром». Было на то указание, позволение самых высоких инстанций. А то, что оно совпало с «вселением сердца», так в каждом времени есть сердца, бьющиеся в унисон с указаниями.

Вот какой тайный замысел, вот какую «засединщину» замалчивают, когда не удастся отмолчаться.

А громкая, хорошо скоординированная кампания в прессе — тоже «самая обычная полемика»?

26 июля — «Огонек». «Против чего выступает «Новый мир»?».

27 июля — «Советская Россия». «В защиту патриотизма».

31 июля — «Социалистическая индустрия». «Открытое письмо главному редактору журнала «Новый мир» тов. Твардовскому А. Т.».

1 августа — «Литературная Россия». «Справедливое беспокойство».

3 августа — «Советская Россия». «По поводу выступления «Нью-Йорк таймс».

9 августа — «Социалистическая индустрия». «Ответ главному редактору журнала «Новый мир» А. Твардовскому».

27 августа — «Литературная газета». «Литературные споры и чувство ответственности».

Это не о Твардовском?

В «Социалистической индустрии» токарь Подольского завода (каких только писем не организовывали шустрые газетчики) в своем «открытом письме» А. Т. Твардовскому учил поэта любви к Родине, «к русской березке, наконец». Критик Дм. Иванов констатировал: «Советская общественность знает, что это заигрывание буржуазной пропаганды с «Новым миром» идет давно. Кажется, флирт слишком затянулся».

В тридцать восьмом после таких грозных слов могли и расстрелять. Тридцать лет спустя соответствующие ведомства стали помягче, но обличители стиль сохранили.

Сохранили и еще через двадцать лет. «...В чем я должен каяться?... В том, что был не согласен с высказанной в журнале «Новый мир» позицией Синявского и такими, как он? С позицией, ничем не отличающейся от той, которую они сейчас занимают там, на Западе» (Н. Шундик). Попал под огонь М. Лобанова и «тот самый журнал «Юность», который

¹ «Высока цена истины», 6 мая 1988 г.

² Дементьев Александр Григорьевич — критик, литературовед (1904—1986 гг.).

³ «Новый мир», 1969, № 4.

Тогда Вы назвали свое письмо «Против чего выступает «Новый мир?», теперь, оказывается, спорили только со статьей критика Дементьева!

Статья «О традициях и народности» была вполне «новомирской», соответствующей духу и направлению журнала; но даже если бы статья была напечатана не в «Новом мире», она все равно бы вызвала раздражение. Ее автор предвидел, чем могут обернуться поиски «истоков» и «корней», если будущее искать только в прошлом, из какой «пены и накипи» возрождаются антидемократические, националистические идеи «почвы» и «крови».

Но полемика с В. Чалмаевым, М. Лобановым, В. Кожиным, Ан. Ланщиковым была необходима. И не «брожения смутных эмоций» этих литераторов определяли такую необходимость, а «симптоматичность настроений, известная характерность их тенденций». «Он,— писал о Чалмаеве А. Демьенев,— как бы пытается придать *некое направление* (курсив мой.— И. Д.) примечательному для наших дней интересу широких кругов советского общества и особенно молодежи к отечественной старине, древнему зодчеству, живописи и прикладному искусству, памятным событиям отечественной истории».

«Любовь к родине, национальная гордость, уважение к традициям, к прошлому своего народа — безусловные и глубокие чувства», — писал он в своей статье. — Они формируются еще в детстве и отрочестве и постепенно овладевают разумом и нравственностью человека... Патриотизм — это та духовная почва, на которой выросли воинская слава русского оружия, беззаветная борьба русского народа против крепостничества и капитализма, угнетения и бесправия, великая русская литература, искусство, культура».

Направление, формируемое исподволь публицистикой, критикой «Молодой гвардии», худо-бедно сопровождаемое

«Стремление В. Чалмаева реабилитировать и возвеличить время столыпинской реакции представляется такой же сомнительной затеей, как попытка В. Кожина объявить «духовной Элладой» тридцатые годы после поражения декабристов,— писал А. Деметьев и недоумевал: — Ведь не думают же В. Чалмаев и В. Кожин, что деспотизм и реакция способствуют развитию литературы и искусства?»

Пусть кто войдет,
 почувствует зависимость
от Родины, от русского всего.
Там посредине —
 наш Генералиссимус
и маршалы великие его.—

Зато и в «письме одиннадцати», и в сегодняшних выступлениях Дементьева избличают именно в конъюнктуре, напоминают его критические высказывания 1949 года, противоречащие тому, что он говорил позже.

Кроме Деметьева, М. Лобанов порицает и Ю. Трифонов за конъюнктуру: за творческий рост от конюшеской прозы до «Старика», за то, очевидно, что стал Юрием Трифоновым. Укоряют даже Твардовского за «Страну Муравьи», за строки о Сталине (скажем, та же «Молодая гвардия» № 4, 1988 год). Но Твардовский, как всегда, сложнее. Хотя бы потому, что первым вспомнил тех, кто «ушел на Соловки», и первым дал правдивую картину раскулачивания и ссылки в нашей литературе тоже все-таки он, а не Шундик, не М. Алексеев и не П. Проскурнин (тоже одна из исподволь внедряемых сегодня «истин»). Помните:

Это — «Страна Муравия».

Возвращаясь к статье «О традициях и народности», еще раз подчеркну: в смутных брожениях мысли и чувства тогдашних новоявленных «славянофилов» «Новый мир» разглядел то, отчего «один шаг до национального высокомерия и кичливости, до идеи национальной исключительности и превосходства русской нации над всеми другими, до идеологии, которая несомнима с пролетарским интернационализмом».

И тем не менее прав оказался Дм. Иванов, написавший в 1969 году, что не за «Новым миром» и не за «либеральным критиком» А. Дементьевым, а за вами, одиннадцатью литераторами, будущее. Те годы, что стали для нас застойным

84

прошлым, были Вашим будущим. И в этом будущем Вы преуспели.

Ушел из «Нового мира» Твардовский. Видевшие его в те дни испытывали острое беспокойство за здоровье и жизнь Александра Трифоновича. Беспокойство не напрасное. Внезапная и беспощадная болезнь — следствие глубокого душевного потрясения. Через год его не стало. Ушли из жизни и другие члены редколлегии. Остальные были приговорены к молчанию, изгнаны из литературы. На освободившемся пространстве плечом к плечу выстроились издания, где едва намечавшиеся направления обрели силу и законченность. Стало можно! Все стало можно. Речь о развитии многого из того, против чего выступал «Новый мир». Любая серость, любая пошлость сходилась, лишь бы кое-как была прикрыта псевдопатриотическим инвазивизмом.

Между прочим, примерно за год до «письма одиннадцати» тот же «Огонек» подверг критике за «очернительство» деревенскую прозу «Нового мира» — Б. Можая, В. Белова, Ф. Абрамова, В. Шукшина.

А у «Молодой гвардии» была тогда своя обойма прозаиков, с гордостью представленная в «письме одиннадцати»: М. Барышев, В. Битюков, Ю. Иванов, С. Высоцкий... Двадцать лет прошло. Кто они, Анатолий Степанович?

И вот она, сегодняшняя проза «Молодой гвардии» — повесть «Беркуты» Виктора Веретенникова (№ 4—5, 1988 г.).

Там председатель РАПО Гаврила Сильч облетывает на персональном спортивном самолете (?) уголья и, «нутром чужа могучий паводок», часто садится у избытки мудрого деда Луки. Пока самолет «серебристо струится» в седой «наволочи» тумана, а река Захватовка внизу «надрыно вздувается», у деда «тугой дробинкой выкатывается из глаза слеза». Там есть и пара влюбленных орлов-беркутов Серогрудка и Бурхан. Положительные беркуты, положительный дед Лука и его положительная собака Булат вместе борются за сохранение окружающей среды против «хапачей», строителей химкомбината. Пес, например, сортировал рыбу на три категории: «снудую... бойко выгребал лапой на лед. Трепещущую же, напротив, проталкивал к глубокой лунке...» А если какая змеззла в лед, «ворочал обколотые глыбы, мордой и лапами, разворачивая рыбу к солнцу, чтобы оттаяла». Отрицательный директор совхоза Скорохват «облакает грабеж в тогу барабанных починов».

Автор старается, а читателю смеяться хочется, и никакие «хорошие народные слова» вроде «бывало», «припожаловало», «рассобачился», «обочь» или совсем загадочное «окоём неба» не могут заставить его поверить, что это патристическая проза, а не пародия. Такой вот «пласт народной жизни» поднят, как любят выражаться критики «Молодой гвардии» и «Нашего современника».

Зато публицистика «Молодой гвардии» такова, что не до смеху. Только с пресловутой статьей Нины Андреевой в «Советской России» может сравниться письмо ветерана М. И. Малахова в четвертом номере журнала. И судя по Вашему второму интервью, Анатолий Степанович («Черный хлеб искусства» — «Наш современник» № 5), Вы с г. Малаховым во многом согласны. Вас тоже беспокоит, «куда заведет подобная перестройка». Вы тоже предупреждаете: «...Упускает партия из рук управление подобными процессами, и буйствует стихия разрушения». Многих Ваших сторонников возмущает также излишний «плюрализм», как теперь говорят, мнений, слишком вольный отбор читательских писем для публикации, скажем, в «Огоньке». Письма в Вашем журнале, и точно, более целенаправленны:

«Жесток был Сталин? Жесток, были ошибки. даже тяжелые... Но сколько можно третиловать его?»

«И если отдельная кучка людей, имеющих доступ к негативной информации, пытается организовать натиск в направлении очернения нашей родной истории, пытается втоптать в грязь имя матери Родины, то этой кучке надо давать отпор».

Мне тоже захотелось привести письмо, пришедшее к нам — в «Известия».

Москвичка А. Горбачева делится впечатлениями о встрече клуба «Друзья книги» во Дворце культуры Метрополитана с редакцией и авторами журнала «Москва». «Представленный публике как большой исторический писатель Владимир Карпец рассказал о демократичности жизни при Иване Грозном. Власть государя — только так и величал Карпец любого царя — была неограниченна, но неограниченно было и самоуправление на местах: «Это ли не пример? Эти ли традиции мы должны отбрасывать!» Но еще больший восторг у писателя вызывает крепостное право: «Барин проливал кровь, крестьянин его кормил — это их объединяло, а крепость земная отражала крепость небесную, и все это русская традиция». Очень не хочется с этим соглашаться, да и оскорбительно: все народы свободолубивые, а русская традиция почему-то рабство».

И еще один «мотив» встречи подмстила читательница: «Оратор из толпы, назвавшийся Климовым, объявлял со сцены, что он сталинист, а страну захлестывает волна русофобии. И вообще мы ничего хорошего не сможем сделать, пока не решим еврейский вопрос...»

А мне вспомнился персонаж Куприна, который вполне мог бы поучаствовать в иных сегодняшних радениях и даже выступить там с такой речью: «Русский народ еще покамест

только чешется спросонья, но завтра, господи благослови, завтра он проснется. И тогда он страхнет с себя блудливых радикальствующих ин-тел-ли-гентов, как собака блох, и так сожмет в своей мощной длани все эти угнетенные невинности, всех этих жижишек, хохлашек и полячишек, что из них только сок брызнет во все стороны. А Европе он просто-напросто скажет: «Тубо, старая...»

Сегодня Вы, Анатолий Степанович, готовы забыть распри и призываете к «засидинщине» (Н. Шундик выражается проще — совсем по-русски — к консолидации). Но при этом тоже непременно хотите, чтобы с Вами осталась «монополия на патриотизм», всех же остальных уличаете в «направлении к очернению», пугаете влиянием буржуазной идеологии. А тех из идейных противников, чей авторитет слишком высок, насильно зачисляете в свои ряды, как это сделал еще в 1979 году М. Алексеев, т. е. не краснея «вспомнил» в «Литературной газете», как Александр Трифонович извинился перед ним за то, что в «Новом мире» критиковались произведения М. Алексеева. (Ю. Буртин блистательно ответил на эту легенду, но его убедительное письмо, естественно, тогда не увидело света.) Еще один из авторов «письма одиннадцати», Пётр Проскурин, пожелал непременно возглавить конкурсную комиссию по созданию памятника Василию Теркину, и это его кощунственное желание кто-то утвердил!

Зато стоило народному артисту СССР Михаилу Ульянову произнести слова о недопустимости в театральной среде разговоров о «некоторой размытости русского начала», как М. Любимов (Наш современник) № 5, 1988 год) обвиняет его в попытке «дискредитировать проявление любви к Родине, к русской культуре», приводит слова еще одного «засидинщика», Петра Проскурина, об «излучении (?) самых агрессивных реакционных сил, старающихся разложить наш государственный фундамент», действующих под видом борьбы с «якобы усиливающимся русским шовинизмом и национализмом».

«Якобы?» А как Вы считаете, Анатолий Степанович? И чего это новомирцы двадцать лет назад всполошились? Нет, они не зря «всполошились». То охранительное направление, что тогда, двадцать лет назад, было только угадано, сегодня — вот оно, во плоти, нарастало «мускулатуру». Но все-таки не стало, слава богу, не стало определяющим идейным явлением нашей жизни. А вот то, за что выступал «Новый мир», вовлекается сегодня в духовный капитал перестройки.

А, может, и сегодня вам кажется: если три главных редактора литературно-художественных и общественно-политических журналов, двое из них Герои Социалистического Труда, заявят свою версию событий двадцатилетней давности, то эта версия, будь она сущей неправдой, станет утвердившимся мнением, и сколько бы прежних новомирцев не «вылезли на критическую арену» (выражение М. Лобанова), ни регаллий, ни голоса у них не хватит. А то ведь, ишь, чего захотели — покаяния!..

Никто, понятно, всерьез не ждет от Вас покаяний; покаяние — большой труд души, непомерно высока оказывается пока еще для многих «цена истины», упоминутая в заголовке Вашего интервью, да и «черный хлеб искусства», если речь идет о подлинном искусстве, все еще многим не по карману. Мне ли, газетчику, не знать, как туго идет поворот в сознании людей, как плотна стена рутины, как упорно сопротивление тех, кого и так все устраивает. Но как раз то, что «устраивает», слишком дорого обошлось нашим соотечественникам. Хватит красивых, «истинно народных» поз и слов — вон сколько Вы их наговорили!

Не лечите слесем и квасом наши социальные недуги. Не некие «темные силы», как полагает «Наш современник», создали у нас командно-административную систему (ах, как все было бы просто), не «мasons» привели нашу экономику на грань катастрофы, как пытаются нам внушить лидеры «Памяти». Не потому виноват Каганович, что он еврей, а потому, что был сподвижником Сталина во всем. Не в том виноват Сталин, что был грузином, а в сталинизме. Не потому был отлучен от земли русский, грузинский, украинский крестьянин, что наркомзесом одно время был Яковлев-Эпштейн. Не потому узбеки допустили у себя многомиллионную авантюру с хлопком, что они узбеки. Как нашим «патриотам» хочется все упростить и опять направить нас по ложному следу! Как должны радоваться бюрократ, бездельник и всяческая бездарь такой «простоте»? Чем кончатся попытки искать причины социальных бедствий и их виновников в национальном «духе», мы знаем сегодня на горьком опыте Сумгаита. Слишком опасные игры.

Ирина ДЕМЕНТЬЕВА



Наталья ИВАНОВА

ХРАНИТЬ
ВЕЧНО

Фото А. Карзанова

Книги имеют свою судьбу, сказано в древности. Эти слова в полной мере относятся к романам и повестям, воскресающим сегодня на страницах литературных журналов словно из небытия. Напечатаны «Софья Петровна» Лидии Чуковской («Нева», № 2), «Московская улица» Бориса Ямпольского («Знамя», №№ 2—3), «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана («Октябрь», №№ 1—4). Повесть Чуковской была написана в 1939—1940 годах — почти полвека ждал автор этой публикации. Роман В. Гроссмана считался вообще утраченным, рукопись романа была конфискована у автора в 1961 году. После того, как писатель отдал ее в журнал «Знамя», прошел, как вспоминает С. Липкин, почти год. Затем последовал обыск, арест рукописи (вплоть до копирки у машинистки). В. Гроссман обращался с письмом к Н. С. Хрущеву — безрезультатно. У него состоялась встреча с Сусловым, на которой тот сказал, что роман можно будет печатать только через двести лет...

Б. Ямпольский писал свою повесть безо всякой надежды на публикацию.

Все эти произведения рассказывают об эпохе сталинщины.

Действие «Софьи Петровны» происходит в конце 30-х годов. Гроссман, продолжая сюжетные линии своего романа «За правое дело», анализирует грандиозное столкновение фашизма и сил сопротивления на арене военных действий, человеческого стремления к свободе и ее подавления внутри тоталитарного режима. Ямпольский исследует съедающий бывшего фронтовика страх уже в послевоенное время — в начале 50-х годов.

Судьба каждого из произведений складывалась драматично, если не трагично. Гроссман начал писать свой роман на волне «первой оттепели» освободительного чувства, охватившего общество после XX съезда. Для того, чтобы понять замысел писателя, бывает полезно взглянуть не только в самое художественное произведение, но и прислушаться к тому, как он определяет другого, близкого себе по духу художника. С. Липкин в своих воспоминаниях свидетельствует о дружбе, о духовной близости В. Гроссмана и А. Платонова. Когда в 1951 году Платонов умер, Гроссман произнес надгробную речь. Но опубликовать ее он смог только после 1956 года в виде рецензии на вышедшую книгу Платонова. В ней говорилось: «А. Платонов — писатель, пожелавший разобраться в самых сложных, а значит, в самых простых основах человеческого бытия». Он «иступленно и безудержно, всегда и повсюду искал человеческого в человеке». Слова эти с полным правом можно отнести и к самому Гроссману. Да и не только к нему. К тем писателям, которые, несмотря на обстоятельства времени, расшатывающего человеческое в человеке, подавляющего личность, сохраняли и преумножали свет гуманности.

Для того, чтобы реально ощутить атмосферу времени, раскроем «Литературную газету» за 1937 год. Перечислю заголовки выступлений писателей в номере от 26 января, в «пушкинском», кстати, номере («милость к павшим призывал»), оказавшемся одновременно и номером под шапкой «Смести с лица земли троцкистских предателей и убийц». Итак, Ал. Толстой — «Сорванный план мировой войны», Н. Тихонов — «Ослепленные злобой», К. Федин — «Агенты международной контрреволюции», Ю. Олеся — «Фашисты перед лицом народа», Д. Алтаузен — «Пощады нет», Вс. Вишневский — «К стенке!», И. Бабель — «Ложь, предательство, смердяковщина», Л. Леонов — «Террарий», М. Шагинян — «Чудовищные ублюдки», С. Сергеев-Ценский — «Эти люди не имеют права на жизнь», М. Козаков — «Шакалы», А. Караваева — «Изменники родины, шпионы, диверсанты и лакеи фашизма», Л. Славин — «Выродки», А. Безыменский — «Наш вердикт», К. Финн — «Есть ли большее предательство?», Е. Долматовский — «Мастера смерти», Р. Фраерман — «Мы вытащим их из щелей на свет». В. Шкловский писал: «Эти люди — кристаллы подлости».

С трибуны собрания ленинградских писателей раздавался призыв А. Прокофьева:

Где бы ни ползли, — весь путь их страшен,
Где б ни шли они из всех зыбей,
Их за вашу кровь, за муки ваши
Ненависть настигни и убей.

В «Поэме о наркоме Ежове» Джембул пел:

В живом организме Советской страны
Ежову вождем полномочья даны —
Следить, чтобы сердце — всей жизни начало —
Спокойно и без перебоев стучало.

Следить, чтобы кровь, согревать не устав,
По жилам текла горяча и чиста...

Сохранять и тем более пропагандировать гуманизм было более чем небезопасно — было наказуемо. И все же русская литература его сохраняла — и сохраняла.

Маленькая повесть Л. Чуковской является первым известным мне прозаическим произведением о поведении человека в условиях все возрастающих репрессий. Автор работал над ней в то же самое время, когда Ахматова, с которой Л. Чуковская была в дружеских отношениях, писала свой «Requiem» — плач матери по арестованному сыну, плач России по расстрелянным сыновьям.

Действие «Софьи Петровны» тоже происходит в Ленинграде. В центре повествования — образы матери и сына.

Но если лирический голос ахматовского Requiem'а — это голос мужественного знания, голос духовного сопротивления, то Софья Петровна Чуковской — отнюдь не олицетворение мудрости, мужества или сопротивления. Софья Петровна — рядовой человек, олицетворение обыденного сознания, узкого здравого смысла.

Еще в конце 20-х, после смерти мужа, Софья Петровна решила приобрести профессию, стала машинисткой. Служба ей нравилась — «как увлекательно, как интересно оказалось служить» в одном из ленинградских издательств! Софья Петровна с наслаждением, аккуратнейшим образом перепечатывает рукописи, деловые бумаги. Акакий Акакиевич 30-х годов уже нашего века, не правда ли? С каким чувством собственного достоинства гоголевский герой ел честно заработанный кусок хлеба. И был безжалостно растоптан действительностью — как раз в момент наивысшего внутреннего блаженства, связанного с обладанием долгожданной, вымечтанной шинелью.

Софья Петровна так же, как Акакий Акакиевич, предана своей работе и довольна своим образом жизни. Она гордится тем, скажем, что местком поручил ей собирать взносы. «Софья Петровна мало задумывалась над тем, для чего, собственно, существует профсоюз, но ей нравилось разлиновывать листы бумаги и отмечать в отдельных графах, кто заплатил уже за нынешний месяц, а кто нет, нравилось наклеивать марки, сдавать безупречные отчеты ревизионной комиссии». Эта бумажная псевдожизнь, подчиненная мертвой букве и цифре, замещает в ее маленьком сознании жизнь настоящую («все люди показались ей удивительно добрыми, красивыми, и с неожиданным интересом она прослушала цифры»).

Все, что пишут в газетах, «казалось ей теперь вполне естественным, будто так и писали и говорили всегда». Софья Петровна «по выходным дням включала радио с самого утра: ей нравился важный, уверенный голос» диктора. Газета, радио, собрание, бумаги формируют из Софьи Петровны беспартийную «общественницу». И сына Колю она воспитывает в стиле личной преданности вождю. Коля становится отличным специалистом, о нем пишут в газетах. Софья Петровна с негодованием читает о «врагах народа», сама тоже гневно клеймит их на собраниях: «В нашей стране с честным человеком ничего не может случиться». А Коля она написала, что в типографии «открылись враги». Вокруг идут аресты — арестовывают и друзей, и директора издательства. Сознание Софьи Петровны мгновенно находит для этих арестов оправдание.

«— Понимаете, дорогая, его могли завлечь,— шепотом сказала Наташа.— Женщина...

За чаем они припомнили, что фигура Захарова отличалась военной выправкой. Прямая спина, широкие плечи. Уж не был ли он в свое время белым офицером? По возрасту он вполне мог успеть».

Так мгновенно оправдывается арест, гибель человека; так легко рождается подозрение. И только арест любимого, единственного сына, целиком и полностью преданного Сталину, ломает ее обывденное, самоудовлетворенное, равнодушное к чужому страданию, к чужой судьбе сознание.

И все же она сначала убеждена, что именно Колю арестовали «по ошибке». Стоя в тюремной очереди, чтобы узнать о сыне, она еще находится в плену заблуждений: «Ну, уж я-то с ним поговорю... Пусть сейчас же проведет меня к следователю, к прокурору или к кому там... Как много еще у нас в быту некультурности! Духота, вентиляцию не могут устроить. Надо бы написать письмо в «Ленинградскую правду».

Повесть написана в форме косвенной, непрямой речи, и эта форма помогает автору точно и безыллюзорно показать историческую слепоту своей героини:

«Нет, Софья Петровна недаром сторонилась своих соседей в очередях. Жалко их, конечно, по-человечеству, особенно жалко ребят, а все-таки честному человеку следует помнить, что все эти женщины — жены и матери отравителей, шпионов и убийц». Софья Петровна прозревает трудно. Со страшной болью обывденное сознание расстается со своими мифами: «зря не сажанют», если 10 лет лагерей — «значит, он все-таки был виноват». Ценою жизни сына заплачено за это позднее прозрение. Софья Петровна перестает следить за собой, опускается, теряет вроде бы облик человеческий, а на самом деле в ней идет процесс рождения человека: отчуждение от судьбы своего народа сменяется единством с ним.

Истинно эпическим романом, охватывающим множество пластов жизни общества, явился роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба».

Маленькое отступление.

На мартовском пленуме СП СССР выступала Майя Ганина. Большая часть ее выступления была посвящена «Жизни и судьбе». «Насладились (разрядка моя.— Н. И.) трагической полифонией звуков и красок, воссоздающей ежедневные

Сталинградской битвы...». Однако, кроме «наслаждения» (трудно, по-моему, было бы подобрать более противоречащее всему духу книги слово), М. Ганина испытала и другие эмоции — обиделась за русский народ. «Перечитав лагерные сцены, я отметила, что политические у Гроссмана — главным образом евреи. Они отнюдь не идеализированы, со своими ошибками, заблуждениями, слабостями. Зато уютловники —... русские». Если бы эти слова прозвучали во времена, описанные в романах Гроссмана или Ямпольского, я бы не удивилась. Удивительно, что национальная арифметика ведется писательницей-гуманисткой сегодня...

В романе «Жизнь и судьба» — чрезвычайно множество сюжетных линий, свособразно и неожиданно пересекающихся. Линия физика Штрума, его семьи, его научной работы; и линия защитников Сталинграда, среди которых — брат жены Штрума, Сережа Шапошников, а также ее зять, директор Стальгрэс; и «управдом» героически сопротивляющегося дома, и майор Березкин с его полком, стоящим насмерть; и полковник Новиков, выводящий танковый корпус в решающую атаку; и линия немецкого концлагеря, в котором испытывается мужество и порядочность советских людей; и линия нашего лагеря в Сибири, где первый муж Людмилы Штрум, репрессированный Абарчук, ведет последний разговор с умирающим Магаром; линии, повествующие о психологической атмосфере внутри фашистских войск. Все эти линии организованы в пространстве романа полифонически. Термин этот, введенный в науку о литературе М. М. Бахтиным, стал в последние годы моден, а оттого стерт и затерт, — что у нас только не объявлялось «полифоническим»... В романе В. Гроссмана, на мой взгляд, полифония присутствует в виде самораскрытия разных точек зрения на мир, на окружающую действительность, в раскрытии разных голосов, которые вступают в скрепенье, диалог, спор. Поток сознания каждого героя — это глубоко демократическое по сути признание автором права человека на свою жизнь, свой духовный независимый мир, свое мнение, свою точку зрения, свою концепцию происходящего. Знаменитые полководцы и молодые лейтенанты, ученица девятого класса и трагически прозревший перед смертью большевик, итальянский священник и глубоко переживающий бессмысленное поражение в бессмысленном походе на Россию немецкий лейтенант, крупнейший физик и потерявшая сына мать, — все и все имеют — по Гроссману — «душу живу».

«Мир стал неевклидовым, — размышляет Виктор Павлович Штрум. — С нарастающей стремительностью шло научное движение в мире, освобожденном Эйнштейном от оков абсолютного времени и пространства». Этот «неевклидов мир» и есть мир романа — в отличие, скажем, от предшествовавшего ему романа «За правое дело», в котором действуют те же герои, но в совершенно иных, «эвклидовых» измерениях. Отсюда — и принципиальная разница в качестве мысли одного и другого произведения. Если в романе «За правое дело» автор-демиург заранее знал «историческую истину», то в «Жизни и судьбе» эта авторитарность позиции автора утрачена. Приобретено совсем иное: расширение пространства действительности, сочетание интенсивного захвата все новых проблем с экстенсивным погружением в глубь человеческой личности.

Старый коммунист еще ленинской когорты Мостовской, будучи в фашистском концлагере, сталкивается с совершенно разными концепциями добра и зла. Вместе с ним по одну сторону колючей проволоки оказались бывшие «враги»; и религиозный мыслитель Иконников, и меньшевик, бежавший из Советской России в 1921 году. Чернецов. От прямолинейного отрицания Михаил Сидорович Мостовской постепенно — к собственному неудовольствию — переходит на другие позиции. Задумывается прежде всего над тем, почему же все эти люди, даже «враги», так ненавидят фашизм, а фашизм ненавидит и уничтожает их. Значит, есть нечто, в конечном счете их объединяющее перед лицом смерти, лицом общего, страшного врага? «В молодую пору в друзьях и единомышленниках все было близко, понятно. Каждая мысль, каждый взгляд врага были чужды, дики. А теперь вдруг он узнавал в мыслях чужого то, что было дорого ему десятки лет назад, а чужое иногда непонятным образом проявлялось в мыслях и словах друзей».

В обновлении, изменчивости, текучести сознания, в обретении им все новых и новых идей и поворотов и ищет Гроссман тоже «неевклидов мир».

По «эвклидовому миру», ближе всех в лагере к Мостовскому должны быть арестованные советские военачальники. По «эвклидовому миру», нельзя доверять получившему в лагере

кликну «властитель дум» майору Ершову, поскольку он сын раскулаченного. И карточку Ершова сами же заключенные товарищи перекалывают в пачку на уничтожение. Мостовской платит Ершову тотальный недоверием, а страдает общее дело. «Неевклидовы» отношения оказались бы несравненно человечнее и в конечном счете полезнее. Но прозрение приходит к Мостовскому слишком поздно.

По «эвклидову миру» живет и рассуждает Абарчук — в сибирском концлагере, в соседстве с уголовниками-рецидивистами, расправляющимися с «политическими». Даже здесь Абарчук не меняется, остается самим собой — отлитым по образу и подобию того, кому он поклонялся, убежденным, что «зря не сажают», что «посажена по ошибке маленькая кучка людей, в том числе и он, остальные репрессированы за дело, — меч правосудия покарал врагов революции». Клише вульгарно-«классового» мышления пропитали его сознание, заизвестковали мозг: «Он видел угодили, вероломство, покорность, жестокость... Он называл эти черты родимыми пятнами капитализма и считал, что их несли на себе бывшие люди, белые офицеры, кулаки, буржуазные националисты» (разрядка здесь и далее моя. — Н.И.). Рядом с Абарчуком сидят и кавалерийский комбриг времен гражданской войны, и член президиума Коммунистического интернационала молодежи, но все они не в состоянии дать отпор шайке уголовников, ибо разъединены. Они презирают бывших, но не в силах понять, что теперь они сами — бывшие.

Абарчук вспоминает ночью, в приступе тоски, сына. «Я вот думал, — делится он наутро с товарищем по нарам, — встречусь с ним, скажу ему: помни, судьба твоего отца случайна, мелочь. Дело партии — святое дело! Высшая закономерность эпохи!» У него не возникает и тени сомнения в том, что власть может быть узурпирована, а «дело партии» — грубо искажено. Абарчук и в лагере остается правдоверным сталинистом. И Гроссман показывает нам мир изнутри этого закрепощенного сознания. Да, закрепощенного — несмотря на то, что считает-то себя Абарчук судьей, а не рабом: «Его душевная сила, его вера была в праве суда... Он клевил тех, кто колебался, презирал нытиков и проявлявших слабость маловеров... Сладко быть непоколебимым. Совершая суд, он утверждал свою внутреннюю силу, свой идеал, свою чистоту». Усомнившись в жене, Абарчук расстался с ней. Не поверив, что она воспитает сына «непоколебимым борцом», отказал ему в своем имени. Гроссман показывает, как неотступное следование «принципам» вытравляет в Абарчуке человеческое содержание. «В своей неизменной гимнастерке и сапогах он ходил на работу, на заседания коллегии наркомата, в театр, гулял в Ялте по набережной, когда партия послала его лечиться. Он хотел походить на Сталина». И самое главное: «Теряя право судить, он терял себя».

Абарчук считает себя учеником старого большевика Магара. Одним из самых сильных эпизодов романа является эпизод встречи Абарчука с умирающим Магаром в лагерьном лазарете. Магар исповедуется, считая свою исповедь «последним революционным долгом»: «Мы ошиблись... Сего не искупить никаким покаянием... Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее... Там, за проволокой, самосохранение велит людям меняться, иначе они погибнут, попадут в лагерь — и коммунисты создали кумира, погоня недели, мундиры, исповедуют национализм, на рабочий класс подняли руку, надо будет, дойдут до чернотенства...». Абарчук не хочет слышать, не желает понять открывшейся Магару страшной правды. Так же, как в условиях фашистского концлагеря ничего не желает понять Мостовской.

Принцип зеркального отражения лежит в основе композиции романа. Не странно ли это, спросит иной читатель, описывая великую битву за свободу с фашизмом, одновременно вводить столь шокирующее двойное зеркало? На это

* «Классовая логика Абарчука имеет и ныне неожиданную поддержку — союзника в лице нашей современницы, автора письма в газету «Советская Россия» Н. Андреевой: «атаки на государство диктатуры пролетариата... имеют (сегодня. — Н.И.)... свою социальную подпочву... Наряду с профессиональными антикоммунистами на Западе, давно избравшими якобы демократический лозунг «антисталелизма», живут и здравствуют потомки свергнутых Октябрьской революцией классов, которые далеко не все смогли забыть материальные и социальные утраты своих предков... обиженных социализмом потомков нэпманов, басмачей и кулаков» («Советская Россия», 13 марта 1988 г.). Поистине уроки истории ничему не учат! Возрождение стоившей нашему народу чудовищных жертв логики усиления классовой борьбы может привести только к одному — к новым жертвам.

существует тяжкий, но справедливый ответ: война в нашей стране велась на двух фронтах, и вторым фронтом была внутренняя война с мнимыми «врагами» народа.

Сталинград находится в эпицентре событий романа. Сталинград действительно на какое-то время стал главным городом мира, столицей мира. И, несмотря на то, что именно здесь идет самая кровавая битва Великой Отечественной, несмотря на то, что Гроссман пишет — почти документально — не только подвиги, но и страдание, ужас, кровь, — итоговое художественное обобщение носит светлый характер.

«Какие это были удивительные дни.

Крымову казалось, что книга истории перестала быть книгой, а волилась в жизнь, смешалась с ней».

Побеждает в Сталинграде не только мощь армии, но прежде всего дух народа: «Хороши были в Сталинграде отношения людей. Равенство и достоинство жили на этом, политом кровью, глинистом откосе». Не один раз возвращается Гроссман к мысли о родовой взаимосвязанности свободы и творчества, свободы и победы. Труднейшая научная проблема в сознании Штрума никак не поддавалась разрешению до того странного момента, когда он не почувствовал себя полностью от нее свободным, — тут-то и пришло озарение. Только свободные люди в состоянии защитить и отстаивать свою страну, свой дом. Именно поэтому мысли бойцов в Сталинграде устремлены в будущее — они, победители, ощутили себя наконец свободными людьми, ощутили свое достоинство. Они размышляют по-человечески благородно, по-государственному спокойно и свободно: «Почти все верили, что добро победит в войне и честные люди, не жалевшие своей крови, смогут устроить хорошую, справедливую жизнь. Эту трогательную веру высказывали люди, считавшие, что им-то самим вряд ли удастся дожить до мирного времени, ежедневно удивлявшиеся тому, что прожили на земле от утра до вечера».

В огромном, на протяжении всего романа развернутом диспуте решающим аргументом является право людей быть разными. «Человеческие объединения, — замечает Гроссман, — их смысл определены лишь одной главной целью, — завоевать людям право быть разными, особыми, по-своему, по-отдельному чувствовать, думать, жить на свете». Все, что унифицирует человека, подавляет его «разность», ставит под угрозу свободу народа в целом. Победить, «переиграть в бою врага» могут только свободные люди: «Эта громада ума, трудолюбия, удал и расчета, рабочего умения, злости, — это духовное богатство народных ребят — студентов, школьников из десятилеток, токарей, трактористов, учителей, электриков, водителей автотранспорта, — злых, добрых, крутых, смешливых, запевал, гармонистов, осторожных, медлительных, отважных, — соединится, сольется вместе, соединившись, они должны победить, уж очень богаты они».

Гроссман кладет в основу всей постройки принцип художественной свободы. Сращение народной освободительной войны с судьбой семьи обогащено авторскими отступлениями и философскими размышлениями. Беллетризм словно вращается в философию романа, а философия движет сюжет далее. Их неразрывное единство обеспечивает особую стилистику гроссмановского романа.

Гроссман пишет сознание пластично, показывая, как при столкновении с реальной действительностью разрушаются стереотипы; но он не утаивает и того, как потом опять стереотип подавляет проснувшееся, замерзавшее свободной мыслью сознание. Вот, скажем, Крымов присутствует на «творческих отчетах» снайперов в Сталинграде. «Всю жизнь Крымов высмеивал интеллигентских слюнтяев», но теперь сам не может не задумываться — даже в столь тяжелых условиях — о гуманизме: «Все же страшновато от разговоров снайперов, хоть они знают, ради чего совершают свое дело». А собеседнику своему он говорит совсем другое: «Христианский гуманизм в нашем деле не годится. Наш советский гуманизм суровый... Церемоний мы не знаем...». Безусловно, в отношении фашизма суровость права. Но при чем здесь «христианский гуманизм»? Тем более что, когда судьба Крымова делает еще один виток — Крымов отправляется с лекцией в знаменитый дом 6/1, — он не может вынести духовной свободы поведения Грекова, командира героически сопротивляющейся маленькой крепости, и пишет на него донос. Греков погибает, и только поэтому донос Крымова не приводит к тяжким последствиям. Но и Крымов не избегает участи того, на кого доносит, — сам становится жертвой голословного обвинения и попадает на Лу-

бянку. И только после мучительных допросов и побоев он начинает прозревать,— как Софья Петровна в повести Л. Чуковской, на собственной судьбе убедившаяся в ложности спасительного стереотипа «зря не сажают».

Пожалуй, самыми светлыми, самыми чистыми героями романа являются командиры танкового корпуса полковник Новиков и Евгений Шапошников, его любимая, в прошлом — жена Крымова. Огромное мужество проявляет Новиков не только в своей полководческой деятельности, но и в сопротивлении «указаниям сверху», в личном сопротивлении приказу Сталина о немедленном наступлении. Ради того, чтобы сохранить людей и технику, Новиков откладывает наступление на несколько минут, чем вызывает искреннее восхищение генерала Гетманова, комиссара его корпуса (в прошлом — секретаря обкома, в еще более дальнем прошлом — начальника областного НКВД). И тем не менее Гетманов с той же искренностью пишет на Новикова доклад о неподчинении прямому приказу. Но если бы Гроссман показал таких, как Гетманов или близкий ему по позиции Неудобнов, только с одной, служебно-исполнительской стороны, образы их были бы одноплановы. Автор рисует и уютнейшую сцену семейного застолья у Гетманова, рассказывает о его чадолубии, нежности к родственникам. пишет — изнутри своего героя — его понимание своей роли в событиях; и от этой «человечности» Гетманов становится еще более страшен.

До крайности сжатое время действия романа расширяется за счет включения предыстории героев, раскрывающей их социальную типичность. Такова и «история» Гетманова — не революционера ленинской закалки, а человека совсем другого поколения и другого «слоя», исполнителя железной воли, а не новатора, не борца. Будь он шофером, энкаведэшником или генералом, холуйско-доносительская основа характера останется неизменной.

Героев Гроссмана можно условно поделить на исполнителей и изобретателей. И те, и другие будут представителями разных поколений, разных социальных слоев. Их объединяет совсем другое, нежели возраст или происхождение. «Изобретателей» объединяет человечность («гуманизм») и талантливость, проявляющаяся в совершенно разных, даже головокруглительно различных сферах. Изобретатели — это полковник Новиков, «управдом» Греков, «властитель дум» майор Ершов, мечтательный лейтенант Викторов, физик Штрум, Сережа Шапошников, Евгений Николаевич; это безымянные танкисты, соединившиеся после окружения фашистской армии. Исполнители — Гетманов, Неудобнов, сотрудники института, мгновенно отрекающиеся от Штрума в дни опалы; это Крымов, Абарчук... Но и изобретатели могут превратиться в исполнителей. Так, Штрум после личного звонка Сталина буквально преображается, становится иным — счастливым, удачливым человеком; и, не задумываясь над ужасом совершаемого, подписывает письмо, по сути, направленное против ученых еврейской национальности. Его используют, как карту в игре. В то же время Соколов, которого Штрум пренебрежительно считал трусом, выстоял. Не подпал. Оказался не «исполнительным».

В романе дано развернутое исследование функционирования сталинизма практически во всех сферах общества. Гроссман создавал свой роман как своего рода «таблицу элементов Менделеева». Поразительно точно выбрана была писателем сама вершинная точка, с которой отчетливо видна структура,— Сталинградская битва. Это был момент высшего торжества народной войны и поворотный пункт истории, после которого Сталин, в первые дни войны деморализованный, стал ощущать себя победителем — хотя и очевидно, что народ и армия победили вопреки Сталину, а не благодаря ему. Его роль недовольного «кабинетного полководца», командующего по телефону из Кремля, отчетливо выписана в романе. Маршал С. Бирюзов в своих воспоминаниях пишет: «Сталин был Верховным Главнокомандующим, но войска н и к о г д а не видели его на фронтах, а сам он н и р а з у не лицезрел солдата в боевых условиях». Бирюзов замечает: «Не Сталин преподносил нам готовые рецепты, где, когда и как ударить противника. Планы нанесения этих ударов создавались коллективным умом многих людей — больших и малых военачальников. А осуществлялись они волей и негибким мужеством всего советского народа, воодушевленного ленинскими идеями защиты социалистического Отечества».

Данные о роли Сталина, «благодаря» которому советский народ понес невосполнимые потери, а кровопролитная война (только за июнь — сентябрь 1941 года армия потеряла

более 3 миллионов человек) затянулась на долгие четыре года, приводит публицист Э. Генри в своем «Письме «исторического оптимиста»». «Вряд ли в истории было много прецедентов политического банкротства такого масштаба,— заключает Э. Генри,— ...спас Сталина народ».

И Сталин отплатил народу полной мерой.

В Сталинграде, пишет Гроссман, решалась не только судьба страны в целом. Решалась судьба немцев-военнопленных, которые пойдут в Сибирь. Решалась судьба советских военнопленных в гитлеровских лагерях, которым воля Сталина определила разделить после освобождения сибирскую судьбу немецких пленников. Решалась судьба Михоэлса и его друга актера Зускина, писателей Бергелсона, Маркиша, Ферера, Квитко, Нусинова, чья казнь должна была предшествовать злодешнему процессу евреев-врачей, возглавляемых профессором Вовси. Решалась судьба Польши, Венгрии, Чехословакии и Румынии. Решалась судьба русских крестьян и рабочих, свобода русской мысли, русской литературы и науки.

Трудно, попросту невозможно, на мой взгляд, подыскать аналог сталинщине, ибо ее геноцид был направлен против собственного народа. Все эти процессы уничтожения не могли не приводить к оскудению, понижению духовного генофонда народа, а также, как следствие,— к поощрению и развязыванию в массе, в которую пытались превратить народ, темных, низменных сил, таких, как антисемитизм, как животная неприязнь к интеллигенции, которую сталинщина брезгливо именovala «прослойкой» и присвоила ей эпитет «гнилая».

К сожалению, нельзя не отметить, что достоинство интеллигенции грубо попирается и сегодня. В этом я вижу одно из неизжитых, глубоко укоренившихся последствий сталинщины (хотя предвижу, что сами последователи возмущенно от этого отрекутся). С каким гневным сарказмом, скажем, Т. Глушкова («Литгазета», 1988, № 12) рассуждает о «разнообразных поклонниках «интеллигентской» литературы», о «монополюльно-культуроносной интеллигенции». «Рафинированная «соль земли»,— нагнетает иронические модуляции критикесса. А если и впрямь задуматься — почему же это и Пушкина, и Достоевского, и Булгакова, и Платонова, да и Цветаеву (вызвавшую негодование у Глушковой тем, что, видите ли, повесилась в августе 41-го,— нет, чтобы объединить свою судьбу с народной!) — не назвать «солью» нашей земли? Не обидно будет ни для «земли», ни для «соли».

Еще раз отмечу: корешки пренебрежительного отношения к интеллигенции застарелые, сталинско-ждановские, насаждавшиеся, тиражируемые, в том числе и средствами кинематографа,— у М. М. Ромма Ленин в фильме «Ленин в 1918 году» так и заявляет Горькому: «Вот и получил я от вашей интеллигенции пулю».

Состояние затравленного, поднадзорного, вышибленного из жизни интеллигента, фронтовика, литератора описал Б. Ямпольский в романе «Московская улица». Нет, не «народ» и «интеллигенцию» противопоставляет в «Московской улице» автор, а палачей и их жертву, бездушных исполнителей, равнодушных обывателей и страдающего человека.

Ямпольский показал запах, цвет, атмосферу страха, поглощающего человека. Роман написан с точки зрения защиты личности в угрюмой среде сталинского общества, разразившего вседозволенностью. Вульгарный, низовой, массовый сталинизм, а не высшие эшелоны власти показаны в романе, действие которого происходит на режимной улице Арбат — улице, по которой вожьд просежал на близкую дачу: «старый Арбат жил не видной глазу, скрытой, режимной жизнью, где каждый дом, каждый подъезд, каждое окно инвентаризировано, за всеми следят, всех курируют». На внешний облик веселой торговой улицы словно брошена тень от «загадочной и молчаливой цепочки» топтунов, держащих ее под «высоковольтным напряжением».

С надеждами на то, что общество после войны задышит вольнее, было грубо покончено. Не столько «волновали режим» писатели Ахматова или Зощенко, сколько народ, который следовало одернуть, поставить на место. Люди, освободившие Европу, оказались несвободными в собственном доме на собственной «московской улице». Как сказал Иосиф Бродский, «смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою» («На смерть Жукова»).

Ямпольский дал емкую, сжатую, лаконичную, горькую формулу времени:

«Это было время коммерческих ресторанов, Сталинских премий, лакированных романов-близнецов, судов чести, ко-

* «Дружба народов», 1988, № 3.

торые в историю вошли как суды бесчестия, когда бездарность была синонимом благонадежности, бессилие крушило силу и вперед вырывались самые низменные, самые бесчестные, самые коварные, на престол поднимались мхи, и зима царила в стране моей».

Пахло «необратимой пустотой», замечает Ямпольский. В принципе эта несвободная жизнь не похожа ли на лагерно-барачную, так зримо описанную не сидевшим в лагере Гроссманом?

«Совместная жизнь настраивала всех на одну волну. Иногда в квартире стояла мертвая тишина, но стоило только кому-то закричать, как во всех комнатах начинался шум, все вспоминали обиды, оскорбления, боль...». Коммунальная квартира на Арбате — модель казарменной жизни, где роль «верховода» играет Свизляк, мужчина с мощными мускулистыми ляжками, обнимающими «канцелярский стул в мини-стереве», визитной карточкой которого является демагогическая фраза: «Где партия и правительство поставили, там и работаю». Свизляк терроризирует всю квартиру, намекая на то, что «проверит классовое происхождение Брокгауза», а не родственник ли он Брокгаузу и Ефрону, которые выпустили небезызвестную энциклопедию?». Свизляк не был на фронте, благополучно проведя годы войны в эвакуации. Вся его сила сосредоточена на «кончике пера», то есть на доносах, которые и были одной из движущих сил сталинского режима.

Законом жизни стало то, что автор называет снесатым жертвоприношением. Психозы подозрительности налетают с периодичностью природных явлений. В кампаниях, сменяющих кампанию («и каждая последующая была тотальнее, всеобъемлющее, беспощаднее и нелепее, чем все предыдущие, вместе взятые»), нагнетается «атмосфера виновности, всеобщей и каждого в отдельности виноватости, которую ничем никогда не искупить. Надо все время чувствовать себя виноватым, и виноватым, и виноватым, и покорно принимать все наказания, все проработки, все приговоры».

Итак, все должны чувствовать себя виноватыми — вот закономерность, которую вырабатывает действительность террора, втягивая в себя все новых и новых людей; не только тех, кто прямо спускал или исполнял приказы, не только тех, кто писал доносы, но и тех, кто печатал на машинке, выпускал газеты, убирал улицы, «досматривал» или, только догадываясь, молчал.

В связи с этим наш современный спор о том, все ли должны сегодня нести вину за прошлое, мне представляется навязанным наследием тех времен. Тогда все должны были ощущать свою вину — и теперь все пусть будут виноваты.

Нельзя народ, против которого велась необъявленная война, делать виноватым и сегодня. Иначе мы никак не выберемся из той страшной ловушки, в которую нас и пытались втянуть. Насаждаемое чувство вины и порождает страх, от которого не могло и до сих пор окончательно не может избавиться общество.

Герой Ямпольского оказывается в «заколдованном круге», чуть ли не заболевает манией преследования, но это не мания, а реальное преследование; и вот уже дворовая собака вызывает в нем резкое чувство зависти к ее «свободе».

Всего только одна ночь преследования — и чувство удивления сменяется чувством полной апатии и усталости, равнодушия к собственной судьбе. Все происходит на фоне такой, казалось бы, мирной, обыденно текущей действительности — с пионерами, сборщиками макулатуры, со звонками из учреждения, с суетой и очередью в гастрономе, но все это так похоже на игру в «кошки-мышки середины XX века». Человек ощущает свою полную беззащитность. Он находится в «другом мире», даже стоя в очереди за колбасой: «Я шел и шел, словно сквозь подводный мир безмолвия, под огромным давлением километровой толщи воды». В этом состоянии преследования психологические ощущения человека резко деформируются.

В уже упоминавшейся мною выше статье «Куда ведет «ариаднина нить»?» Т. Глушкова высокомерно и голословно отделяет страдания столь неприятной ей «интеллигенции» от страданий народных, в том числе и «крестьянского» поэта С. Клычкова. На самом же деле эти страдания, эти мучения были одного рода, одного порядка, одного происхождения. Приведу лишь стихотворение С. Клычкова, напечатанное в «Литературной газете» 13 мая 1929 года — года «великого перелома», начала сплошной коллективизации, разгрома «кулацких» поэтов. Поразительно психологическое совпадение ощущений «барда кулацкой деревни», как его заклемили,

и городского интеллигента, героя романа Ямпольского (хотя их разделяет целых двадцать лет):

Меня раздели донага
И доверной были,
На лбу приделали рога
И хвост гвоздем прибили...

Пух из подушки растрясли
И вывалили в дегте,
И у меня вдруг отслали
И в самом деле... когти...

И я вот с парюю клешней
Теперь в чертей не верю,
Узнав, что человек страшней
И злей любого зверя!...

Эти слова, этот крик исторгся только после «длинных, темных собраний, собраний-боен, собраний-душегубок, собраний, на которых шло быстрое обесчеловечивание людей, собраний куриц, сороконожек, божьих коровок, собраний тли» (Ямпольский). Чувство вины «ывалянного в дегте» человека, «растворенное, как адреналин в крови», — и порождает странное, фантазмагорически-гротескное ощущение себя несбываемым «чудищем»*. К этому ощущению, к потере лица человеческого не только у палачей, что было бы естественно, но и у жертв настойчиво вели инсценировки на «процессах» и планомерные кампании по «вовлечению» все новых и новых, свежих участников происходящих в стране массовых «осуждений». Требовалась невероятная сопротивляемость личности для того, чтобы отказаться принимать в этом участие. Отказаться санкционировать. Отказаться поставить подпись под гневным осуждением «врагов народа». Вспомним еще раз гроссмановского Штрума, избитого многих ловушек, но вдруг испугавшегося, споткнувшегося и подписавшего пресловутое письмо. И вспомним Софью Петровну, по порыву души робким словом своим попытавшуюся защитить от навета машинистку, допустившую «политическую» опечатку... И вспомним десятки советских писателей, горячо клеймивших «выродков» и «убийц», «подкулачников» и «подпсвал». Многие из них, как, скажем, Михаил Кольцов, сами потом оказались жертвами произвола.

Проза, приходящая со страниц журналов к читателю сегодня, заставляет горько размышлять об этом. Но правда не может быть односторонней, она должна восстанавливаться во всей полноте, во всех своих правах. И надо отдать должное писателям, в нелегких условиях эту правду для нас бесстрашно добывавшим.

Ольга Романовна Трифонова-Мирошниченко, вдова писателя Юрия Трифонова, рассказала мне: когда она путем долгих мытарств добилась того, что ей показали «дело» Валентина Андреевича Трифонова, отца писателя, расстрелянного в 1938 году, в папке под грифом «хранить вечно» оказалось всего два листочка. Все остальное было благоверно уничтожено. Но Юрий Трифонов смог восстановить образ отца в документальном повествовании «Отблеск костра». Литература и история в России издревле развивались в неразрывном единстве. Способные воскрешать прошлое, они приносят в нашу действительность выстраданную заповедь: хранить вечно.

* Хочу напомнить карикатуру Бор. Ефимова из газеты 1937 года: Бухарин, названный на процессе А. Вышинским «помесью лисицы и свиньи», изображен вместе с Троцким в виде злобно оскаленного звероподобного двуголового существа — с копытами, длинными ушами, хвостом и... когтями, с которых капает кровь.

Никем не подсчитано, какую часть от общего классического музыкального наследия составляет музыка духовная. Несомненно одно — гораздо большую, чем мы привыкли считать. Сегодня к нам возвращаются многие непреходящие ценности — романы, стихи, картины, скульптуры...

А как быть с музыкой? В частности, с духовной, которая у большинства уже давно «не в счет»?

«У нас общая история, одно Отечество и одно будущее», — сказал М. С. Горбачев на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Пименом и членами Синода Русской православной церкви, состоявшейся в конце апреля в Кремле.

Так, может быть, празднование 1000-летия введения христианства на Руси поможет нам вслушаться в музыку, которая призвана была не только увещевать, но и очищать, утешать, возвышать, и ее шедевры займут достойное место в отечественной культуре дней сегодняшних и грядущих?



На снимках (слева направо):
А. Д. Кастальский (1856—1926),
Д. С. Бортнянский (1751—1825),
П. Г. Чесноков (1877—1944),
П. И. Турчанинов (1779—1856).

Виктор ШКАБУРИН

ДА ПОСТЫДЯТСЯ И ИСЧЕЗНУТ...

В начале нашего века по всей стране шел сбор средств на создание в Петербурге памятника трем популярнейшим в народе русским композиторам. В печати обсуждались уже различные проекты памятника, ни один из которых так и не был осуществлен из-за начавшейся в 1914 году первой мировой войны. Кого же из русских композиторов народ считал самыми любимыми?

Уверен, что и самые эрудированные знатоки из клуба «Что? Где? Когда?» не смогли бы назвать их имена. Не М. И. Глинке, М. П. Мусоргскому, П. И. Чайковскому собирались воздвигнуть памятник наши предки, а позабытым ныне Д. С. Бортнянскому, А. Ф. Львову и П. И. Турчанинову. Если первое имя все-таки известно любителям музыки, то остальные два мало что говорят и музыкантам-профессионалам. А причина их широкой популярности в прошлом и почти полного забвения в наши дни — одна и та же: большую часть творчества этих композиторов составляет духовная музыка, предназначенная для исполнения в церкви.

В дореволюционной России оперные театры и симфонические оркестры, исполнявшие произведения наших всемирно известных композиторов, были далеко не в каждом крупном городе, храмы же украшали даже самые отдаленные села.

А в этих храмах из года в год по всей России звучала замечательная хоровая музыка. (До сих пор про хорошее пение в народе говорят: «Поют, как в церкви».) Неграмотные крестьяне знали и любили великопостные песнопения Турчанинова «Тебе одоющегося», «Благообразный Иосиф», «Да молчит всякая плоть». Везде пелись его праздничные «Задостойники». Непременным украшением торжественных служб были духовные концерты Бортнянского, семь его «Херувимских», гимны «Тебе Бога хвалим», «Единородный Сыне», «Достойно есть» и другие.

А. Ф. Львов был известен как составитель полного годового круга четырехголосных церковных песнопений, к работе над которыми он привлек талантливых композиторов-хормейстеров Г. Я. Ломакина и П. М. Воротникова. Лучшие сочинения самого Львова, чуждые внешним эффектам, такие, как «Достойно есть» или «Вечери Твоя тайная», до сих пор исполняются за православным богослужением, так же как и произведения Бортнянского, Веделя, Турчанинова, Кастальского, Чеснокова. А сколько существует у нас прекрасных обиходных и монастырских распевок, являющихся по существу созданием народа, передававшихся из уст в уста многими поколениями наших предков! Лишь в прошлом столетии наиболее известные из них легли в основу

композиторских обработок и переложений. Многие же по-прежнему сохраняются лишь в устной традиции, а некоторые — увы! — утрачены навсегда.

Понятно, что в первые годы Советской власти все связанное с церковью ассоциировалось с самодержавием и реакцией, а следовательно, — в качестве такового — активно отвергалось. Но ведь эти времена давно прошли!

Давно уже оценена по достоинству глубокая духовная красота русских икон. Всеми отдается дань восхищения храмовой архитектуре — этой «музыке, застывшей в камне». И только живая музыка, звучащая под сводами этих храмов, все еще продолжает оставаться под негласным запретом. К счастью для нашей культуры, она не уничтожена безвозвратно, как это случилось со многими отечественными памятниками архитектуры. Она по-прежнему звучит в православных храмах. Она сохранилась в частных библиотеках любителей русской старины, одним из которых был академик Б. В. Асафьев, оставивший ценнейшее собрание духовно-музыкальных сочинений русских композиторов (в частности, все выпущенные до революции произведения А. Д. Кастаньского и П. Г. Чеснокова), хранящиеся ныне в музыкальных фондах Ленинской библиотеки.

Она начинает проникать и в репертуар государственных хоров, хотя круг исполняемых авторов весьма и весьма ограничен. Ничего удивительного: за последние полвека из огромного моря русской духовно-музыкальной литературы XIX—XX веков у нас было издано с подлинным текстом всего одно(!) произведение — духовный концерт С. Рахманинова «В молитвах неусыпающую Богородицу» (Москва, «Музыка», 1972 год) тиражом 1100 экземпляров. А ведь даже в двадцатые годы издание духовной музыки не считалось чем-то недопустимым. Во всяком случае, «Всенощное бдение» С. Рахманинова в то время было дважды издано Государственным музыкальным издательством — в 1919 и 1922 годах.

Долго висели запреты над исполнением духовной музыки. Если иногда и удавалось каким-то образом обходить их, то приходилось зашифровывать, скажем, «Литургию Иоанна Златоуста» Рахманинова под нейтральным названием «Семь хоров». Основные номера «Литургии» в исполнении камерного хора под управлением В. Минина были выпущены фирмой «Мелодия» с этим обезличенным названием еще в 1981 году, причем в сопроводительной аннотации ни словом не упоминалось, что хоры эти имеют какое-либо отношение к знаменитой «Литургии». Может быть, поэтому грамзапись не исчезла молниеносно с прилавков магазинов (в отличие от «Всенощной» Рахманинова в исполнении Ленинградской капеллы под управлением В. Чернушенко), и ее до сих пор может купить любой желающий, которому известно, что скрыто за таинственным шифром «соч. 31».

Другой способ состоял в изменении не только названия, но и самого текста, когда на место древней духовной поэзии, являющейся достоянием мировой культуры, подставлялись наспех подогнанные вирши, зачастую даже не согласованные со структурой музыкальных фраз.

Так, в знаменитом духовном концерте № 18 М. Березовского (1745—1777) «Не отвержи мене во время старости» заключительная fuga

Да постыдятся и исчезнут
Оклеветающие душу мою

распевалась на текст:

Прогонит ветер мглу ненастья.
Заря сияющая счастья взойдет.

Окончание пасхального концерта № 15 Д. Бортнянского «Приидите, воспоим людие», имевшее в оригинале текст:

Распниися и погребѣиися и воскресѣи,
спаси ны воскресениемъ Твоимъ,
едине Человеколюбче!

стало изображать широко развернутую картину наступающего утра:

....Ликует озаренная земля.
И птичьим гомоном веселым
Встречая день, земля ликует!

Гимн Д. Бортнянского «Единородный Сыне» превратился в бодрую песенку «Славу поем мы солнцу», а «Тсбе поем» из «Литургии» Рахманинова переименовали в «Тихую мелодию» и исполняли вообще без слов.

Можно ли представить себе, чтобы, скажем, в Германии мессы, кантаты или «Страсти» Баха пелись на какой-то новый текст, написанный современным, пусть даже и неплохим поэтом? Можно ли представить «Реквием» Моцарта, исполненный без слов?

Такое кощунственное искажение музыкальных шедевров сравнимо с уродованием в 30-е годы архитектурных памятников, когда храмы, уцелевшие от разрушения, рекомендовано было «приводить в некультовый вид», для чего варварски сносились колокольни и купола, а наружные украшения ничтожно стесывались. Обезображенные останки таких храмов можно и сегодня встретить на улицах наших городов. Пробудившееся ныне общественное сознание безоговорочно осудило эту широко распространенную в недавнем прошлом практику, которая представляется нам теперь чуть ли не диверсией против русской культуры.

Но разве не в одном ряду с уничтожением памятников архитектуры стоит исключение из нашего культурного обихода целой области музыкального искусства? Разве можно мириться с тем, что от нас скрываются духовные сокровища, могущие составить славу и гордость любой страны? Разве нормально, что советские музыканты, даже хормейстеры, окончившие консерваторию, зачастую не имеют понятия о музыке композиторов, имена которых были до революции известны в любом уголке России?

В музыкальной печати промелькнуло сообщение, что к 1000-летию крещения Руси Русское хоровое общество США издает хрестоматию по русской духовной музыке в 40 томах! А чем откликнулся наш музыкальный мир на празднование этого знаменательного для русской культуры события, способствовавшего формированию и быстрому расцвету древнерусской литературы, живописи, архитектуры и певческого искусства? Когда же нам станет хотя бы стыдно за то, что зарубежные музыковеды во всем мире проявляют к нашей духовной музыке огромный интерес, а сами мы не испытываем ни малейшего беспокойства о собственном духовно-музыкальном наследии, о престиже отечественной музыкально-исторической науки в области исследований родной музыкальной культуры! Чем иначе можно объяснить, что в России до сих пор нет Института русской музыки, в то время как при каждой из Академий наук остальных союзных республик существуют специальные институты по изучению фольклора и профессиональной музыки; что кафедра истории русской музыки Московской консерватории — единственная специальная кафедра в стране; что во всех музыкальных вузах Советского Союза всего 22 музыковеда занимаются исследованиями по истории русской музыки?

Древнерусскому музыкальному искусству все же уделяется музыковедами какое-то внимание (хоть и явно недостаточное, как отмечалось на Втором слете русских медиевистов). Но духовная музыка XIX—XX веков для нас настоящая terra incognita. Более того, даже и светские произведения композиторов-классиков, написанные на стихи современных поэтов, исключались из наших изданий, если в них встречались упоминания о Боге или вообще любые поэтические выражения, облеченные в религиозную форму.

Так, знаменитый хоровой цикл С. И. Танеева «Девять хоров на стихи Я. Полонского» на самом деле состоит не из девяти, а из двенадцати хоров. Правда, хор № 5 «На корабле» позднее был включен в сборник избранных хоров Танеева, однако с «исправленным» финалом: вместо оригинального

Господь, благослови грядущий день!

рекомендовано было петь

Привет, привет тебе, грядущий день!

Только недоумение может вызвать изъятие стихов, рисующих поэтическую картину мироздания в хоре № 7:

Из вечности музыка вдруг раздалась,
И в бесконечность она полилась,
И хаос она на пути захватила,
И в бездне, как вихрь, закружились светила:
Певучей струной каждый луч их дрожит,
И жизнь, пробужденная этою дрожью,
Лишь только тому и не кажется ложью,
Кто слышит порой эту музыку Божью,
Кто разумом светел, в ком сердце горит.

Между тем хор на эти стихи исключался из всех советских изданий цикла, и только в последнем (С. Танеев. Хоры, соч. 27, Москва, 1978 г.) был, наконец, опубликован в числе

одиннадцати хоров на стихи Я. Полонского. Будем надеяться, издадут и последний оставшийся хор № 6 «Молитва», само название которого, вероятно, смущает редакторов¹, хотя заканчивается он прямым призывом к борьбе:

Боже! Спаси Ты от всяких цепей
Душу проснувшуюся и ужаснувшуюся
Мрака и зла и неправды людей!

Вставших на глас Твой услыши мольбу!
И цепенеющую, в лени коснеющую
Жизнь разбуди на святую борьбу!

На эти стихи Я. Полонского написана С. И. Танесвым глубоко философская музыка, воспаряющая в симфонические сферы хорового письма и принадлежащая, как и другие номера этого цикла, к высочайшим вершинам нашего национального хорового искусства.

Так почему же русская духовная музыка по-прежнему сокрыта в труднодоступных запасниках библиотек и музеев? Почему даже те немногочисленные духовно-музыкальные произведения, которые пробиваются на концертную эстраду, крайне редко (и мизерными тиражами) записываются на грампластинки, почти никогда не транслируются по радио и телевидению и совершенно игнорируются музыкальными издательствами? Почему у нас существуют замечательные ансамбли, специализирующиеся на исполнении старинной (опять-таки преимущественно светской) западноевропейской музыки, не говоря уже о бесчисленных рок-группах по западным образцам, а создание коллективов, пропагандирующих отечественную духовную музыку, считается явно нежелательным? Неужели только боязнь религиозного воздействия не позволяет сделать ее всенародным достоянием? Но запретами можно добиться обратных результатов: ведь любители старинной русской музыки, не имеющие возможности слушать ее на концертной эстраде, всегда могут утолить свою духовную жажду в церкви, где воздействие хорового звучания усиливается акустикой и интерьером храма, образительным рядом икон, особым глубоко сосредоточенным молитвенным состоянием прихожан — всем строем богослужения, синтезирующего различные виды искусства. При этом культовые сооружения — храмы — и культовая живопись — иконы — считаются достоянием государства и находятся под его охраной, и только культовая музыка совершенно бесправна и беззащитна, как будто она не является великолепным памятником национальной культуры.

Может быть, стоит подумать о создании секции музыкальной старины при Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры? Существуют же у нас многочисленные клубы самодетельной песни, клубы поклонников А. Пугачевой, В. Лесотьева, различных рок-групп, не говоря уже о всевозможных неформальных объединениях, официально зарегистрированных и действующих в рамках советских законов. Почему бы и любителям русской духовной музыки не объединиться для возвращения ее в современный культурный обиход?

Сколько же радостных открытий ожидает нас в скором времени! Ведь, кроме неизвестных духовных произведений знаменитых русских композиторов М. И. Глинки, М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, нам до сих пор неведомы целые собрания духовно-музыкальных сочинений Д. С. Бортнянского и А. Л. Веделя, П. И. Турчанинова и А. Ф. Львова, В. С. Калинникова и Н. Н. Черепнина, А. Д. Кастальского и П. Г. Чеснокова.

Последние два композитора известны как авторы многочисленных обработок русских народных песен, немногих, но выдающихся светских хоровых произведений. Между тем большая и ценнейшая часть их творчества сосредоточена в сфере духовной музыки. То, что эти композиторы посвятили свое творчество исключительно хоровому искусству, насколько не умаляет их заслуг перед отечественной культурой, как не умаляет мировой славы «поэта фортепиано» Шопена отсутствие в его наследии опер и симфоний.

Справедливая оценка творчества русских композиторов, работавших в сфере духовной музыки, позволит поставить их имена в один ряд со всемирно известными именами наших великих мастеров.

¹ Такое же название носила и пересмешанная в «Хор» заключительная пьеса из «Детского альбома» П. И. Чайковского, использовавшего в ней церковные песнопения 6-го гласа.

Николай ГУМИЛЕВ

Душа и тело

I
Над городом плывет ночная тишь
И каждый шорох делается глуше,
А ты, душа, ты все-таки молчишь,
Помилуй, Боже, мраморные души.

И отвечала мне душа моя,
Как будто арфы дальние пропели:
«Зачем открыла я для бытия
Глаза в презренном человеческом теле.

Безумная, я бросила мой дом,
К иному устремляюсь великолепию,
И шар земной мне сделался ядром,
К какому каторжник прикован цепью.

Ах, я возненавидела любовь,
Болезнь, которой все у вас подвластно,
Которая туманит вновь и вновь
Мир мне чужой, но стройный и прекрасный

И если что еще меня роднит
С былым, мерцающим в планетном хоре,
То это горе, мой надежный щит,
Холодное презрительное горе».

II
Закат из золотого стал как медь,
Покрылись облака зеленой ржою,
И телу я сказал тогда: «Ответь
На все, провозглашенное душою».

И тело мне ответило мое,
Простое тело, но с горячей кровью:
«Не знаю я, что значит бытие,
Хотя и знаю, что зовут любовью.

Люблю в соленой плескаться волне,
Прислушиваться к крикам ястребиным,
Люблю на необъезженном коне
Нестись по лугу, пахнущему тмином.

И женщину люблю... когда глаза
Ее потупленные я целую,
Я пьяно, будто близится гроза,
Иль будто пью я воду ключевую.

Но я за все что взяло и хочу,—
За все печали, радости и бредни,
Как подобает мужу, заплачу
Непоправимой гибелью последней».

Рыцарь счастья

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.

Пусть он придет, я расскажу ему
Про девушку с зелеными глазами,
Про голубую утреннюю тьму,
Пронзенную лучами и стихами.

Пусть он придет! я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.

А если все-таки он не поймет,
Мою прекрасную не примет веру
И будет жаловаться в свой черед
На мировую скорбь, на боль — к барьеру!

Л. ЛАГИН

(1903—1979)



Как-то Лазарь Иосифович Лагин сказал: «Одни люди вносят в общее дело свою лепту, другие — свой лепет». Сам он принадлежал именно к первым. И его литературная лепта весьма существенна. Л. Лагин писал афоризмы (см. выше), сценарии мультфильмов (см. «Шпионские страсти» и «Жил-был Козявин»), памфлеты (чит. «Белокурую бестию»), романы и повести, самая известная из которых «Старик Хоттабыч». Еще он очень любил сочинять сатирические сказки, которые назвал обидными.



Прометей, как известно, титан. С точки зрения демографической титан — сын бога и смертной женщины. Полукровка. А полукровки, с точки зрения биологической, личности талантливые и способны на разные поступки, довольно часто — благородные.

Прометей в свое время крупно проштрафился: он похитил огонь с Олимпа и отдал его людям. То есть, конечно, не весь огонь. Его осталось на Олимпе неспроворот, на всех богов во как хватало! Но и на Олимпе были против того, чтобы люди даже понятие об огне имели.

Почему так? А так.

Стали с тех пор люди всю пользу звать огнем: разводили костры, освещали и отапливали жилища, варили, парили и жарили пищу, плавил руду, жарили еретиков и т. д. и т. п.

Что же имел со своего благородного поступка отважный титан Прометей? Ни шиша хорошего.

Денег он, конечно, с людей за огонь не взял. Деньги ему как титану были ни к чему. Да их еще в ту пору, кажется, и на Земле не было. Ради денег стал бы он рисковать шкурой? Нет, он просто хотел оказать человечеству ценную услугу, облегчить условия его жизни, ускорить прогресс.

Словом, он решился на свой отчаянный подвиг исключительно ради счастья человечества.

Но ему это, как известно, даром не прошло. Зевс приказал отвезти мятежного титана на Кавказ, на гору повыше, приковать тяжелой цепью к скале с тем, чтобы в установленные сроки прилетал орел и клевал у Прометея печень. Все это с чисто воспитательной целью: чтобы никому больше не повадно было расхищать божественную собственность. И чтобы вообще была дисциплинка. Чтобы никто не осмеливался ослушиваться богов.

Любопытно, что приковал Прометей к скале крепко-накрепко его хороший знакомый — хромо́й бог, некто Гефест. Конечно, ему было довольно совестно перед Прометеем, и он все приговаривал и извинялся, приговаривал и извинялся. И все валял на Зевса, на его приказ. Дескать, Зевс приказал, он и приковывает. Поскольку лично ему, Гефесту, как раз не повадно ослушаться Зевса. Оказывается, лично он не любил, чтобы его приковывали к скале.

Он и в дальнейшем, на первых порах довольно часто, по-дружески навещал Прометея, проверить, не пора ли цепям текущий ремонт провести. И каждый раз извинялся до слез.

И прошло много-много лет. Древние греки свое время отжили. Другие появились греки, не древние. Давно уже перестали прилетать орлы — поклевать Прометееву печень. Стали вместо себя ворон присылать. Поклюют вороны насчет печени, и айда восвояси.

А Прометей, бедняжка, стоит себе на своей скале, как ржусь на часах. Только цепью изредка зазвонит. Смотрит вниз, в долину. А долина (когда-то она пустая была, люди по пещерам прятаясь) сейчас вся огнями Прометеевыми светится — факелы, костры, окошки в домах, огонь в доменных печах и хлебопечкарнях. Прометей все это в радость. Вкусные запахи, огнем рожденные, доносятся из долины — варева, жареного мяса, свежепеченного хлеба, — и снова Прометей радуется: не зря он пошел против всего Олимпа. Приятно, люди его огнем вовсю пользуются. Горю, горю ясно, чтобы не погасло!

Жаль только, плохо голоса различить за далью расстояния. Что-то вроде про Прометея говорят, а что именно — не разберешь.

И хорошо, что не разберешь.

Бабы собрались, про Прометея языки чешут.

Одна баба говорит: «Прямо беда с Прометеевым огнем! Только и думай, как бы котлеты не подгорели. Куда как хорошо было в старые времена, еще до этого Прометея! Отгорвешь, бывало, сколько надо сырого мяса и жуй себе на здоровье... И витаминное больше в сыром мясе, и стряпать не надо... Посолишь, бывало, слезами, и кушай на здоровье... А то отбивай ее, проклятую, да вываливай в сухарях, да переворачивай еще с боку на бок... Да еще когда она поддумывается...»

Другая соседка возмущается: «А пожары?.. Только зазевайся, и все горит синим огнем — и мебель, и дубленки... Прямо хоть не разводи этот чертов огонь! До Прометея, небось, и пожаров никто не знал... А сколько уходит денег на страховку от огня!.. Ребенка одного дома не оставишь... Прабабка мне рассказывала: уйдут, бывало, с прадедом в гости, а ребята остаются одни в пещере. И никакой не было пожарной опасности... Разве что забредет изредка в пещеру саблезубый тигр...»

А третья соседка на правовую сторону вопроса напирает: «А я вам так скажу. Хочешь — не хочешь, а с точки зрения уголовного права, похищение огня — заурядное хищение чужого имущества. Порядочный титан, небось, ничего не позволит себе похитить — ни огня, ни чего другого. Воровать огонь! Фи!.. Сегодня огонь украдет, завтра — амброзию с божественного стола, послезавтра весь Олимп оставит без хитонов, в чем мама родила!..»

Все эти разговоры до Прометея, слава Зевсу, не долетают. Зато он видит — служит его огонь людям, и Прометей счастлив.

Проедет мимо той скалы на верном своем осле какой-нибудь путник, поздоровается равнодушно с Прометеем:

— Здорово, титан? Как печень?

А Прометей отвечает:

— Лучше всех!..



Жил старик по имени Матвей. Жил неплохо. Скажем больше, жил хорошо. Даже лучше, чем ему позволяли средства.

Вот Матвей как-то утром проснулся, и что же он видит! Он видит, куры у него стали деньги клевать. То все не клевали — не клевали, а тут вдруг как за клюют!

«Господи,— думает Матвей,— хоть бы тут поблизости море какое оказалось. Я бы тогда в то море закинул невод, вытащил бы Золотую рыбку и кардинально поправил свое пошатнувшееся материальное положение».

Смотрит, а у самых его ног волны плещут. Матвей моментально закинул невод в те волны и вытащил Золотую рыбку.

А Матвей был хорошо грамотный, Пушкина любил с детских лет, а особенно «Сказку о рыбаке и рыбке». Он ее, наверно, миллион раз прочел. Наизусть помнил.

Все-таки для верности решил уточнить.

— Ты,— спрашивает,— та самая Золотая рыбка?

— Та самая. И я уже знаю, что у тебя с сего утра куры стали деньги клевать. Надеюсь, ты усвоил основную идею знаменитой сказки Александра Сергеевича?

Матвей говорит:

— Еще как!

— Значит,— это уже рыбка говорит,— нечего нам с тобой зря время переводить. Я исполню одно твоё желание, а ты меня за это в море отпусти. Только хорошенько подумай. Я после той мутной истории с известной тебе Старухой только одно желание выполняю. И только один раз... Говори же свою мечту, поторапливайся. Мне на воздухе кислорода не хватает.

Матвей спрашивает:

— А уточнить можно?

Рыбка говорит:

— Уточняй. Только побыстрее!

Матвей спрашивает:

— Деньги просить можно?

Рыбка говорит:

— Конечно, можно. Сколько?

Матвей спрашивает:

— А сколько можно?

Рыбка говорит:

— Поторапливайся, Матвей! Мне трудно дышать. Уточняй, и дело с концом!

Матвей говорит:

— А я и уточняю. Сто рублей можно? Это я еще не прошу, а только уточняю.

Рыбка его торопит:

— Дать тебе сто рублей? Дать или нет?

Матвей спрашивает:

— А двести? Я пока еще не прошу, а только уточняю.

Рыбка его пуще прежнего торопит:

— Не томи, человек! Сказывай, сколько!..

А Матвей начитанный, знает, что рыбка от него не имеет права ускользать, пока его желание не выполнит. Ничего ей, думает, не сделается, потерпит.

Он говорит:

— А если, скажем, пятьсот рублей, как тогда?

А Золотая рыбка не отвечает. Глянь, у нее уже глаза заволокло, и она уже в руках его не трепещет. Раскрыла, бедная, рот да так и не запахнула.

— Ладно,— уж только на всякий случай говорит Матвей,— давай пятьсот — и по рукам.

А сам понимает, что плакали его денежки, что Золотая рыбка уснула, а по-научному выражаясь, отдала концы.

Вздыхнул Матвей, зашвырнул Золотую рыбку в море подальше, а сам поплелся домой.

Ему что. Присмирел. Стал жить по средствам. Счеты завел. Костяшками на счетах пощелкивает, подведет баланс и живет совсем неплохо. И куры у него уже давно снова денег не клюют...

Рыбку жалко!



Одна вполне почтенная гражданка лет пятидесяти с гаком как-то ночью проснулась в холодном поту. Ей приснился страшный сон. Будто бы она лежит на диване и читает какой-то серьезный роман про двойную итальянскую бухгалтерию. И вдруг распахивается дверь, вбегает некто Вася, красивый такой паренек, товарищ ее сына-студента, и прямо как есть, в пальто и калошах, кидается обнимать ту почтенную гражданку (ее звать Маргарита Капитоновна), осыпает ее страстными поцелуями и начинает домогаться ее любви.

Конечно, та гражданка как порядочная женщина возмущенно его от себя отталкивает и моментально просыпается вся в слезах. Муж ее, Порфирий Кононович, человек чуткий и нервный, тоже просыпается, спрашивает, в чем дело, почему среди ночи слезы. А она молчит. Плачет от унижения. Прямо-таки в три ручья рыдает. Плачет и думает: «Что же он за нахал, этот юный красавчик Вася! Разве можно так злоупотреблять нашим гостеприимством!.. Кидаться на мать своего коллеги!.. Это ж что-то! Ну и ну, теперешняя молодежь!..»

Вскорости она снова уснула. И снова видит сон. Будто лежит в постели, еле одетая, и читает роман из жизни змеоткормочных ферм, и вдруг снова врывается красавчик Вася, снова хватается ее в свои юные, но в то же время могучие объятия и шепчет горячо, прямо-таки обжигает ухо:

— Дорогая Риточка, будьте моею! — и добавляет по-французски: — Сильвупле!

Почтенная женщина уже почти без сил отпихивает преступного обольстителя. Презренный Вася пытается сорвать с нее одеяло, но не тут-то было. Маргарита Капитоновна снова просыпается вне себя от возмущения. — и что же она видит? Одеяло, как его Вася стянул, так и валяется на паркете, а она снова вся в слезах.

— Ну, и молодежь нынче пошла! — думает она, дрожа от негодования. — Ведь я ему в матери гожусь!.. Никакого,— думает,— стыда у современной молодежи!..

С такими благородными душевными восклицаниями она кое-как дотянула до утра.

А тут как раз тот разнужданный Вася приходит к ее сыну, чтобы вместе идти в свое высшее учебное заведение то ли на лекцию, то ли на семинар. Приходит, с сыном Маргариты Капитоновны, хи-ха-ха-ха!.. Будто ничего и не было.

А она ему с немим укором в глаза смотрит, головой качает. Дескать, ай-ай-ай, молодой человек, одумайтесь!

А он, представьте себе, хотя глаза от ее взгляда и отводил, но, как показали ближайшая ночь и ее сновидения, надлежащих выводов для себя не сделал. Четыре раза той ночью вел себя аморально.

Поплакала с досады та почтенная гражданка, поплакала, плюнула и подала на Васю в деканат.

И поделом!.. Не снись!..

Публикация Н. ЛАГИНОЙ.

Рисунки
И. Оффенгендена

Олег МОЛОТКОВ

О классиках

Решился я и первый раз
принес в редакцию рассказ.

Редактор, сам мужик простой,
сказал, что я не Лев Толстой.

Я промолчал, подумав,
что он не Добролюбов.

Ты — мне...

В суровой жизненной борьбе
дубленку я достал тебе.

А ты сказал своей жене:
она — для дачи краску мне.

Я достаю ему «Москвич»,
а он мне — доски и кирпич.

Жизнь человеческих существ,
по существу, обмен веществ.

Юмористическое

Из гонораров не шить ему шубы.
Он утешается смехом искристым.
Если сатирику выбили зубы,
мы называем его юмористом.

Пародия

Николай ШАМСУТДИНОВ

ТРИЕДИНСТВО

Прощай, Москва (Мадрид, Париж...)
Глеб ГОРБОВСКИЙ

Я потерял свое лицо!
Где? В кегельбане (баре, бане)?
Но съел омлет (бекон, яйцо)
В кафе (столовой, ресторане).
И — вновь прекрасна жизнь с утра!
Я жажду счастья (смеха, песен).

О «ведах» и «водах»

Потому-то с мясом беды
и с искусством лишь заботы,
что у нас животноводы,
что у нас искусствоводы.

Любимое

Один вопрос сто раз в течение дня:
«Любимый мой, ты любишь ли
меня?»

Поэт со стоном падал на кровать:
«Что об одном и том же толковать?!»

Но написал, за строчку по рублю,
сто тысяч раз: «Я Родину люблю!»

Автоэпитафия

Себе отказывая в пище,
я в год откладывал по тыще,
чтоб через два десятка лет
сел в свою «Волгу» мой скелет.

Боготворное

Нет давно на нас креста,
нет апостолов, Христа
и святых любого сорта.
А угодников — до черта!

г. Саратов

Забыты грусть (тоска, хандра),
И я активен (молод, весел).
Перо (топор, стил) достал,
А там скорее, между нами,
В газету (альманах, журнал)
С романом (драмою, стихами).
Текут слова на белый лист...
Восторг (волнение, блаженство)!
Зоил (редактор, пародист)
Не вякнет про несовершенство.
Пишу, дыханье затаю.
Давным-давно полна корзина,
А муза юная моя
Лаура (Зина, Жозефина).
...Проснулся я. В окне восход,
Меланхоличный (серый, скучный).
Кто за плечо меня трясет:
«Вставай, Горбовский (Шефнер,
Кушнер)!...»

г. Сургут Тюменской обл.

В номере:

Проза

Аркадий СТРУГАЦКИЙ, Борис СТРУГАЦКИЙ. Отягощенные Злом, или Со-рок лет спустя. Фантастический роман. Окончание (33).

Наследие

Виктор НЕКРАСОВ. Городские прогулки. Повесть (8).

Николай ГУМИЛЕВ. Стихи (90).

Поэзия

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ (6), Мария АВБАКУМОВА (59), Владимир ЖИЛИН (60), Расул ГАМЗАТОВ (61), Наталья РЯБИНИНА (61), Наталья ТРУЕВЦЕВА (62).

Публицистика

Амир ХИСМАТУЛИН. Где вы, комиссары? (2).

20-я комната. Заседание восемнадцатое (63).

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Что случилось в Ленинграде (71).

Игорь КОХАНОВСКИЙ. Серебряные струны. Воспоминания о Владимире Высоцком (79).

Критика

Ирина ДЕМЕНТЬЕВА. Есть хорошее народное слово... Открытое письмо писателю Анатолию ИВАНОВУ, главному редактору журнала «Молодая гвардия» (83).

Наталья ИВАНОВА. Хранить вечно (86).

Культура и искусство

Сергей БЫЧКОВ. Из отряда солнцеловов (32).

Владимир ЛИСТОВСКИЙ. Глоток родниковой воды на томской сцене (76).

Виктор ШКАБУРИН. Да постыдятся и исчезнут... (91).

Зеленый портфель

Л. ЛАГИН. Обидные сказки (94).

Олег МОЛОТКОВ. Миниатюры (96).

Николай ШАМСУТДИНОВ. Пародия (96).

Оформление обложки А. Сальникова.
Главный художник О. Кокин.
Художник Ю. Пишевский.
Технический редактор О. Трепенко.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6,
ул. Горького, д. 32/1

Телефон для справок — 251-31-22.

Сдано в набор 15.04.88. Подп. к печ. 12.05.88.
А. 12551. Формат 84×60%. Offsetная печать. Усл.
печ. л. 11,63. Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 2351.

Орден Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,
«Юность», 1988 г.

Сергей ЕВТУШЕНКО, Владимир ЛАДЧЕНКО

ХОРОШИЙ МУЖИК ПЕТРЮК

— Слушай, Шура,— сказала Анюта,— а Петрюки ковер купили, гэдэ-эровский.

— Сделаем,— пообещал я и устроился на вторую работу.

— Не хотела тебе говорить, Саша, но Петрюки опять отдыхать уехали. То ли в Крым, то ли на юг,— не успокаивалась жена.

— Сделаем,— заверил я и пошел выколачивать из месткома путевки.

— Ты знаешь, Алик, а у них ребеночек родился,— мечтательно вздохнула Анна.— На три семьсот...

— Сделаем,— покраснел я и... В общем, через нечетное количество месяцев я стал папой.

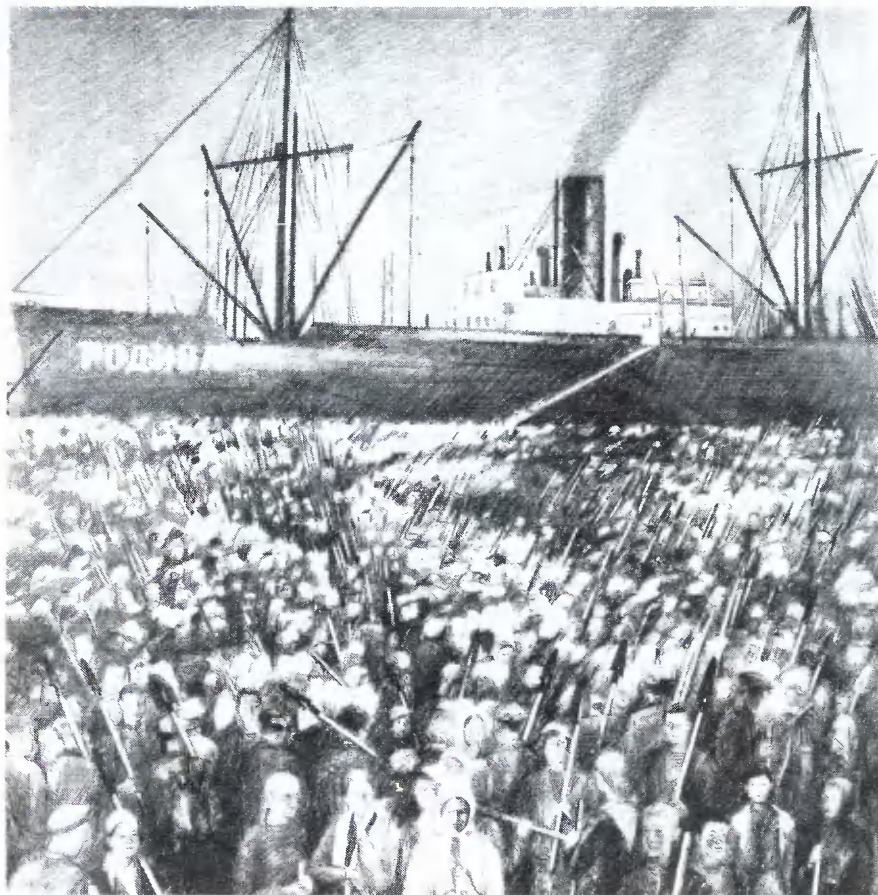
— Слышал новость? — пожаловалась как-то Нюрка.— А Петрюк-то, подлец, жену бросил...

Сейчас я живу один и часто с теплотой вспоминаю Петрюка. Хороший оказался мужик.

г. Уральск.

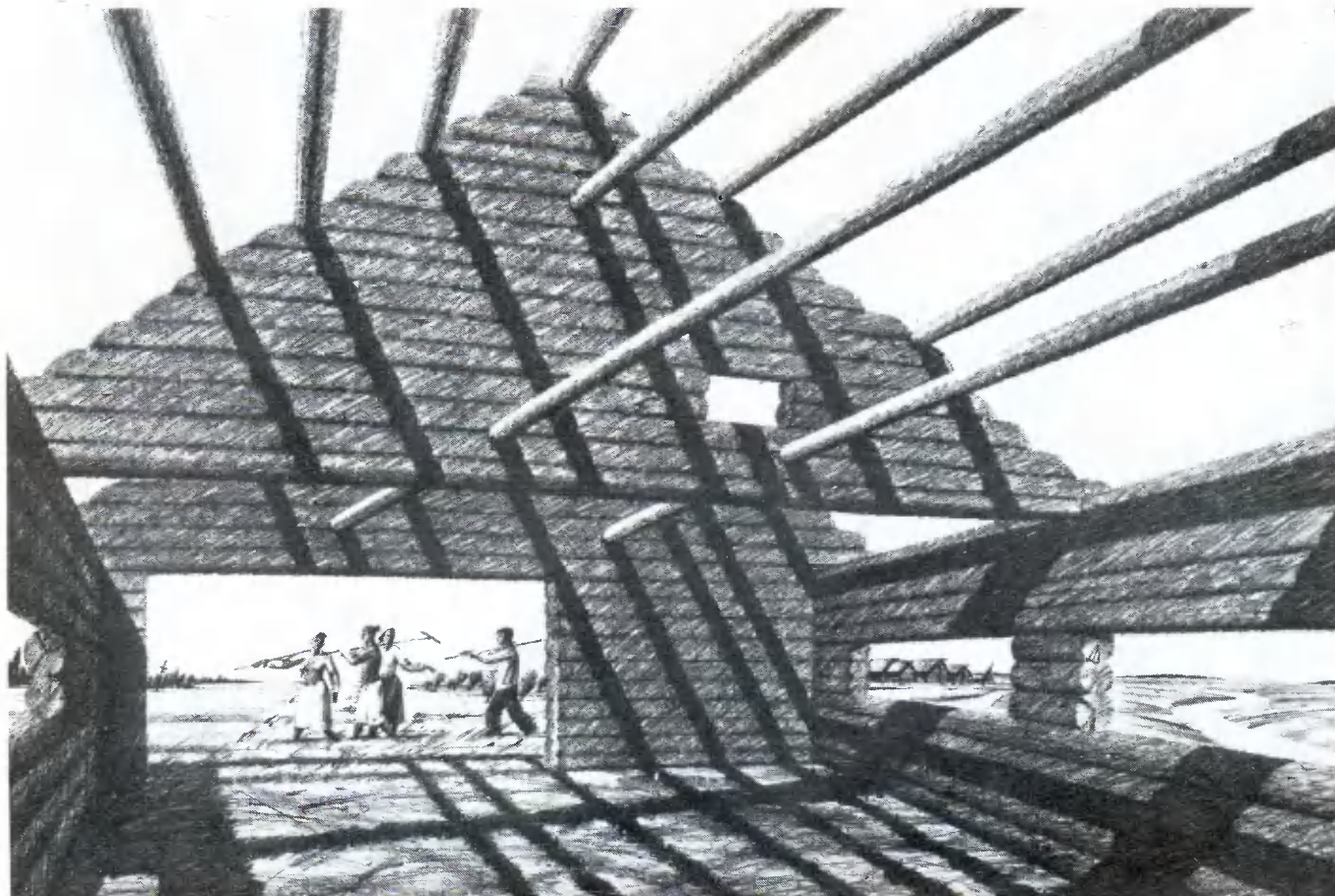


Людмила и Георгий
ЕЛФИМОВЫ
г. Архангельск



Л. Елфимова. «1941 год».

Г. Елфимов. «Утро».



Юность. 1988 г. № 7, 1—96
Индекс 71120
Цена 70 коп.

